



**ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН**

## **ПОКИНУТАЯ РОССИЯ**

**ЖУРНАЛИСТ В ЗАКРЫТОМ ОБЩЕСТВЕ**

*второе издание*

**Издательство “Время и мы”, США, 1989.**

Сканирование – Яков Кесельман

Вычитка – Давид Титиевский, июль 2009 г.

Библиотека Александра Белоусенко

**моей дочери Ирине посвящаю**

## СОДЕРЖАНИЕ

Е.Эткинд. Перечитывая "Покинутую Россию". Предисловие - 5

### ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ИЛЛЮЗИИ.

Москва. Тридцать седьмой - 11

Нарышкинский бульвар - 20

Война - 25

Томск - 30

Я немец - 34

Кедрач - 39

Мой двойник Кирилл Патрикеев - 46

Весна в Быкове - 49

Наш незабвенный ОРС - 54

Заверяем товарища Сталина - 61

Будущий Плевако - 68

Письмо братьям-корейцам - 74

Грозный мэтр Вышинский - 82

Кающиеся большевики - 86

Дело Алика Бакмана - 97

Перед закрытым шлагбаумом - 107

Бухгалтер-гипнотезер - 111

Как я редактировал сельскохозяйственную газету - 120

"Великий заботник" - 128

"Улыбка" Терехова - 132

Чиновное счастье - 138

Мой партийный падре - 147

Бунт в ЦДРИ - 153

При их молчаливом согласии - 156

### ЧАСТЬ ВТОРАЯ. КРУШЕНИЕ.

Отрицание отрицаний - 163

Московское радио - 165

Первый фельетон - 169

Докажите, коли сумеете - 172

Дело Абрама Великовского - 178

Совесьть партии - 188  
Расплата - 196  
Никита Иванович и другие - 199  
Надо жить - 209  
Aqua pura - 212  
Столоверчение - 220  
Скорняк поневоле - 228  
Снова бунт - 234  
...и снова иллюзии - 243  
В "черном списке" - 250  
Дебют - 252  
Литературный репортер - 255  
Неуправляемые ассоциации - 259  
Лимит на Пастернака - 266  
Комедианты - 270  
Правда и ложь "Литературки" - 273  
Гайд-парк при социализме - 279  
Александр Чаковский - 282  
Горечь свободы - 285  
Последний день - 293  
Разговор с Леонтием Кузьмичом - 298  
Вместо эпилога - 311

## **ПЕРЕЧИТЫВАЯ "ПОКИНУТУЮ РОССИЮ"**

Книга Виктора Перельмана одновременно исторический документ и увлекательное повествование. Документ, теряя актуальность, стареет; он перестает удивлять, радовать, возмущать — постепенно он становится музейным экспонатом, который ценен уже не сам по себе, а своей редкостью. Повествование, если оно одухотворено личностью автора и относится к литературе, не ветшает: оно остается и тогда живым, когда события, о которых ведется речь, отходят в далекое прошлое.

"Покинутая Россия" написана полтора десятилетия назад; сегодня ее перечитываешь с неслабеющим интересом. Она увлекает и как художественный рассказ, и как свидетельство о неминовавшем прошлом. 15 лет — срок, в сущности, небольшой, однако изменения в СССР произошли неправдоподобные. И, в то же время, те люди, которые играют ведущие роли в "театре абсурда" (так названа другая книга Перельмана),

еще не ушли со сцены — это те самые, о которых в книге Перельмана сказано, что им "за мишурную славу, за сделки с совестью приходилось дорого расплачиваться — не гонораром, не жизненным благополучием, которого у них было более, чем достаточно, — душевной деформацией, невидимыми и необратимыми изменениями, которые исподволь, год от года превращали их в увенчанных славой творческих импотентов".

5

Так что не устарела и фактически-документальная сторона "Покинутой России". Однако залог ее жизненности прежде всего в достоверной, всегда узнаваемой интонации рассказчика, в ярко написанных, овеянных юмором портретах и в характернейших эпизодах, каждый из которых мог бы стать пьесой, если бы не его чрезмерная, абсолютно неправдоподобная абсурдность (например, дело Великовского — сколько мы таких дел пережили!). Перед читателем возникает множество лиц — неожиданные ракурсы известных (даже новому поколению) персонажей, таких, как Шверник и Каганович, Федин и Сурков, Михалков и Чаковский, и других, которые мелькнули на пути автора, но непременно останутся в нашей памяти. Вот фигура Александра Чаковского: лукавый царедворец, зловещий чиновник, графоман и циник — этот "полезный еврей" пережил несколько режимов и уволен на пенсию с должности главного редактора многомиллионной "Литературной газеты" (которую он давно перестал даже читать) в чине члена ЦК и депутата Верховного Совета СССР в конце ... 1988 года, по достижении 75-летнего возраста и вполне очевидного маразма. Виктор Перельман написал о нем кратко и точно: "... К товарищам из аппарата Александр Борисович относился с подлинным благоговением, порой переходящим в патологический страх". Эта характеристика, данная в начале семидесятых годов, подтвердилась в конце восьмидесятых: именно таким предстал Чаковский сотрудникам Русского исследовательского центра Гарвардского университета 18 октября 1988 года.

Итак, документально-историческая сторона повествования Виктора Перельмана не стала достоянием прошлого. Что и говорить: времена изменились, 1988 год во многом противоположен 1973-му. Брежневская эпоха, отразившаяся в книге, получила оценку в сотнях статей и книг; ее мягко именуют "застоем", но уже мало кто сомневается в том, что слово "застой" — эвфемизм, вуалирующий пародию на сталинский режим. Уже не было миллионов лагерных рабов, но продолжалось ничем не ограниченное насилие партии-государства над беззащитной личностью.

Автор "Покинутой России" подверг эту сторону жизни анализу в главе, названной "Неуправляемые ассоциации": "... уже невозможен был возврат к массовым репрессиям против интеллигенции по сталинскому образцу, но что режим был в силах сделать — это установить жесто-

6

чайишй контроль над умами людей". Стала ли эта пора далекой историей только оттого, что публицисты эпохи "гласности" ее заклеямили? Увы, нет. Когда-то в России шутили: аквариум легко превратить в уху, от ухи же вернуться к аквариуму трудно. Все, что в сталинско-брежневские годы было удушено, возродить не удалось и не удастся. Разумеется, можно снять с Ленинградского университета имя злодея-временщика, но оживить умерщвленные кафедры не сможет никто.

Десятилетиями одного за другим прогоняли заслуженных профессоров, их место занимали недоучки; сегодня достигают возрастной зрелости злополучные ученики этих недоучек — они будут обучать следующее поколение. Порванные нити культурной традиции срастить невозможно, даже связать их нелегко.

Виктор Перельман рассказал нам то, о чем мы догадывались, не имея достоверных сведений; об убийственных трудностях на пути рядового советского журналиста. Он приходит в первую газету, полный юношеских иллюзий; постепенно выясняется, что о правде жизни и заикнуться нельзя, что детали быта под решительным запретом, что шанс преуспеть имеет лишь тот, кто овладел суконным языком казенных формул. Этой премудрости автор научился в журнале "Советские профсоюзы", где стереотипный заголовок "Хозяева производства" редактору кажется чересчур смелым — его заменяют другим — об участии масс в управлении производством; где печатаются статьи фальшивых "передовиков труда"; где карьеру делают только холуи. Но вот автор поднимается из грязи в князи, он оказывается заведующим отделом информации самой популярной в СССР — "Литературной газеты". Тут все иначе: ценится журналистская выдумка, поощряется литературный талант, разрешена "правда жизни". Присмотревшись, автор обнаруживает, что самый, казалось бы, живой российский еженедельник ничуть не лучше и даже, пожалуй, хуже ведомственных, скучных "Советских профсоюзов": царит та же ложь, которая, прикрываясь оживленной дискуссией, оказывается опаснее мертвенной скуки.

Виктор Перельман написал свою книгу еще в Москве, ожидая, безо всякой надежды, разрешения на эмиграцию. Вся эта книга, от начала до



конца, — объяснение того, почему он решается на отъезд. Глядя на внешние факты, понять его решение нелегко: преуспевающий литератор, восходящий доволь-

7

но быстро по ступеням газетно-журнальной иерархии, оказавшийся ответственным сотрудником лучшей российской газеты, даже добившийся некоторой независимости, член правящей партии, принадлежащий к социальной элите, — чего ему недостает? Зачем ему уезжать? Почему он принужден порвать со страной, покинуть свой язык, свою культуру и среду? Книга "Покинутая Россия" дает неопровержимый ответ на эти вопросы. Дальше так жить нельзя. Разгадка не только в том, что Виктор Перельман еврей; ее сформулировал Вл. Войнович в заглавии одного из своих рассказов, напечатанных в свое время в "Новом мире": "Хочу быть честным". Соучастие в изощренной лжи тогдашней "Литературной газеты" уже осозналось автором как низость, даже как преступление. Есть в книге глава, названная с беспощадной иронией: "Гайд-парк при социализме". Виктор Перельман достаточно долго работал в "Литгазете", чтобы понять, как фабрикуется "ложь высшего свойства — не для масс, для интеллигентного читателя. Из номера в номер "Литгазета" вовлекала его в дискуссии, создавая иллюзию демократии, но это была демократия Гайд-парка, нисколько не пугающая власти, но уводящая читателя от реальных проблем советского общества."

Одно из двух: либо надо было смириться с ложью, соглашаться на условия игры и стать чиновником журналистского аппарата, либо — порвать и уехать. В семидесятые годы и в начале восьмидесятых многие приняли это трудное, иногда мучительное решение. Среди них — писатели из поколения "сорокалетних", да и постарше, виднейшие лингвисты, историки, художники, музыканты, математики, шахматисты, адвокаты. Вариантов отъезда было немного; были такие эмигранты, которые уехали вроде бы по доброй воле, были другие, которых власти коварно отпускали на Запад, а потом лишали советского гражданства, были третьи, которых правительство силком — прибегая к насилию прямо или косвенно — выдворяло из страны. Однако в конечном счете все, или почти все, эмигранты так называемой "третьей волны" — изгнанники, выдвленные из родной страны как вредные для начальства, инакомыслящие, вольнодумцы или инородцы. Категория, к которой принадлежит Виктор Перельман, — изгнанники совести.

Автор "Покинутой России" никогда не отрекался от своей страны. В

конце книги он с горечью говорит: "... завтра я навсегда расстанусь с миром, которому отдана лучшая часть жиз-

8

ни и, возможно, поэтому мне не безразлично его будущее". С годами "небезразличие", заинтересованность в судьбах России углублялись. Об этом можно судить по эволюции журнала "Время и мы", основанного Виктором Перельманом, который сумел в трудных условиях сначала израильской, а затем американской действительности выпустить почти за полтора десятилетия более ста номеров, — и все они проникнуты озабоченностью судьбами страны, болью, вызванной ее бедствиями, пристальным вниманием к назревшим в ней демократическим переменам, сочувствием к ее жертвам и героям, презрением, даже отвращением к ее губителям. Немало писателей, первоначально увидавших свет на страницах журнала "Время и мы", теперь опубликованы в советской печати эпохи перестройки, другие авторы журнала еще ждут своего часа, — это относится, например, к А.Синявскому, Ф.Горенштейну, Б.Хазанову, Ю.Карабчиевскому, Л.Владимировой, Г.Бену, А.Каценелинбойгену, да и к самому Перельману. Час этот придет — развитие событий в СССР позволяет настаивать на таком заявлении. А это значит, что решение уехать, принятое Виктором Перельманом в марте 1972 года, было не бесплодно: оно дало возможность бунтарю из "советского Гайд-парка" стать влиятельным участником современного литературного процесса.

Е. ЭТКИНД

### О КНИГЕ "ПОКИНУТАЯ РОССИЯ"

*Настоящая книга написана автором накануне его отъезда из России, а большая ее часть — когда он работал еще в "Литературной газете". Ее первое издание, озаглавленное "Покинутая Россия", вышло в Израиле, в двух книгах: "Иллюзии" (1976) и "Крушение" (1977). В 1977 году "Покинутая Россия" получила вторую премию Иерусалимского университета. Обе книги были напечатаны очень маленьким тиражом и в течение двух лет практически исчезли с книжного рынка. Предлагаемое читателям второе издание выходит в одной книге, однако, в новой редакции, с некоторыми дополнениями и уточнениями, с предисловием Е.Эткинда и послесловием автора. Книга публикуется под новым*

*заглавием, вполне выражающим ее содержание и задачу, поставленную автором: "Покинутая Россия. Журналист в закрытом обществе".*

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### ИЛЛЮЗИИ

#### МОСКВА. ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ

Когда перед глазами с утра до вечера торчит стена соседнего дома, а до ушей ничего не доносится, кроме монотонного тиканья часов, стоящих на шкафу, то в голову начинают лезть мысли о сути бытия. Мысли всякие, и вполне разумные, и совершенно вздорные, находящиеся по ту сторону здравого смысла. Не случайно же психологи пытаются установить зависимость между одиночеством и рождением шизофренических идей. Впрочем, современное общество пересматривает отношение к шизофреникам, убеждаясь, что многие из них способны делать такое, до чего не додуматься здравому смыслу.

Загадкой остается лишь внутреннее самочувствие этих людей — в мире, где столь эфемерны психические границы.

Лично я все чаще ловлю себя на том, что мир для меня раскололся надвое. Внешне как будто бы ничего и не изменилось. Еще только назревает мысль об отъезде. Я — еще член партии и специальный корреспондент "Литературки", но в окружающей жизни меня давно уже нет. И унылое тиканье часов, под аккомпанемент которых я пишу эту рукопись, как поминки по этой жизни. И вечно торчащая стена соседнего дома подобна стене кладбищенской. Я весь в прошлом, настолько весь, что, кажется, начинаю утрачивать столь при-

11

вичное двухмерное восприятие жизни. И австриец Мах, утверждавший, в противоположность Энгельсу, что время и пространство — это отнюдь не формы бытия, а лишь "упорядоченные системы рядов ощущений", уже не кажется столь далеким от истины (и, уж во всяком случае, не представляется "поповствующим идеалистом", что я неизменно повторял на экзаменах по философии).

Впрочем, ничего сверхужасного не случилось. Утратив пространственное восприятие жизни, я обрел куда более ценное и ставшее



для меня куда более целостным ощущение времени. Если окружающего не существует, то время для меня — это и есть жизнь. И перед тем как покинуть Россию (если мне это дадут сделать), я твердо намерен пройти ее еще раз, с самого начала, словно тот первый ход был ненастоящим, а истинно лишь то единственное, чем я живу сегодня.

...Я никогда не знал своего генеалогического древа. Отец рассказывал, что я вылитая копия деда, служившего всю свою жизнь меламедом в лепельском хедере. Ни деда, ни бабки по отцовской линии я не застал и даже плохо помню, каким был в молодости отец.

В его письменном столе, кажется, еще хранится полуистлевшая фотография юноши в красноармейском бушлате и высокой папахе. Слегка откинув голову, он ясно смотрит вперед. Плотное, красивое лицо излучает энергию и волю. Таким отец прибыл в 1920 году с Южного фронта в Москву, где получил предписание ЦК Союза печатников выселить "буржуазный элемент" из Бахрушинских домов в Петровском переулке и заселить их пролетарской беднотой.

До революции отец был наборщик, жил в Екатеринославе, Риге, участвовал в стачках и даже отсидел в пятнадцатом году несколько месяцев в рижской тюрьме, но в партию почему-то не вступил, хотя всю жизнь считал себя беспартийным большевиком и, как он сам любил говорить, железной рукой выполнял волю революции.

"Буржуазный элемент", занимавший роскошные квартиры в Малой Бахрушенке, встретил нового управляющего заискивающе. В надежде остаться нетронутым каждый из его представителей звал отца к себе, но, разобравшись, с кем имеют дело, объединились и подали на него в суд.

В зал суда, на Мясницкую, отец привел внушительную компанию обитателей бахрушинских подвалов, которые, рассев-

12

шись на полу, бдительно следили за ходом процесса, а когда суд вынес решение в иске владельцам Бахрушенки отказать, встали и во всю мочь запели Интернационал. Так, по крайней мере, рассказывал эту историю отец.

Помимо "буржуазного элемента" в Малой Бахрушенке жила интеллигенция — художники, сочувствующие революции, актеры, жили тут писатели и поэты-попутчики, известные и неизвестные, но к ним отец относился вполне лояльно и даже, в чем мог, помогал.

Однажды к нему в конторку пришли двое. Одного отец великолепно знал — это был [Мариенгоф](#), поэт-попутчик, обитавший в Бахрушенке.

Другого видел впервые. На нем были лакированные лодочки, хотя на дворе стоял тридцатиградусный мороз, енотовая шуба, на голове — высокий цилиндр. Мариенгоф сказал, что это его друг Сережа Есенин, недавно приехавший из Америки, и попросил разрешения, чтобы тот пожил у него.

По рассказам отца, никакой буржуазный элемент не доставил ему столько хлопот, сколько новый жилец. Днем у Мариенгофа стояла мертвая тишина, но, как только наступал вечер, к отцу в панике и возмущении прибегали жильцы — и снизу, и сверху. Из окна его комнаты на головы прохожих летели бутылки, но ни Мариенгофа, ни его приятеля отец не трогал.

С матерью, неутомимой общественницей Пашей Захарьевой, отец познакомился в сберкассе, где служила она счетоводом. И там же, в Малой Бахрушенке, в доме № 5, по соседству с бывшим театром Корша, родился у них сын, которому по причине, долгие годы остававшейся для него тайной, сразу же после родильного дома сделали обрезание.

Много лет назад, еще в годы нашей молодости, жена, не помню уже по какому поводу, заговорила об этом факте с матерью. Та почему-то смутилась и сказала, что все проделали ее родители, гостившие как на грех в эти дни у нее в Москве и в своей заботе о внуке оказавшиеся на редкость проворными.

Пока мать сидела в сберкассе, а отец преспокойно принимал в своей конторке жильцов, их новорожденный сын прямо в пеленках был водворен в пролетку к извозчику и отвезен в синагогу.

Когда родители возвратились, я был уже стопроцентным евреем.

13

В детстве отец и мать никогда не говорили мне о евреях. По-видимому, считали это обстоятельство слишком малозначимым для их сына, который родился в первой в мире Стране Советов и перед которым уже по одному этому должны распахнуться двери в счастливую жизнь.

Само слово "еврей" я услышал впервые от моей няньки Тани, при довольно занятных обстоятельствах. Приехала Таня в Москву из голодной Рязанской губернии и во мне не чаяла души. Перед тем служила в домработницах у немцев и, полагая себя знатоком немецкого языка, будила меня по утрам одной и той же сакраментальной фразой: "Витюша, ком мит а ессен!" И тут же следовал перевод: "Витюша, мой милый, хороший, иди, пожалуйста, кушать".

Кушать для меня было сущей мукой. И еще большей мукой для Тани,

вечно тыкавшей мне ложку в рот. Однажды, вконец измаявшись, она не выдержала и гаркнула: "У, еврей! Все матери расскажу!" Мне это пришлось явно не по душе, и, отбросив ложку, я разъяренно вскричал: "Сама еврейка!" А потом все же решил уточнить, что значит это странное слово. Нянька ответила, что еврей — значит неслух, вот такие, как я.

Странно: прошло более сорока лет. В тумане остались более поздние годы детства, а эта забавная сценка врезалась в память. И смешные нянькины слова, что еврей — это значит неслух, тоже врезались.

Во всем прочем мое детство было таким же, как у миллионов моих сверстников, с бесконечными играми в "красных" и "белых", с дикими мальчишескими выходками, до которых не додуматься человеку в здравом уме.

Во дворе я вечно крутился на низеньком турничке и однажды в студеный январский день — убейте, не знаю зачем — вздумал лизнуть турник языком. Раз лизнул, другой, и вдруг, к моему ужасу, язык напрочь примерз к железу.

Таня плакала, всплескивала руками, но потом, не знаю уж как, все-таки оторвала меня от турника. Весь день я не мог говорить, а она мазала язык вазелином и приговаривала: "Вот останешься, неслух, без языка, тогда узнаешь..."

К счастью, нянькины слова не оправдались, и язык впоследствии неплохо послужил мне в жизни.

Не знаю, применимо ли к семилетнему человеку слово "неудачник", но если применимо, то я был наверняка таковым.

На Нарышкинском бульваре, пристрастившись к детскому

14

парашюту, я однажды зацепился за перекладину и... повис в воздухе. Висел и едва не умирал от страха. Но когда служащие принесли лестницу и сняли меня, то не моргнув глазом с гордостью направился навстречу рыдающей няньке. Она бранила меня последними словами, а я, не обращая на нее внимания, твердо решил, что стану летчиком.

Летом мы ездили к Тане в деревню, в Иерусалимскую слободу. Крестьяне меня обожали, катали верхом, а в сенях завел я свой маленький конный двор — десять отборных рысаков: Самсон, Пегий, Гнедой... — десять ивовых прутьев, оседлав которые я с гиканьем, как оглашенный, носился по слободе, пока однажды не напоролся на гвоздь и меня не отправили в больницу.

Шести лет мать отдала меня в немецкую группу. Учительницу звали

тантэ Кари. Каждый из нас имел у нее свою собственную кличку по названиям пальцев на руке. Самый толстый. Боба Бовшовский, был Der Daumen (большой палец), я был Der Wannennuse (безымянный) и самый маленький в группе. Гена Васин, — Der kleine finger (мизинец). Взявшись за руки и переговариваясь только по-немецки, мы важно разгуливали по скверу напротив Большого театра. А когда приходила зима, мы весело приветствовали ее:

Der erste Schnee',  
Der erste Schnee',  
Die weisen Flocken, fliegen,  
Der Winter kommt.  
Der Winter kommt.  
Wir springen und wir singen.

Перед школой я уже свободно болтал по-немецки, но, разумеется, и думать не думал, что это умение пригодится мне во время войны. Да что там я — ни один здравомыслящий взрослый не мог бы представить, для какой фантастической цели оно мне понадобится.

В школе у меня появилось сразу два друга — Коля Романов и Коля Эшельман. Первый только что приехал в Москву из деревни. Отец его, бритоголовый, с простодушным лицом и бесцветными глазами человек, устроился милиционером на станции метро "Охотный ряд". В семье его звали Колька, говорили не "портфель", а "пóртфель", не "сразу", а "враз"...

У Эшельмана было лицо юного викинга, ходил он в костюме с жилетиком, белой рубашечке с черной тесемочкой на

15

шее. Его отец был из шведов, то ли адвокат, то ли врач-гомеопат. Уже после войны я случайно увидел Колю Эшельмана в консерватории. Он был с бородой и в довольно странном черном одеянии. С закрытыми глазами он слушал Дебюсси, сложив на груди большие холеные руки. Я даже усомнился: он ли это. А спустя несколько лет "Голос Америки" в одной из своих передач сообщил, что московский священник Николай Эшельман выступил с протестом против преследования группы верующих христиан. Вот уж истинно: неисповедимы пути человеческие!

Любимым нашим занятием было собираться и пересказывать друг другу содержание увиденных кинокартин. Я обожал "Чапаева" и еще больше "Мы из Кронштадта". Я бредил ее главным героем балтийским

матросом Андреем Балашовым и всегда кончал свое повествование последними его словами из фильма: "А ну, кто еще пойдет на советскую власть?" Нет, это была не просто фраза — я и сам вместе с красным балтийцем Балашовым готов был броситься на всякого, кто бы осмелился пойти на советскую власть. Это была, конечно, детская, не проверенная разумом готовность, но она была. Так же, как была тогда эта детская влюбленность в свою страну у миллионов взрослых.

Я помню дивные майские праздники, когда под золотым багрянцем весеннего солнца шли миллионы людей на Красную площадь. Шли не по разнарядкам отделов кадров, как обычно происходило после войны, а по властному внутреннему велению, когда просто невозможно было оставаться вне этой праздничной круговерти. Не могли омрачить ее аресты врагов народа — "троцкистско-бухаринских изменников, пытавшихся вонзить нож в спину социалистической Родине". Великий Сталин учил, что по мере нашего продвижения вперед классовая борьба обостряется и очищение от врагов делает жизнь только прекраснее. Такова была сталинская логика, пользующаяся всенародной поддержкой. Страна праздновала победу социализма. Все звенело, все играло красками. И люди, замороженные, как дети, шли по улицам и площадям и пели о своей юной прекрасной стране. Отовсюду, с сотен и тысяч полотен им щедро улыбался вождь и учитель товарищ Сталин. Гигантский портрет вождя висел на Лубянке, на пепельно-сером здании НКВД. Здесь действовал в своих ежовых рукавицах бесстрашный нарком Ежов, "верный ученик и со-

16

ратник товарища Сталина", "пример железной воли и ненависти к врагам", руководитель боевого органа пролетарской диктатуры.

Один из бывших наркомвнудельцев мне рассказывал, что с января 1937 года они перешли на осадное положение. По двадцать четыре часа в сутки работали не только следователи, но и машинистки. Они печатали списки врагов народа, и от них требовалась исключительная внимательность. Арестованных "судили" особые совещания или тройки. Их приговор был окончательным и обжалованию не подлежал. Все было предрешено. Даже самый гуманный судья был не во власти изменить участь хоть одного заключенного, но достаточно было проскользнуть в список одной пометки, и вождь, с его неизменным требованием ясности, возвращал весь список назад. Он делал это без комментариев, так что никто не знал, в чем дело, и вторично список не решались представлять. Так уж работала эта машина, что не от судей и следователей, а от



машинисток зависела жизнь сотен и тысяч людей.

На портретах Сталин никогда не сидел за рабочим столом, не выступал на собраниях и съездах. На всю жизнь мне врезался в память великий вождь, держащий на коленях узбечку Мамлакат. Часто он стоял в окружении ребятни или просто стоял и по-отечески улыбался народу. Казалось, у него была только одна работа — являть вокруг сталинскую теплоту и сталинскую заботу о людях. В сущности, он уже давно стал богом, и для взрослых это было совершенно естественно.

Зато дети с чисто детской непосредственностью лезли к родителям со своими дурацкими вопросами. Мы ехали с матерью в трамвае, и, заглядевшись в окно на портрет вождя, я вдруг спросил: "Мам, а Сталин — член партии?" В вагоне все смущенно заулыбались, а мать испуганно заозиралась по сторонам. Дома она задала мне хорошую вздрючку, чтобы не приставал в другой раз с глупостями.

Теперь, когда я читаю газеты тех лет, то начинаю хорошо понимать настроение людей. Вот газетные заголовки только одного номера "Правды" от 27 января 1937 года: "Подлые вредители ломали паровозы", "Трижды проклятые народом", "Палачи лишили меня ног", "Сын Троцкого Сергей Седов пытался отравить рабочих" и т.д.

Не удивительно, что настроение в нашей семье совсем не напоминало серпантинную пастораль, царившую на улицах и

17

площадях. Отец к тому времени уже успел окончить рабфак и проучился три года в Полиграфическом институте. Но с четвертого курса ушел и теперь работал в объединении "Агроплакат" Наркомзема руководителем производственно-технического отдела. В Наркомземе, где большим влиянием пользовался Бухарин, шли массовые аресты врагов народа. В "Агроплакате" проходили бесконечные собрания. После одного из них, рассказывала мать, отец вернулся в таком настроении, в каком она не видела его никогда в жизни. Оказывается, только что выступил директор "Агроплаката" Гущин. "Я знаю, — говорил он, — в этом зале сидит еще много неразоблаченных врагов, но знайте и вы, что от нас не уйдет ни один".

Ночами отец, отчаявшись, полуодетый, просиживал на кровати и прислушивался к каждому шороху за окном. Осунувшееся лицо его больше не излучало волю и энергию. И всякий раз, когда к дому, погруженному в страх, подъезжала машина, он делался белым как бумага. Кого же сегодня? Макса Соломоновича, над нами, уже взяли. Зеликовича

из одиннадцатой квартиры, которого отец одним из первых вселял на Малую Бахрушенку, — тоже. До революции Зеликович примыкал к меньшевикам. Но вчера арестовали ближайшего друга отца Леву Крымского. Лева, этот веселый шумный бородач, был кристальный человек, настоящий большевик. Отец провел с ним всю молодость, и уж кто-кто, а он-то знал, что Лева в жизни ни в каких оппозициях не участвовал.

Я, разумеется, мало разбирался в том, что делалось вокруг. Но знал, что по всей стране орудуют враги народа и что если, например, перевернуть вверх ногами картинку букваря с Колонным залом Дома Союзов, то получится огромный уродливый таракан. Недремлющие вредители действовали даже здесь.

Однажды мать взяла меня к себе в "Известия", где работала тогда бухгалтером, и в лифт вместе с нами вошел щуплый рыжеватый человек в кепочке и роговых очках. Он с любопытством оглядел меня, весело потрепал по щеке и, обратившись к матери по имени и отчеству, стал расспрашивать, как она живет и не нуждается ли в помощи. Когда мы вышли из лифта, я спросил у матери, кто этот чудной очкарик. Мать ответила: "Радек, наш главный редактор". Мог ли я подумать, что спустя четверть века в том же редакционном лифте судьба столкнет меня с другим главным редактором "Известий".

18

Холеный, излучающий шик и высокомерие, [Аджубей](#) выслушивал просьбу своего товарища по перу. Не без его, Аджубея, участия был опубликован в "Известиях" один из моих раздражающих власти материалов, и я попал в тяжелую ситуацию.

Аудиенция продолжалась ровно столько, сколько лифт шел с шестого этажа до первого. Внизу Аджубей что-то буркнул невнятное и, не попрощавшись, сел в черный "ЗИМ". Как говорят римляне: "Tempora mutantur et nos mutamur in illis". — "Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними".

Рыжего очкарика я больше не видел. Когда я однажды спросил про него мать, она почему-то рассердилась и сказала, чтобы я отстал... Коля Эшельман ходил в те дни сам не свой. Его отца я тоже больше не видел. Зато Коля Романов выглядел именинником. "Папаню, — сообщил он, — враз сделали начальником милиции Московского Метрополитена".

В те дни по радио передавали репортажи из зала Верховного суда, где шли процессы. На каждом выступал генеральный прокурор Вышинский,

приводивший неопровержимые улики чудовищной вины перед народом "презренной банды убийц и шпионов". (Вскоре после войны судьба сведет меня с Вышинским, выступившим с четырехчасовой речью в Московском юридическом институте.) На процессах "враги народа" каялись и полностью признавали свою вину. А тех, кто не признавал, не допускали даже до суда.

В пятьдесят седьмом году на закрытом партактиве радиокомитета, где я тогда работал, нас познакомили с фрагментами из переписки Эйхе и Якира с вождем. "Мой Сталин, — писал из камеры [Иона Якир](#), — я верю, что ты ни о чем не знаешь, я верю, что ты во всем разберешься и исправишь эту чудовищную ошибку..." Якир так и не узнал резолюции, наложенной Сталиным на его наивном послании: "Мой Якир — подлец и проститутка — расстрелять!"

Более тридцати пяти лет отделяет нас уже от того времени. Не без "отеческой" помощи вождя многие из железной когорты "ежовцев", "бериевцев", "абакумовцев" отошли в мир иной. Другие давно превратились в благопристойных пенсионеров, прикрепленных к закрытым поликлиникам и распределителям за свои выдающиеся заслуги перед партией и народом.

Время от времени они выступают в печати с воспоминаниями о своем участии в борьбе с иностранными разведками, не

19

касаясь, разумеется, тридцать седьмого года. Вот уже сколько позади десятилетий, а на тридцать седьмой все еще наложено железное цензорское вето, как оно наложено и на более поздние времена, связанные с так называемым культом личности. Не было миллионов жертв, погибших в застенках НКВД, ни лагерей, устлавших поля России трупами граждан "самой юной прекрасной страны", ни сирот, годами и десятилетиями носивших на себе клеймо детей врагов народа. Были лишь отдельные ошибки культа, давно преодоленные и не могущие бросить тень на титаническую работу партии в годы пятилеток.\*

Я не раз буду обращаться к событиям тех лет. Но все это позже, а пока возвращаюсь ко времени своего детства, от которого, как сам чувствую, слишком далеко увели меня рассуждения о тридцать седьмом годе. Что поделаешь, живет этот год в людях моего поколения, как незаживающая рана, и саднит она, саднит изнутри даже таких, как я, лично не ощутивших на себе ударов судьбы.

## НАРЫШКИНСКИЙ БУЛЬВАР

В нашей семье не было арестованных, хотя время это для отца и не прошло бесследно. В начале тридцать восьмого года на нервной почве он заболел сахарным диабетом. Во всем прочем жизнь постепенно входила в свою колею. Отец, начав работать в издательствах по договорам, прилично зарабатывал, и мать даже могла уйти из своей бухгалтерии, чтобы все свои силы отдавать мне. Летом мы уезжали с ней на море в Анапу, а зимой — была школа, были футбол и кино, были игры в "красных" и "зеленых". Они проводились обычно в Сокольниках, с флажками и дымовыми шашками, и победителями выходили и те, и другие.

В кино моим любимцем теперь был не матрос Балашов, а мой бесстрашный сверстник Тимур из фильма "Тимур и его команда", а любимым вратарем — Алексей Жмельков из команды ЦЦКА, а любимой кинокартиной "Если завтра война"...

---

\* Неисповедимы пути российской истории, и в год, когда писались эти строки, вряд ли кто-то мог предвидеть наступление эпохи гласности.

20

У ворот 170 школы, где я учился, висел огромный плакат "Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство". Такие же плакаты висели на многих школах — вероятно, теперь уже и дети научились принимать их как должное. Так писалось в книгах и газетах. Так говорили взрослые, которые во все времена имеют обыкновение приписывать себе заслуги в создании счастливой жизни своим детям. Тем более своими заслугами перед детьми гордились люди тридцатых годов, считавшие себя революционерами и созидателями новой жизни.

Помню, отец часто мне говорил, что он, когда ему было столько лет, сколько мне, уже сам зарабатывал себе на хлеб. Вывод понятен: ни у кого, никогда на свете не было такого счастливого детства, как у меня.

Между прочим, взрослые имеют еще одно обыкновение — повторяться. Однажды я услышал, как жена добродушно ворчала на нашу восьмилетнюю дочь — как-то и где-то, не помню уж как и где, дочь напроказничала, и жена говорила: "Я в твои годы уже помогала своей маме, мама болела, и я сама все делала по дому".

У дочери была во дворе подруга Женя Авцина — робкая, стеснительная девочка с обаятельным тонким личиком и глубокими синими глазами. Однажды обе они — дочь и Женя — пришли домой

взбудораженные, словно не в себе. Обе сначала молчали, не зная, с чего начать. Наконец Женя не выдержала: "Тетя Алла, — сказала она жене, а чего Анька все время по национальности дразнится? Мама мне говорит — бей за это, а как я буду бить — не знаю..." !

Что переживала восьмилетняя девочка в момент этого монолога? Чувствовала ли, что у нее самое счастливое в мире детство? Но я хорошо помню, что испытал я сам, когда однажды шагал по Нарышкинскому бульвару и вдруг сзади себя услышал: "Абраша! Абрам!"

Я подумал сначала, что это относится к кому-то другому, но тут же услышал снова: "Абрамчик! Еврей!" Сзади шествовали трое моих одноклассников — были они из нашей школы, — и то едва слышно, то испытывая буйное веселье, дразнили меня "по национальности".

Произошло это, кажется, осенью. За лето я вытянулся — стал длинным и сутулым. От анапского солнца стал еще чернее — и, как теперь думаю, выглядел типичным еврейским подростком. Это обстоятельство как раз не упустили из виду

21

мои сверстники, еще вчера не удостоивавшие меня вниманием.

Когда они стали дразнить меня, я, ища поддержки, смотрел по сторонам. Прохожие шагали мимо, одни слышали и странно глядели на моих обидчиков, другие, занятые своими мыслями, вообще нас не замечали. И лишь один мужчина остановился и сердито прикрикнул: "Чего озорничаете, он идет себе, вас не трогает..."

Нам взрослым, кажется, что мы все знаем о наших детях. Умеем их защитить. Знаем меру их счастья и меру их неприятностей.

Однажды я услышал, как одна из моих знакомых возмущалась вслух: "Безобразие, ребенка жидом обзывают, а учителя молчат, завтра же пойду к директору". Не знаю, пошла ли она на самом деле к директору, а если пошла, то к чему привел ее поход.

Лично я о происшедшем со мной на Нарышкинском бульваре не рассказывал матери. Возможно, интуитивно чувствовал, что при всей своей любви ко мне она перед лицом этих жестоких бульварных недоростков будет так же бессильна, как и я сам.

Не думаю, что после того случая мое детское мироощущение хоть как-то изменилось. Светловолосый Тимур — внешне полная мне противоположность — не переставал быть моим любимцем и героем. "Если завтра война", где, как я теперь понимал, действовали главным образом русские люди, — моим любимым фильмом.



Я, как и прежде, пребывал в уверенности, что живу в самой юной прекрасной стране, но просто мне отчаянно не повезло. Ведь в любой стране появляются на свет люди, которым от природы не везет. Рождаются хромые. Рождаются дети с горбом, а я — надо же такому случиться — среди светлых курносых ребят родился черным, как вороненок, евреем. Так, или примерно так, выглядела моя детская философия, из которой проистекал единственный нехитрый вывод — чтобы меньше дразнили, надо постараться стать похожим на всех.

Однажды я час простоял у зеркала, вздернув пальцем свой закругленный книзу нос — как мало, однако, надо, чтобы стать похожим на всех. Вымученный нос стал красным, как клюква, но ничуть не изменил своей конфигурации. Я решил, что, хоть умру, а должен научиться выговаривать букву "р", и как-то вечером, когда мать и отец ушли в театр, до изнемо-

22

жения промучился у зеркала, отчаянно прижимая язык к небу, и, надо же, добился своего, и встретил родителей победным рыканьем. Я был горд, что умею добиваться своего, и хоть в этом, научившись выговаривать букву "р", приблизился к окружающему миру.

С детства я слышал о физической силе русских людей. До пояса раздетый, я, бывало, стоял у зеркала, и выпятив вперед свою детскую грудь, сочинял легенды, где героем был я сам, и мечтательно бормотал о себе в третьем лице: "Он был еврейского происхождения, но русского телосложения". А когда появились значки БГТО, что значило "Будь готов к труду и обороне", одним из первых в классе отправился сдавать норму. Трижды провалился, будучи не в силах одолеть на лыжах за пятнадцать минут положенные три километра, но в четвертый раз, обливаясь потом и падая от усталости, все-таки прошел.

В те годы я уже чувствовал себя полным энергии и активности. Я мечтал пойти на войну и был безмерно горд, когда в классе меня выбрали командиром отряда.

Отец купил мне в комиссионном магазине детский военный китель, мать нашла на рукав три широких красных полоски, а на лацкане, на крошечной цепочке, я гордо носил столь нелегко доставшийся мне значок БГТО. Вероятно, я все это делал не так уж осмысленно, как теперь пишу. Да и вряд ли сейчас, спустя столько лет, я в состоянии восстановить логику поведения десятилетнего подростка. Лишь помню, что в результате всех своих стараний мне ни на шагок не удалось уйти от самого себя, и это

обстоятельство удручало меня даже больше, чем то, что от природы мне так не повезло.

...Вот иду я по Нарышкинскому бульвару, в своем военном кителке, на лацкане этак задиристо болтается значок БГТО. Шустро гуляют по моей чернявой физиономии солнечные зайчики. И вдруг вижу шествующую мне навстречу дворовую ватагу ребят. Какое-то шестое чувство подсказывает мне, что встреча ничего хорошего не предвещает. Я по внутреннему рефлексу немедленно обретаю задиристо-воинственный вид. Руки в карманах. Походка, как у них, вразвалочку. Но это только внешне. Внутренне я весь съеживаюсь от подступающего предчувствия. Я стараюсь на них не смотреть, как не смотрят на лающую собаку, в опасении, что она почувствует вашу боязнь, преисполнившись храбрости. Но вот, слава

23

Богу, и прошли. Так мне, по крайней мере, кажется... И вдруг из-за спины: "Абраша! Абрамчик! Еврей!"

С каким бы наслаждением я провалился сквозь землю, но, поскольку это невозможно, я, провожаемый теми же криками, продолжаю идти дальше, испив до конца уготованную мне в этот солнечный денек чашу.

На Западе нас, выросших в Советском Союзе, почему-то очень любят допытывать, когда именно мы почувствовали себя евреями. В ответ я никогда не рассказываю об этих сценках на Нарышкинском бульваре, ибо далеко не уверен, что уже тогда во мне проснулось чувство, называемое национальным самоощущением. Встает в памяти вся картина детства, веселого и бесшабашного, каким было оно у миллионов моих сверстников. И ничуть я не изменил в те годы своим детским привязанностям, которые несли на себе печать чего угодно, но только не печать еврейства. Что же касается унижительных кличек, то пройдет несколько лет, и жизнь сама подскажет безотказное средство защиты от моих обидчиков.

Во время войны в Томске, где мы с матерью окажемся в эвакуации, мне уже недосуг будет заниматься бесплодной рефлексией — такой я или не такой, как все. В среде заводских хулиганов, в обстановке голода и оголтелого хамства, я довольно быстро усвою нехитрую житейскую формулу: "За жида бей морду".

По складу характера я никогда не был сторонником кулачного права, но это умение сохраняю на многие годы. И однажды, реализовав его, уже будучи журналистом и членом КПСС, я едва не лишусь партийного билета. В СССР ведь нет антисемитов, зато есть сионисты, к разряду

которых я едва не был причислен за то, что таким "непартийным" методом пытался отстоять свое национальное достоинство.

Впрочем, детство детством, а о кличке "жид", в силу его интернационального характера, я хотел бы сказать несколько слов. Однажды мне пришлось услышать: "Пойми, я еврей. Если ты в себе это не чувствуешь, то тебе уже ничто не поможет".

Я никогда не причислял себя к людям, которые свое ощущение еврейства готовы превратить в глухую стену, отделяющую их от других народов. Но думаю, что в жизни каждого человека — будь он русский, немец или еврей — наступает момент, когда он начинает чувствовать себя русским, немцем

24

или евреем. Разница лишь в том, что для русского миг этот, столь блистательно описанный многими из писателей России, прекрасен.

Ребенку говорят, что он частица великого целого, и приглашают в мир себе подобных. Он гордится этим. И когда малыш во всеуслышание утверждает, что он русский, мать смотрит на него с улыбкой и спокойствием за его будущее. Но однажды на улице Горького я услышал, как лет пяти мальчуган громко спросил у державшей его за руку матери: правда ли, что он еврей; Мать ткнула его в бок: "Мишигине копф" (сумасшедший, нашел, о чем кричать на улице!)

Когда ребенку в глаза кричат "жид", ему не просто сообщают, что он еврей. Ему тем самым говорят, что он чужой тому народу, частицей которого он себя считает, среди которого родился и живет. Если хотите, ему на всю жизнь вручают формулу обвинения. И притом лишают презумпции невиновности. Его еврейство отныне предопределяет все, и с этого момента перед ним встает жестокая альтернатива — или на всю жизнь остаться жидом, или, по возможности, перестать быть евреем, перестать быть самим собой.

## ВОЙНА

Война застала нашу семью на даче в подмосковном поселке Быково. Строить дачу отец начал задолго до войны. Он вкладывал в нее массу сил, сам вместе с рабочими возил из леса стройматериалы, любовно следил за тем, как укладывается каждое бревнышко, и был безмерно горд, когда наконец на небольшом участке в тринадцать соток вырос дом с двумя террасками и мансардой с балкончиком, чем-то напоминавшим

капитанский мостик на новеньком судне. Мансарда, или, как ее называли в нашей семье, "верх", считалась персональной обителью отца. Он ночевал здесь один и более всего любил на рассвете выходить на балкончик и любоваться живописными быковскими окрестностями. Возможно, и впрямь ощущал себя капитаном этого благополучного семейного судна, созданного собственными руками. Отец говорил, что у него лучшая дача в поселке, не считая, конечно, усадьбы Горжевского, о ком только и было известно, что в прошлом

25

он находился на крупной работе, а в тридцать седьмом году был взят, и его великолепная светло-голубая вилла постепенно приходила в упадок.

Отец вообще был увлекающимся человеком. Официальная карьера ему не удалась, да он к ней и не очень стремился после тридцать седьмого года, и вся энергия его была теперь подчинена дому. Один предмет увлечения сменялся другим. Какое-то время он коллекционировал саксонский фарфор. Затем — редких марок часы. Потом почему-то увлекся чемоданами. Его знали в комиссионных магазинах и о каждой вновь поступающей новинке незамедлительно сообщали по телефону.

К тому времени мы переехали в большую комнату на Петровский бульвар. Комната была вечно заставлена редкими вещами (благо отец прекрасно зарабатывал!). Однажды он приехал на грузовике и торжественно сообщил матери, что ему посчастливилось достать личный письменный стол Левитана. Стол, исполненный в стиле "ампир", действительно был красавцем и занял едва ли не полкомнаты. Сам отец за ним никогда не сидел, не работал. Ему просто было приятно рассказывать, что в его доме стоит стол художника Левитана.

Между прочим, я в своей жизни тоже всегда чем-то увлекался, хотя никогда не собирал ни саквояжей, ни фарфора и всерьез даже не коллекционировал марки. Разве лишь амплитуды моих увлечений, часто неожиданных и фантастичных, помогают мне угадывать в себе эту отцовскую черту. В четырнадцать лет я вдруг открыл в себе талант чтеца. Подражая у зеркала то Яхонтову, то Качалову, разрабатывал голос, готовясь к концертам в военных госпиталях. Но в один прекрасный день понял, что актером мне не быть, и возмечтал научиться водить автомобиль. На "Шкоде", привезенной двоюродным братом во время войны, я перепахал все Быковские просеки. Кончилось тем, что, едва не угробивши машину, так и не получил прав.

В Юридическом институте с головой ушел в комсомольскую работу,

видя в ней прямой путь к политической деятельности. И едва ли не с тем же рвением постигал латынь, пребывая в уверенности, что современным Комодовым невозможно стать, не изучив в подлиннике кодекс Юстиниана.

После института, не солоно хлебавши на юридической работе и разъезжая по клубам Подмосковья, загорелся идеей написать повесть о молоденькой культпросветчице, уехавшей

26

из города в село, о ее мечтаниях и мытарствах. И, возможно, именно тогда впервые ощутил в себе пристрастие к литературе, желание писать. Как и у отца, мои увлечения рождались спонтанно.

Став корреспондентом Московского радио, я довольно скоро пришел к выводу, что радиожурналистика не мое амплуа, как не мое амплуа вообще писать о жизни в розовых, радужных тонах. Я вступил на рискованную стезю газетного фельетониста, полагая, что только сатира, фельетон могут по-настоящему будоражить гражданский темперамент. Целыми днями я просиживал в судах, собирал материалы, пока не потерпел после одного из фельетонов такое крушение, что едва не оказался за бортом жизни.

В тридцать восемь лет мной вдруг овладела мысль, что моя подлинная стихия — море. Весной 1967 года я ушел вместе с мурманскими рыбаками к берегам Северной Америки. Работал с матросами в трюме на Флемиш-Капе и Нью-Фаундленде Пересек на маленьком СРТ-118 "Стриж" Саргассово море где рыбачил хемингуэевский старик, а когда вернулся, написал обо всем увииденном роман "Аква Пура", так и не изданный до сих пор.

Можно и дальше продолжать этот каталог моих пристрастий, но в нем все равно не нашлось бы места тому, к чему я пришел сегодня.

Один знакомый мне рассказывал, что он много лет был равнодушен к идее еврейского территориализма и государству Израиль, но однажды ночью его "ударил" — и он проснулся сионистом. Я воспринимаю это как милую шутку, ибо слишком хорошо знаю, что в жизни так не бывает.

Мне кажется, что в характере человека, как в земной коре помимо рек и речушек, омывающих ее поверхность, действуют, копятя невидимые глубинные потоки, которые рано или поздно взламывают почву и оказываются на поверхности. Вот так, наверное, и я, незримо для окружающих, невидимо для самого себя, плутая и делая зигзаги, шел к познанию собственной личности, к пониманию того непреложного факта,



что в течение всей жизни я был и остаюсь евреем. Кто знает, когда начался этот путь — до войны ли, на Нарышкинском бульваре, или позже, когда я оказался в эвакуации, в Томске. Война есть война. Взрывами и бомбами она перепахала земли России. Но кому ведомо, что происходило в ее недрах, в миллио-

27

нах ее людей, поставленных лицом к лицу с трагедией и ужасами войны.

...Утром 22 июня 1941 года я, во всяком случае, был далек от всех этих мыслей. В воздухе по-летнему парило. Чем точно я занимался в то утро, не помню. Отец, стоя в одних трусах, окучивал клубнику. Он обожал копаться на участке и на этот раз так увлекся, что не сразу услышал голос матери: "Борис! — кричала она. — Скорее иди, кажется, война!"

По радио уже выступал Молотов, а отец, опустив мотыгу, непонимающе смотрел на мать. Взрослые, в отличие от детей, не верили в реальность случившегося. Они не играли в военные игры, не сдавали на значки БГТО...

От слова "война" у меня захватило дух: наконец-то! Вместе с моими дачными приятелями Борисом Бурмистровым и Ариком Андерманом\* мы шли от калитки к калитке и, как сумасшедшие, горланили: "Война! Вы слышали, война!" Будто приехал цирк шапито или через пять минут начнется солнечное затмение. В быстром исходе войны никто из нашей троицы не сомневался (да и кто тогда сомневался в этом!). Страна ворошиловских стрелков, где каждый давно уже был готов к труду и обороне, в несколько дней разобьет фашистов на их же территории...

На всю жизнь врезался в память первый день войны. Но почему-то исчез второй, третий, пятый день... Все смешалось, все полетело кубарем. Лишь радио бесконечно играло: "Пусть ярость благородная вскипает, как волна..." — единственный звук из немой, изодранной ленты, которую с трудом прокручиваю в памяти.

...Южный речной порт. На теплоходе "Михаил Калинин" мы плывем в Горький. Мы — это мать, я, жена моего дядьки тетя Люба и мой двоюродный брат Гарик, он же Чичик, как прозвали его во дворе на Большой Каланчевке, где жили они до войны. А потом — пустота. Горький — пустота. И почти двухнедельный путь от Горького до Томска тоже пустота. Лишь временами лента высвечивается и появляются эшелоны. Только не те грозные, парадные, что заполнили собой послевоенные фильмы, а те несчастные, с вонью, со скарбом, с полураздетыми матерями и детьми, которые не ехали — ползли на восток, гонимые ужасами войны

и оккупации.

---

\* Арика Андермана я на многие годы потерял из виду, и лишь в 1978 году, приехав из Израиля в Париж, я с удивлением установил, что знаменитый Оскар Рабин и был другом моего детства. (В.П.)

28

Совершенно не помню лиц наших соседей по вагону, но все они почему-то были одеты по-летнему, в какие-то невообразимые пестро-клетчатые регланы, какие никогда не продавались в Москве. Из коротеньких обшарпанных рукавов у них вечно торчали красные замерзшие руки. Говорили они не по-русски, точнее, не говорили, а перекрикивались из одного конца вагона в другой.

После войны, не помню уж в связи с чем, мать как-то заметила: "Помнишь этих шумных польских евреев? Мы вместе с ними в эвакуацию ехали". Тогда я, конечно, не знал, что все это евреи. Думал, просто беженцы из западных областей. Но в Томске стал их недолюбливать за то, что они вечно заполняли толкучку своими заграничными обносками, рядом с которыми на наш с мамой "москвошвеевский" товар никто не хотел смотреть.

Московский шарикоподшипниковый завод, или просто "Шарик", где тетка работала еще до войны, обосновался близ станции Томск II в шестнадцати кирпичных корпусах бывшего военного городка.

В той рваной, клочковатой ленте, которую я, впрочем без особого успеха, пытаюсь восстановить, сохранился такой кадр: на перроне измученные долгой и тяжелой дорогой люди со своим жалким домашним скарбом и среди них мы с братом, сидящие среди чемоданов и мешков. Дует пронзительный ноябрьский ветер, какие только бывают в Сибири.

Пока мать с теткой искали подводу, брат потребовал, чтобы я уступил ему место на большом кожаном чемодане. Я, разумеется, отказался — чемодан купил отец во время своего чемоданного увлечения и, по праву собственности, сидеть на нем должен был я. Чичик разревелся и с ревом помчался вдоль перрона искать тетку, чтобы немедленно на меня пожаловаться. Вообще это была на редкость кляузная и плаксивая личность. Будучи моложе меня на три с лишним года, он требовал, чтобы я всегда и во всем ему уступал, что я делать решительно отказывался. Вспыхивали ссоры, он поднимал дикий рев. В такие минуты я его ненавидел, кричал ему: "Чичик! Очкарик! Чичиковская галерея!" Разревевшись, он незамедлительно вытаскивал на свет божий мою

дворовую кличку "старик", "стариковская галерея". Это с моей точки зрения было уже слишком — старшего брата он обязан был уважать и за "старика" тут же получал по физиономии. Как теперь понимаю, у меня характерец тоже был не сахар.

29

## ТОМСК

Поселили нашу семью в проходной десятиметровой комнатенке на втором этаже. Рядом жили молодожены Драгунские: он — Еська из кузницы, она — его молодая жена и иждивенка Берта. Еська был здоровенный верзила. Ходил руки в карманы, матерился, как извозчик. Говорил не "мастер", а "майстер", не "диспетчер", а "биспетчер". На заводе, по-видимому, в знак высокого уважения его звали не Еської, а Васькой. В отличие от него Берта была интеллигенткой, ходила в манто под котик и мужа звала Иосифом.

На одной лестничной площадке с нами жила семья Шмидтов. Тридцатилетний Толя Шмидт — зам. начальника ОТК и его жена Тося, работавшая вместе с теткой в ОТК нормировщицей. Тося в свои двадцать лет во всем подражала тетке: так же, как она, никогда не выпускала изо рта папиросы и даже говорить пыталась низким, как у тетки, прокуреным басом. Впрочем, до теткингого самообладания ей было далеко, она то и дело прибегала к нам вся в слезах из-за своего Шмидта: то запил, то видели его у проходной с какой-то фифой из ОРСа...\*

В первый же вечер в городке выключили свет. Тося принесла нам коптилку и мутный флакон керосина. Шмидт сказал, что света теперь вообще не будет — цехам и без того не хватает электроэнергии. В доме был отчаянный холод, в окна дул ветер, и едва теплившаяся коптилка поминутно гасла. Тетка легла с матерью. Меня положили с братом. Кровать была скрипучей, узенькой и лежать мы могли только боком. Чичик потребовал, чтобы я пустил его к стенке и нахально потянул на себя большую часть одеяла, за что тут же получил под зад коленкой. Но перед лицом обрушившейся прозы жизни, по-видимому, склоку решил не поднимать и, поджав под себя свои тощие и не по возрасту длинные ноги, миролюбиво засопел.

С братом я теперь редко встречаюсь. Респектабельный инженер-электронщик, почтенный отец семейства... Даже странно, как мог плакса и вечный кляузник Чичик превратиться в этого мягкого, доброго человека. Томск он вспоминает с трудом. Говорит, правда, что помнит Еську

Драгунского с его "майстером" и "биспетчером" и еще что-то в том же духе. И вообще, если бы не супы из крапивы, которыми нельзя было

---

\* Орсы — заводские отделы, снабжавшие рабочих продуктами питания во время войны.

30

насытиться, то это было не такое уж плохое время. Вот только двор там был преотвратный, одни братья Астаховы чего стоили...

— А Колобка, а "рыцаря" помнишь? — пытаюсь оживить в его памяти воспоминания.

— Нет, этих не помню. Ну что ты хочешь, сколько мне тогда было...

Дворы в России — особая область жизни. До войны мать вообще старалась не пускать меня во двор. Чему можно там научиться? Самому плохому. Двор в Бахрушенке я почти не помню и даже не представляю, когда я успел обзавестись кличкой "старик". Зато помню, что в Томске дворовая компания сложилась с невероятной быстротой, и с ее нравами я познакомился сразу же после приезда.

Мать послала меня в баню. Я спокойненько разделся, взял "шайку", но не успел войти в банный зал, как замер, пораженный увиденным: пятеро подростков во главе с плотным, мускулистым отроком, загнав в угол взрослого человека, с радостным гиканьем обдавали его кипятком.

— Пали его! Пали! — кричал мускулистый.

Вскоре я разглядел лицо человека — это был Левин из отдела главного механика, ехал в Томск вместе с нами, в соседнем вагоне. Компания так и не дала ему домыться, а я, забившись с "шайкой" в угол, предался невеселым размышлениям: если они так ведут себя с Левиным, то что же они сделают со мной.

А вскоре жизнь вплотную столкнула меня с этой компанией. Вышел я как-то из клуба после кино, и тот же мускулистый с узкими глазками — я уже знал, что его фамилия Астахов, — подозвал меня.

— Эй, еврейчик, — крикнул он, — драться умеешь?

Превозмогая страх, я подошел и, стараясь не выдавать волнения, задал глупейший вопрос: а в чем, собственно, дело.

— А в том, что стыкнись с Колобком. Колобок маленький, тощий, а ты вон какой дядя...

Нас тут же обступила компания астаховских дружков. Впереди стоял сам Колобок, маленький, наголо остриженный бандюга, готовый сию же минуту исколошматить меня. Вдруг он покровительственно улыбнулся и

сказал:

— Абрам, ты брынза хочешь?

И в этот момент получил от меня сильный удар в переноси-

31

цу. Из носа у него хлынула кровь, он вскричал, что убьет меня, но на него никто не обращал внимания. Легендарная слава Колобка была похоронена раз и навсегда.

А через несколько дней уже другой, по кличке "рыцарь", из той же компании снова окликнул меня:

— Эй, еврейчик!

Я не обернулся, но из-за спины услышал деловитый голос Астахова:

— Он не еврей, он только наполовину, мать у него русская, в ОТК работает.

В первую же осень, как мы приехали, начался голод. Конечно, не такой, как в Ленинграде во время блокады. Но сколько помню себя, в те дни я всегда был голоден, и тарелки из-под супа мы с Чичиком добела облизывали языком. Тетка, как "цеховой персонал", получила рабочую карточку, мать, как бухгалтер, — карточку ИТР.\*

В общем, на четверых получали восемьсот граммов хлеба и еще по два талона на обед. Обед обычно состоял из маленькой тарелки овсяной жижицы и крошечной хлебной галушки. За обедами ходили с Чичиком по очереди и каждый раз должны были часами выстаивать на ветру. В очередях поднимались драки. Я видел один раз, как две женщины, не поделив миски супа, вцепились друг другу в волосы и в истерике катались по лужам.

Однажды на глазах всей очереди у Чичика отняли бидон с супом и вдобавок ему еще разбили очки. Другой раз он вместо двух принес одну галушку, сказал, что недодали. Вечером с ревом сознался, что съел сам.

После этого на семейном совете решили: Чичика за обедами больше не посылать и роль домашнего ОРСа целиком возложили на меня.

В шесть-полседьмого вечера на дворе уже было совершенно темно, и, чтобы экономить керосин, все старались пораньше укладываться спать. Под свет гаснущей коптилки я читал Чичику вслух Жюль Верна — долго он обычно не выдерживал, начинал посапывать. Мать с теткой тоже укладывались. Еська с Бертой ложились раньше всех — эти молодожены были ужасные сони и лежебоки. В квартире наступала тишина. Лишь со двора еще долго неслись гул и лихие куплеты. Запевал обычно Астахов — басом, рыцарь — тоненьким женским тенорком:



---

\* ИТР — инженерно-технические работники.

32

Сара разговор ведет в туннеле —  
Мы с тобой неглупые евреи.  
Наши там не зевают.  
Города занимают:  
Омск, Томск, Куйбышев, Саратов и Ташкент.

В квартире стояла мертвая тишина. Где-то в углу скреблись мыши, которым был голод не в голод. Тетка с ожесточением начинала искать в темноте папиросы. Берта всхлипывала и говорила Еське, что она ужасно боится. Еська сопел, но предпочитал молчать. Если горланили громко, то просыпался Чичик и начинал свою склоку из-за одеяла — нашего вечного яблока раздора. Получив под зад пинок, он поднимал страшный рев. Вмешивалась тетка и громко, на всю квартиру, стыдила меня. Еська тоже вдруг обретал голос. Стуча к нам в стену, он орал, чтобы дали людям спать. А с улицы еще долго доносились боевые куплеты:

Все абрамы и евреи.  
Где же русские лакеи?  
Врешь, еврей, от смерти не уйдешь...

Вот так начиналось мое отрочество, в гуще жизни, которая в официальной печати давно получила оценку как жизнь беспримерно мужественная, как героический тыл войны. Возможно, оттого, что слово "героизм" в Советском Союзе уже давно переживает инфляцию, мне в голову приходят иные слова, связанные с тогдашним восприятием жизни. В памяти сохранилась узенькая каменная лестница, всегда погруженная в темноту, с вонючими кучами мусора, вываленного на ступеньки, с крысами, шныряющими из угла в угол. В Москве, на Петровском бульваре, таким жутким и грязным был черный ход, куда выносили мусор и куда мать меня выставляла за особо тяжкие провинности. И примерно так же выглядела в Томске лестница, по которой мы взбирались в свою полутемную конуру.

Сейчас эти детские впечатления все чаще приходят в голову. Темная лестница с крысами и вонючими кучами мусора вырастает в некий символ, словно сама война оборачивалась с черного хода. Там, на фронте, были

пули, была смерть и измены, но было и воинское братство, и стойкость, и воистину геройский подвиг. Россия как бы являла миру свой мужественный и веками воспеваемый поэтами лик. В тылу же остались голод, грязь, ненависть. Все худшее, что веками отслаивалось в характере русского человека, вывалилось на этот черный ход войны.

33

## Я НЕМЕЦ

Все произошло в школе, и в памяти даже сохранился ее номер — Томская железнодорожная школа № 44, — двухэтажный деревянный дом, крытый ржавой толью и омываемый со всех четырех сторон черной осенней жижей. Так что и к порожку невозможно было подобраться, не вымесив метров десять по лужам.

Почему-то встреча с этой школой меня страшила больше всего. Вероятно, пугала неизвестность. Как бы там ни было, а в военном городке, где разместился "Шарик", обитали "свои", москвичи. В школе меня ждала встреча с сибиряками, о которых я знал только, что они на своей земле хозяева и потому могут делать с такими незваными гостями, как я, все что им заблагорассудится.

В детстве я слышал о гостеприимстве и широте характера сибиряков, но то происходило в другом, почти сказочном мире, там вообще все было удивительно складно, а теперь, среди голода и ужасов эвакуации, среди окружавшей меня национальной ненависти, мне не давал покоя совершенно реальный вопрос: как я буду встречен в пятом классе сорок четвертой железнодорожной школы со своей далеко не славянской внешностью и далеко не русской фамилией.

От этих недобрых предчувствий я преисполнился еще большей ненавистью к немцам, уже подходившим в то время к Москве. В мечтах я взывал к помощи некоего ангела-спасителя. Он обрушит на голову Гитлера чуму или какое-нибудь другое смертоносное средство, избавив нас с матерью от мук эвакуации, или, по крайней мере, придет мне на помощь в трудный момент моей томской жизни, поджидавшей меня в неизвестной мне сорок четвертой железнодорожной школе.

Какая удивительная ирония судьбы! Моим ангелом-спасителем, избавившим меня в школе от национального унижения, явится человек по имени Александр Адольфович Кноль, немец, выселенный из Поволжья в Сибирь, как представитель нации, ведущей войну с моей социалистической Родиной. И еще большая ирония в том, что я сам на

время превращусь в немца. И именно благодаря этому надолго забуду кличку "жид" и обрету среди сверстников подлинно романтический ореол.

Итак, в один из слякотных осенних дней я все-таки оказал-

34

ся в сорок четвертой железнодорожной школе. В класс меня ввела сама директриса, седовласая, с очень живым лицом старушка, внешне чем-то похожая на старосветскую помещицу. С учениками, как скоро заметил я, она старалась держаться на дружеской ноге и, обращаясь к ним, всегда начинала со слова "друзья". За глаза ученики почему-то звали ее Сарочкой.

Меня она ввела, ласково обняв за плечи своими белыми в кружевах руками, и, подведя к доске, сказала, что я только что из Москвы, Москву каждый день бомбят немцы, и она надеется, что 5"А" примет новичка достойно, с истинно сибирским гостеприимством.

Речь Сарочки была воспринята моими однокашниками сдержанно. Лениво глаза то на меня, то на директрису, они продолжали спокойно жевать серу.

Не успела директриса удалиться, а я — занять указанное мне место на предпоследней парте, как над самым моим ухом грозно просвистела картонная пулька, пущенная из рогатки, за ней — другая...

Кто-то с неистовым упорством старался угодить мне в затылок. Я обернулся и увидел довольно колоритную тройцу: в центре — беленькую, с тонкими, как два кренделька, косичками, пигалицу. Воплощенное прилежание, она не сводила глаз с учительницы. Позже я узнал, что ее фамилия Бастрыгина. По обе стороны от этой "святой Магдалины", мощно работая челюстями, восседали две личности, явно не предвещавшие мне ничего хорошего. Это были наводившие на всю школу страх Репета и Дыкин. Репета с наголо обритой головой и нежным, как у девушки, лицом. Дыкин — такой же мощага, но с челкой и лицом явного головореза.

Увидев их впервые, я меньше всего предполагал, что очень скоро оба станут моими приятелями. Дыкин будет подходить ко мне на переменах, и, весело хлопая по плечу, говорить: "Шпрехен зи дойч — немец? Немец — это зеер гут".

Многие из событий той осени, событий, куда более существенных, не сохранились в памяти. Многие остались лишь в виде туманных контуров, а тот первый день в школе так и живет в самых мельчайших деталях.

Помню совершенно точно: был урок географии. Географичка, голосистая и веселая толстуха, перекатывалась с указкой по классу и перечисляла культуры, произрастающие в республиках Средней Азии:

чай, рис, тутовое дерево, хлопок... Она

35

говорила не хлопóк, а хлопóк, звонко, с ударением на последнем "о" и пристукивая в такт указкой.

"Камчатка", всецело поглощенная моей персоной, явно ее не слушала. Особенно неистовствовали два брата Шлыковы. Оба черные, как цыганята, они корчили мне в затылок рожи и непрестанно издавали какие-то подозрительные шипящие звуки:

— Чив! Чив! Чив!.. Чуть жив! Жив! Жив! Жив!

По карнизу разгуливали воробьи и весело дубасили клювиками по стеклам. А я сидел, уткнувшись в атлас, и силился понять, к кому относятся эти странные звуки.

На перемене Шлыков-старший, уставившись в окно, на весь класс продекламировал: "Осень пришла, жида налетели". Я подумал, что жидами он все-таки называет воробьев и довольно скоро обнаружил, что слово "жид" — вообще самое распространенное среди бранных слов в 5"А". Жидовка — географичка, вlepившая Дыкину кол, жидовка — Бастрыгина, не давшая Ренете промокашку. И только маленькая седовласая директриса — не жидовка, а Сарочка.

Впрочем, это открытие мало облегчало мое положение. На второй или третий день я спускался по лестнице со второго этажа и услышал голос Репеты, обращавшегося к Дыкину:

— Знал бы ты, Коль, как я ненавижу жидов. Вот этими бы руками всех прикончил. Я обернулся: Репета смотрел на меня своими ясными, голубыми глазами и улыбался...

Другой раз, когда выходил я из школы, меня нагнал Дыкин испросил:

— Эй, Пилерман, ты кто, жид или не жид? Снимай штаны, посмотрим.

Вот в этой веселенькой ситуации и явился мой ангел-спаситель, учитель немецкого языка Александр Адольфович Кнолль.

В тот день немецкий у нас был первым уроком. За окном было еще темно, и в нетопленном классе тускло горели две маленьких желтых лампочки.

Кнолль вошел своей обычной походкой (к слову скажу, такой же походкой вскоре начну ходить и я, подражая своему кумиру), чуть выдвинув вперед плечо и держа под мышкой тоненькую папочку. Он был типичный немец, хоть и не блондин, а брюнет — жгучий широкоплечий брюнет с голубыми глазами и плоским срубленным затылком.

Урок начался как обычно. Он открыл классный журнал и,

коверкая фамилии, стал медленно читать список по алфавиту. Мою фамилию он также произнес неправильно: не Перельман, а Пэрльман. Взглянул на меня и улыбнулся:

У вас немецкая фамилия? Sind Sie ein Deutscher?

Ошеломленный вопросом, я молчал. Я не знал, что отвечать. Не мог же я пасть до такой безнравственности, чтобы во всеуслышание объявить себя немцем, но не было у меня мужества в этой обстановке сказать, что я еврей.

— Sprechen Sie Deutsch? — словно почувствовав мое замешательство, продолжал Александр Адольфович.

— Ja, ich spreche Deutsch.

— Woher sind Sie gekommen?

— Wo sind Sie geboren?

О благословенная тантэ Кари! Что бы я сейчас делал, если бы не два года, проведенные в ее немецком кружке на сквере возле Большого театра...

— Wo sind Sie geboren? — повторил Кнолль.

— Ich bin in Moskau geboren, — ответил я по-немецки.

Ошалелый от услышанного, класс молчал. Кажется, если бы ввели живого гиппопотама, то и это не вызвало бы такой сенсации. В мгновение ока я стал центром всеобщего внимания. Объяснений Кнолля никто не слушал — все глазели на меня, но уже совсем не так, как в день моего появления.

На перемене Дыкин извлек из сумки горбушку хлеба и, густо намазав ее салом, подал мне:

— Поправляйся, геноссе!

Он объявил, что отныне всякий, кто вздумает приставать к немцу, будет иметь дело лично с ним. Репета похлопал меня по плечу и добавил: "И со мной тоже".

Шлыков-младший, едва перебивавшийся у Кнолля с двойки на тройку, вдруг обнаружил страшный интерес к изучению немецкого языка. Он подходил ко мне на каждой перемене и выпрашивал, как будет по-немецки то, как — это, и всякий раз восклицал:

— Однако ниче, любопытно!

Вскоре слух о появлении в 5-м классе немца облетел всю школу. Я становился популярной личностью, хотя сам нисколько не способствовал росту этой популярности. Напротив, каждый раз, когда меня назойливо



выспрашивали, верно ли, что я немец, я отмахивался или, в лучшем случае, молчал, но никогда не говорил "да". Мое смущение толковалось по-сво-

37

ему: раз не хочет отвечать, ясное дело, — немец. А я не разубеждал. У меня, в сущности, теперь не оставалось иного выбора, как вести игру дальше...

После войны я нередко рассказывал эту историю. Происходило это чаще всего в компании, за рюмкой коньяку. И те, кто слышал ее, обычно весело смеялись: какой невообразимый казус, нарочно не придумаешь!

Говорил я и по-другому, особенно, когда обострялся еврейский вопрос, — "Вот ведь до чего в войну дело доходило, немцем лучше было быть, чем евреем!" Давно замечено: с возрастом трезвее становится взгляд на прошлое. Но и по прошествии многих лет осталось от той истории две загадки, к которым хочу вернуться.

Первая загадка — Кнолль. Что побудило его признать немцем типичного еврейского подростка? Сочувствие к моему тогдашнему положению? Нелепая ошибка, явившаяся для меня якорем спасения? Помню выражение его лица, когда он стал выяснять, немец ли я. Это была даже не радость. Это было что-то большее, которое просыпалось в нем всегда, когда он спрашивал у меня урок и пользовался случаем, чтобы поболтать со мной по-немецки. Кто знает, сколько он лелеял в себе тайную мечту встретить соотечественника, и сюит ли удивляться, что, услышав здесь, в далекой и чужой ему Сибири, родной язык, он вдруг неоглядно поверил в то, что его мечта сбылась.

Если Кнолль — из области чистой психологии, то из какой области другая загадка, существовавшая для меня много лет, я и сам затрудняюсь сказать. Однажды, через полгода или год после прихода в новую школу, я разговорился по душам с Дыкиным и, словно между прочим, спросил, за что он так не любит евреев.

— Как за что? — взглянул он на меня с недоумением. — Да они ж все жидаы!

— А ты сам, Дыка, знаешь хоть одного еврея? Снова удивление.

— Да хоть бы и не знал, все одно, всех их давить надо.

Так вот, другая загадка — это Дыкин и Ренета, это дворовая Анька, дразнившая "по национальности" подругу моей дочери...

Тетка, считавшая себя стопроцентной марксисткой, каждый раз, когда слышала из окна "астаховские куплеты", возмущалась вслух: "Черт знает что, это на тридцать пятом году

советской власти!" А "дворовая Анька", могу добавить, — это уже пятьдесят четвертый год советской власти. И также будет на семидесятом и восьмидесятом ее году.

Я слышал, как один районного масштаба партийный работник, изрядно выпив, философствовал:

— Ну, что я могу с собой поделаться, если не люблю евреев. Только не спрашивайте меня почему. Человек не переваривает рыбу. Вы же не спрашиваете его почему. Не любит и все. Вот так и я не люблю евреев.

Мне кажется, что мои томские однокашники Дыкин и Репета, и "дворовая Анька", и этот районного масштаба партийный работник — по сути, одно и то же явление, явление чисто русское, уходящее истоками в далекую патриархальную старину. Евреи, как генотип, вероятно, всегда противостояли этой стране, веками остававшейся неподвижной и бесконечно чуждой динамическому космополитизму "вечного жида" Агасфера.

И пока жива привычная для России недоброжелательность к чужеземцам, будет жить и предубеждение против евреев. "Почему я не люблю евреев? Да потому что не люблю и все!" Тут ни прибавишь, ни убавишь!

Если угодно, это область физиологии, где, как у подопытных павловских собак, условные рефлексy превращаются в безусловные, но никак не исчезают вовсе. Это сравнение можно было бы продолжить и дальше, ибо современный антисемит все чаще реагирует не на живой еврейский генотип со всеми непривлекательными чертами, которыми его обычно наделяют, а лишь на его символы — на еврейскую фамилию, на еврейское лицо, на "пятый пункт" в анкете. Да и само еврейство в его глазах все чаще выступает лишь как голая идея, воплощенная в неприятие. Но передается она из поколения в поколение, подобно тому, как наследовали россияне неприятие леших, ведьм, домовых и прочие творения темного экзальтированного ума.

## КЕДРАЧ

Осенью Чичик пошел в первый класс, но это мало сказалось на его склочном характере. К приходу матери и тетки он всегда находил случай, чтобы возвести на меня напраслину — то погнал я его в самый мороз на колонку за водой, и из-за этого он не успел выучить уроки, то оставил ему

мало места за столом, и из-за этого он посадил в новую тетрадку кляксу.

Ябедничал он с ревом и при этом добавлял, что я ударил его и отшиб ему бок или что-нибудь еще. Тетка старалась все это воспринимать философски. Но случилось, что ее материнское чувство не выдерживало.

— Гарик, — вдруг повышала она тон, — я вообще запрещаю тебе с ним водиться.

Она надувалась и, обиженно пыхтя папиросой, прекращала со мной разговаривать. Продолжалось это недолго. Дела по дому, от которых у нее с матерью не было продыха, не оставляли времени для таких тонких переживаний. Тотчас после работы ей или матери нужно было бежать в очередь за хлебом — хлебные карточки не доверялись даже мне. Затем обе брались за топку печи. Угля не хватало, и в комнате всегда стоял собачий холод.

По воскресеньям обычно отправлялись на рынок. Вместо денег, которые уже давно ничего не стоили, брали оставшиеся с Москвы обноски и подолгу расхаживали между рядов с мешками картошки, с бидонами меда и масла, пытались что-то на что-то выменять. Иногда улыбалось счастье, тогда приносили домой бутылку русского масла или полведра картошки.

В пачке сохранившихся у меня фотографий детства нет ни одной, относящейся ко времени эвакуации. Не осталось и переписки тех лет, если не считать чудом выжившего письма, датированного сентябрем сорок второго года, которое я отправил отцу в Свердловск (он выехал туда вместе со своим издательством музейной и краеведческой работы в октябре сорок первого года).

На двух пожелтевших страничках, вырванных из тетрадки "в три косых", я неустоявшимся детским почерком, по-детски подробно описываю все наши томские новости — что "погода в Сибири стоит далеко не постоянная — то сорокаградусная жара, а то ветры с дождями", что занятия, как и в прошлом году, на месяц откладываются и поэтому у меня теперь много свободного времени, которое я использую для того, чтобы хоть как-то помочь маме. Я уже научился штопать и перештопал семь пар чулок. Кроме этого понемногу читаю учебники, чтобы шестой класс, как и пятый, окончить с похвальной грамотой. "Сейчас, — писал я, — когда все народы мира охвачены смертельной борьбой с фашизмом — этим раком всего человечества, для школьников особенно важно

учиться на хорошо и отлично". Как соотносились эти правильные, книжные строки с моей реальной жизнью? Верно, срабатывала детская психология, согласно которой в письмах не полагалось огорчать родителей. Не мог же я написать отцу, которому было и без того тяжело одному, да еще с его сахарным диабетом, что еврейских ребят в Томске зовут жидами, а меня не дразнят только потому, что по ошибке считают не евреем, а немцем, что почти каждый день мы ссоримся и деремся с Чичиком и что на обед едим щи из крапивы и только по воскресеньям мать с теткой потчуют нас жидкой мучной баландой, замешанной на воде, и жарят оладьи из картофельных очисток.

Кесарю — кесарево, а родителям — родительское... В письмах к отцу я с увлечением рисовал образ чудного мальчика, примерного пионера, денно и нощно помогающего маме и любимой родине. Но в тайниках души этого пай-мальчика, с раннего детства несшего груз еврейства, кипели невидимые бури. Оттого, что никто ему не мог объяснить, почему даже сейчас, во время кровавой борьбы с немецким фашизмом — этим "раком человечества", его любимая родина была разделена на русских и жидов и, чтобы не быть жидом, он вынужден был пойти на нечеловеческое унижение и называться немцем.

Разумеется, это — логика взрослого человека, и подросток двенадцати-тринадцати лет вряд ли мог рассуждать именно так. Я лишь пытаюсь понять тогдашнее свое настроение — почему с такой неукротимой жадой стремился стать другим, ну, например таким, как Дыкин и Репета, с такими же, как у них, плечами и мускулами.

Я приходил из школы домой и, бросив в угол ранец, так же, как когда-то до войны, подолгу глазел на себя в зеркало, на свою щуплую, сутулую фигуру. Я распрямлял плечи, выпячивал грудь и в эти минуты особенно остро чувствовал, что мне никогда не стать таким, как Дыкин и Репета, чтобы шел я по улицам и томская шпана приходила в трепет от одного моего вида. В такие минуты я презирал и ненавидел себя. Но от всего этого еще сильнее становилась жажда вырваться из своей проклятой оболочки, будившей лишь желание дразнить меня жидом.

Однажды я увидел у Дыкина финку и вскоре такую же выменял себе на заводе за краюху хлеба. Когда мать обнаружила

ее у меня в кармане, то устроила страшный скандал, кричала, что я стал

бандитом, шпаной и что она обо всем напишет отцу. Отцу она не написала, а я для себя решил, что нож в кармане брюк носить рискованно — надо припрятать его куда-нибудь подальше.

Но это были еще цветочки — ягодки начались позже: в один из летних дней я объявил матери, что завтра на рассвете отправляюсь в кедрач.

К тому времени мать уже стала привыкать к моим сюрпризам. Незадолго до того, как она обнаружила финку, меня приволокли домой с перебитой челюстью — я схватился еще с одним из членов астаховской компании и на этот раз сильно пострадал.

Другой раз по собственной инициативе проник на дровяной склад, выломав в его стене несколько горбылей, и натаскал полную кухню березовых поленьев. Когда мать пришла с завода и обнаружила ворованные дрова, она чуть не сошла с ума от страха. Она была уверена, что за мной вот-вот придет милиция и на несколько лет меня посадят за решетку. Но с кедрачом ни финка, ни кража дров не шли ни в какое сравнение.

Мать видела, кто обычно торгует на рынке кедровыми орехами, а с весны — вареными кедровыми шишками. Это был промысел коренных сибиряков. Они шли за двадцать-тридцать верст от города, притом обязательно в ночь, когда засыпали объездчики и можно было тайком пробираться в чащу и, не рискуя попасть к ним в лапы, взбираться на кедр, ломать ветви с неспелыми шишками.

Ходили слухи, что объездчикам, дабы сохранить кедрачи, дан приказ без предупреждения стрелять по лесным браконьерам. Зато на рынках этот товар шел нарасхват — орехи по 15-20 рублей за стакан, шишки по 5-7 рублей за пару. Мешок шишек — и тысяча-тысяча двести рублей в кармане — ровно столько, сколько мать и тетка вместе зарабатывали за месяц.

У меня в письменном столе и по сей день лежит недописанный рассказ, материалом для которого послужил мой первый поход в кедрач. Почти все в рассказе взято из жизни. Вот выходит из ворот военного городка странного вида компания. Одеты кто во что — кто в заводскую спецовку, кто в ватный тулупчик, а кто в такую рвань, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Шествует в этой заводской компании и мой герой, мой тринадцатилетний сверстник Кирилл Патрикеев. Как

у каждого, у него за плечами — мешок, за поясом — нож, в руках — палка.

В таком, или примерно таком виде, и мы вышли из городка на шпалы



местной однопутки и отправились в дорогу — кроме меня человек десять из кузницы, остальные — со сборки. За главного был Резников Володька. Про него говорили, что он единственный знает кратчайшую дорогу до Ивановского кедрача, а насчитывала эта идущая полями и бродом через Томь кратчайшая дорога что-то около километров двадцати-двадцати пяти.

Я был в экспедиции младший, единственный школьник и, насколько помню, единственный еврей. Испытывал я двойственное чувство — с одной стороны, был непомерно горд, что решился на такое предприятие, от него даже Астахов с "рыцарем" отказались, с другой — точила меня тайная боязнь, как бы не подстроила мне судьба что-нибудь непредвиденное. Ведь наверняка ни у кого из моих компаньонов в пять лет не прилипал язык к турнику, никто в детстве не повисал так глупо на стропах парашюта, никто так по-дурачки не напарывался на гвоздь и не попадал из-за этого на целый месяц в больницу. И если суждено мне быть неудачником, где гарантии, что судьба на этот раз смилостивится надо мной. И все же когда к ночи мы вошли в чащу, то я не думал, что, час спустя, буду стоять перед кедром с рассеченным виском, безуспешно пытаюсь остановить кровь носовым платком.

Шишки сбивали по двое. Был я в паре с длинноногим Федей из сборочного цеха. Федя долго взбирался на кедр и, прежде чем приступить к делу, не прекращая орал мне сверху, что у него не кедр, а пустой номер — не видать ни единой шишечки. Он-то, этот несчастный слюнтяй и трус, и угодил мне в висок. Но это произошло позже, потому что первым на кедр полез я, и, когда я добрался до макушки, вдруг ощутил такой страх, какого и на миг не мог представить, когда упрашивал Резникова взять меня с собой.

Вниз я смотреть не решался. Земля с длинноногим Федей осталась где-то очень далеко, в глубокой пропасти. Кругом была темнота и ветер. Я стоял, обхватив одной рукой макушку кедр, а другой, вытянув ее во всю длину, ломал ветки с мощными гроздьями тяжелых смолистых шишек. Когда дул ветер, я раскачивался вместе с макушкой. Казалось, что под тяжестью моего тела она вот-вот треснет и я рухну в ночную бездну.

и все же, как это было ни тяжело, я старался бросать шишки в одну сторону, чтобы в лесном травостое легче их было подбирать напарнику. Это правило, о котором еще перед тем, как вошли в кедрач, предупреждал Резников, и нарушил длинноногий. Почувствовав страх, он стал ломать

ветки, без разбора бросая их то вправо, то влево от себя и заставляя меня, как гончую, метаться из стороны в сторону, пока не угодил он мне в висок тяжелой смоленной бомбой.

Резников достал из сапога портянку и перетянул мне голову. Но все же скоро, когда, взвалив мешки на плечи, шли домой, я почувствовал слабость. К тому же мучил голод. Ломоть хлеба с двумя вареными картофелинами, которые дала мать, были давно уничтожены. И я готов был отдать полжизни за то, чтобы раздобыть что-нибудь съестное. Ноги стали ватными и словно чужими. А Резников орал и матерился, чтобы не мешкали, — в любую минуту могли нагнать объездчики. Увидев, что я валюсь с ног, он посмотрел на меня с такой ненавистью, что я подумал: вот-вот съездит по физиономии, но он, выругавшись десятиэтажным матом, взвалил на себя мой мешок, а меня взял под руку, и теперь мы шли с ним рядом, вернее, шел он, а я плелся, с трудом передвигая свои ватные, обессиленные ноги.

Когда вышли на шпалы и до городка оставалось метров восемьсот, я сказал Резникову, чтобы дальше меня не тащил, как-нибудь доползу сам. Он молча отдал мне мешок, и я, обессиленный, свалился на шпалы. Все, что произошло дальше, было как во сне. Я и сейчас не могу себе объяснить, как, потеряв сознание, я умудрился услышать шум приближающегося поезда и усилием воли заставить себя скатиться с насыпи. Колеса давили мешок с шишками, они издавали страшный скрежет и хруст, а я слабым движением рук пытался ощупать свое тело — в беспомощности мне вдруг показалось, что вагоны давят не шишки, а мои собственные кости.

Наутро мать рассказала, как на рассвете подобрала меня у насыпи. Всю ночь меня искала, металась по городку, пока какое-то шестое чувство не подсказало ей, что искать надо на шпалах.

Мать говорила, что в беспомощности я плакал, просил у нее прощения и клялся, что ни за какие миллионы не попрусь больше в кедрч. Утром я ничего подобного уже не помнил. Придя в себя, деловито осведомился, сколько осталось не-

попорченных шишек. Велел их сварить и, корчась от головной боли, крепко себя выругал за то, что по дурости не спас мешок — чего стоило выхватить его перед паровозом и скатиться с насыпи вместе с ним.

Дня через три голова зажила, и через месяц я снова отправился в кедрч. Теперь был умнее: во-первых, захватил с собой больше провизии, тайком от матери откладывал после каждой еды хлеб и накопил так

граммов триста-четыреста, а во-вторых, еще по дороге выбрал себе подходящего напарника, так что набили мы на двоих шишек триста-четыреста одна другой крупнее.

В огромном чане для белья мать эти шишки сварила, и, отправившись в воскресенье утром на толкучку, я к полудню уже наторговал на тысячу рублей. Тысяча эта у меня была строго распланирована — на пятьсот я намеревался купить меду, на триста — картофеля, двести — оставить на карманные расходы, но судьба и на этот раз распорядилась по-своему. Сколько раз я видел на рынке ловко орудующих карточных шулеров и всегда обходил их стороной. А в это воскресенье то ли сбил с панталыку полный карман кредиток или просто заело любопытство узнать, как плывут к людям шальные деньги, — в общем, подошел к одной из картежных компаний.

В центре кружка лихо орудовал банкомет, готовый с любым и каждым сыграть в "три листика". Покажет с ладони "три листика", то есть короля и даму с валетом, метнет их картинками книзу — и, кажется, яснее ясного, где какая из карт...

Позади меня стояли трое, и каждому выпадало счастье. Но банкомет и не думал унывать, проигрыши будто вселяли в него азарт:

— А ну, молодой человек, попробуем! — весело подмигнул он мне. — Полсотни — не деньги, а подсекешь вальта — тысячу возьмешь.

Вот тут и вмешалась судьба-злодейка, находившаяся со мной в вечном разладе. Вначале, поставив полсотни, я вместо валета вытянул даму. Банкомет сделал вид, что хочет с выигрышем уйти, но стоявшая позади троица "счастличиков" непустила его. "Отыграться! Отыграться!" — сочувствуя мне, шумели они. Я сделал еще одну ставку и снова ошибся. Затем поставил еще пятьдесят рублей и еще. За каких-нибудь четверть часа спустил все богатство, доставшееся мне таким потом и кровью.

45

Я шел домой и едва не плакал, но мать так ничего и не узнала о случившемся — было ужасно стыдно, и я сказал, что деньги просто украли. А про себя решил, что всем смертям назло пойду в кедрач в третий раз и заработаю эту проклятую тысячу. Но в третий поход так и не собрался. До городка дошли слухи, что лесничество усилило наряды объездчиков и что в Ивановском кедраче, куда мы приладились ходить, насмерть забили двух браконьеров. По этому поводу решили временно переждать, а там подошла школа, и кедровая эпопея отошла, так и не принеся мне за мои каторжные труды ни рубля дохода.

## МОЙ ДВОЙНИК КИРИЛЛ ПАТРИКЕЕВ

Однако вернусь к недописанному рассказу, где действует мой тринадцатилетний сверстник Кирилл Патрикеев, как и я, обласканный довоенной московской жизнью и волей судьбы оказавшийся в эвакуации в Сибири.

В непривычной среде, в нищете и голоде он решается на отчаянное предприятие — идти вместе с местными браконьерами в кедрач и, продав на базаре шишки, отдать деньги матери. Словом, все как у меня — и такой же страх, когда он подбирался к макушке кедра, и ватные, ослабевшие ноги, и даже ночной поезд, раздавивший на шпалах мешок — последняя деталь этой пережитой мной когда-то истории.

Я брался за рассказ не однажды, но всякий раз мой Кирилл, идущий на отчаянный шаг, чтобы помочь матери, на бумаге почему-то получался не таким, каким хотелось его видеть. Было в нем что-то неестественное и даже сусальное, будто звучала в повествовании неуловимо фальшивая нота, от которой никак не удавалось избавиться.

Теперь, когда перебираю в памяти события тех лет, начинаю понимать, что фальшь была заложена в самой внутренней мотивировке рассказа, где произошла неправомерная подмена персонажей.

Тринадцатилетний Кирилл Патрикеев и тринадцатилетний я — совсем не одно и то же. Трезво размышляя, я далеко не уверен, что если бы и существовал в действительности такой слабосильный, неприспособленный к жизни Кирилл Патрикеев, единственный и избалованный ребенок своих родителей, то он вряд ли вот так, без всяких колебаний решил бы идти в кедрач, рискуя сломать голову.

46

И дело тут не в том, что один оказался более храбрым или более отчаянным, чем другой, а в том единственном, проливающим свет факте, что один был еврей, тогда как другой им не был. Именно мое еврейство делало меня таким, каким себя помню в Томске. В ответ на национальные унижения рождалась защитная реакция. Если вокруг я только и слышал, что все евреи — трусы, слобосильные, не только воевать, но и драться путем не умеют, то чем же я мог доказать обратное? Доказать раньше всего самому себе. Вот и заимел в кармане нож. И дошел до такой дерзости, что под носом у заводской охраны проник на дровяной склад. И кедрач был из той же области... — по-своему, по-детски, я утверждал себя и свое

национальное достоинство.

То, что в школе меня превратили в немца, делало мою реакцию лишь более острой.

С детства я жаждал быть похожим на миллионы моих русских сверстников. Так же, как они, бегать на лыжах и, как они, не картавить, а по-русски твердо выговаривать букву "р". Теперь все чаще думаю, что подсознательно жила во мне жажда иного рода. Сам того не подозревая, хотел я стать не просто похожим на других, а сильнее, мужественнее, умнее, чем другие.

Я всегда с презрением относился к первым ученикам с их идеально-белыми воротничками на халатах и идеально-чистыми промокашками в тетрадках. Может быть, оттого, что у меня самого тетрадки вечно были усажены кляксами, а может, просто в силу своей несобранной и неорганизованной натуры, я недолюбливал этих чистюль. Но в Томске, среди дыкиных и шлыковых, едва перебивающихся с двойки на тройки, стал вдруг лезть из шкуры вон, чтобы появилась моя фамилия на доске "Лучшие из лучших".

Конечно, они могли называть меня жидом и превратить себе на потеху в немца, но, когда в класс входил наш учитель физики Багай и начинал у одного за другим спрашивать второй закон Ньютона, наступал мой час. Посрамленные за свое невежество, они обычно хватали колы и с завистью глазели на меня, когда Багай, переспросив всех, ударял огромной ладонью по столу и восклицал: "А ну, Перельман?" И, услышав именно тот ответ, которого ждал, ставил мне пятерку.

В декабре сорок третьего года одним из первых в школе я вступил в комсомол. Наша комсомольская организация насчи-

47

тывала всего четыре человека. Были в ней кроме меня Олег Левин, сын того Левина, которого на моих глазах шпарили кипятком Астахов и компания, Борис Татарка, маленький, большеголовый пузан, тоже с "Шарика", прочно завоевавший звание первого ученика в классе, и наша старшая пионервожатая, она же учительница истории, Антонина Ивановна Товстоног. В Антонину Ивановну — ей было всего двадцать два года и в школе ее звали просто Тоней — я был тайно влюблен. Мне казалось, что и она, всегда улыбающаяся мне своими голубыми глазами, отвечала взаимностью. И это тоже вселяло в меня гордость. Ведь не полюбила же она однорукого военрука Терещенко, хотя он на каждом шагу оказывал ей знаки внимания, а полюбила меня, черного, сутулого и вечно



взъерошенного, как вороненок.

Разумеется, я не мог пойти с Тоней в кино, как Терещенко, но я был на седьмом небе, когда она выдвинула меня в секретари комсомольской организации. В школе, где кроме Левина я был единственный еврей, мне доверили стать комсомольским вожаком.

С первых же дней я развил бурную деятельность, создал художественную агитбригаду в составе Тони, меня и Левина. В зимние каникулы бригада выехала на станцию Тайга, чтобы выступить в одном из самых крупных в Сибири госпиталей. Левин читал какой-то смешной рассказ Зоценко, а я — стихотворение Симонова "Убей его". Я вышел на сцену необыкновенно гордый своей миссией комсорга и руководителя агитбригады. Мой голос звенел на весь зал: "Если дорог тебе твой дом, где ты русским выкормлен был, под бревенчатым потолком, где ты, в люльке качаясь, плыл..."

Не знаю, как это выглядело со стороны, но в жизни я еще не испытывал такого волнения, как в тот вечер. Дали бы в руки винтовку и, не раздумывая, сам бы прямо с этой сцены пошел на фронт убивать немцев.

Я снова утверждал себя, но уже не так, как там, в кедраче, рядом с Резниковым и его заводскими друзьями. Я утверждал себя как личность, на которую Родина в свой трудный час возложила очень ответственное дело — выступать перед ранеными в госпитале.

Каково же было мое огорчение, когда в прочитанном со сцены списке участников концерта, награжденных почетной грамотой, где был даже Левин с его зоценковской юморес-

48

кой, я не услышал своей фамилии. Почему обо мне забыли? Кто-то из организаторов концерта сказал Тоне, что я уж очень пыжился и перестарался.

Вполне вероятно, что со стороны картина и впрямь выглядела нелепой. Стоит на подмостках нескладный со встрепанными волосами юнец и, грозно насупивши брови, призывает раненых нещадно убивать немцев. А возможно, с точки зрения организаторов вечера, этот сутулый, чернявый отрок не так хорошо прочитал. Ну а то, что творилось у него на душе, когда звал он убивать врага, — это вряд ли кого могло занимать. Шел сорок четвертый год, и в этом госпитале на станции Тайга, куда везли и везли раненых, были дела поважнее.

Позже, за давностью лет, история эта вообще стала забываться. Мало

ли было случаев, когда я не находил своей фамилии в списках, где по всем правилам справедливости ей полагалось быть?

## ВЕСНА В БЫКОВЕ

Летом 1944 года мы с матерью вернулись в Москву, и я снова стал ходить в 170-ю школу в Петровском переулке. В мае сорок пятого кончилась война, а в июле мне исполнилось шестнадцать лет.

Время писать о прекраснейшей поре жизни, но вот вопрос: какими на нее глядеть глазами? Какими словами говорить о жизни, в которую некогда был влюблен со всей пылкостью души и на которой сегодня, как это ни странно, вынужден поставить крест.

Павлов подразделял людей на "мыслителей" и "художников". Мне кажется, моя собственная личность — лучшее доказательство условности этого деления. Было время, когда я мог жить мечтой, и душа, как у юного Жана Кристофа, способна была ослепить разум. Но шли годы, и под натиском другой уже жизни, той самой, о которой пишу эту книгу, художник стал сдавать позиции безжалостному рационалисту. Бессмыслен вопрос, кому отдать предпочтение. Не научившись мечтать, человек не способен научиться думать.

Будучи уже старым и тяжело больным человеком, отец продал нашу быковскую дачу. Перешла она к ловкому и небезденежному хозяйственнику, который по-своему распорядился домом и нашим чудесным запущенным участком. Ситуация почти та же, что и в чеховском "Вишневом саде", да только я,

49

в отличие от чеховских героев, не испытывал ни малейшей грусти, расставаясь с Быковым. Слишком много изменилось с того первого послевоенного лета сорок пятого года, когда, вернувшись из эвакуации, я снова очутился на своей даче.

Что именно изменилось, вот так просто и не скажешь. Был я в гостях у давних быковских приятелей, шел по голым, облысевшим просекам, где не осталось и кустика малины — одни сорняки да плевел вдоль дорожных обочин. Без конца меня обгоняли машины, обдавая клубами пыли. За оградами гремели транзисторы, и от царящей вокруг суеты веяло не чарующими прелестями Подмосковья, а лишь усталой пресыщенностью. И было бесконечно грустно оттого, что никогда уже в мою жизнь не вернется то первое послевоенное лето. Нынче плевел да пресыщенность, а

тогда хлебные карточки и голод. Голод не только по хлебу — по жизни, которая столь надолго была прервана войной.

Первый, кого я увидел, был довоенный мой приятель Борька Бурмистров. Мыкался он, как и я, с матерью в эвакуации — точно не помню где: то ли на Урале, то ли в Ташкенте — и, как и я, по-видимому, почувствовал — все мы тогда почувствовали! — что жизнь не такая уж плохая штука. Кроме голода, ненависти и грязи было в ней кое-что, ради чего стоило жить.

Мне казалось, что даже природа в ту весну просыпалась с каким-то особенным благоуханием, как и полагалось ей проснуться после долгой и тягостной спячки войны. Мы мчались на велосипедах по просекам и невольно прислушивались к редким голосам, доносившимся из-за оград. Однажды на углу Вялковской и Комсомольской услышали патефон. Звуки доносились из маленькой шестигранной беседки, обвитой зеленым плющом. Мы поставили у забора велосипеды. Бурмистров улыбнулся и выразительно вскинул вверх указательный палец: мол, что бы это могло значить. Мы припали лбами к штакетнику и, набравшись храбрости, отворили калитку.

Через минуту очутились в беседке. Под ритмы модной в то лето песенки английского солдата "Прощай, и друга не забудь»..." две девочки в туфельках на высоких каблуках танцевали фокстрот. Мне казалось, что до войны я видел их и даже играли мы на Вялковской улице в штандр. Затем появились их подружки. Одну я знал наверняка и даже помнил имя — Рита. У нее были крупные губы и дивные бархатные глаза. "Еврейка" — подумал я про себя. Девочки стали учить нас с

50

Бурмистровым танцевать. Рита, нежно взяв меня за руки, вела за собой, а я, напыжившись, точно выполнял титаническую работу, бездарно шаркал по дощатому полу башмаками и улыбался все той же счастливой улыбкой.

В то лето знакомились молниеносно. Даже в воздухе было нечто такое, что как магнитом притягивало нас друг к другу, мальчиков и девочек, повзрослевших за годы войны. Танцуя мы стеснялись приблизиться друг к другу, в чем-то мы были страшно несовременны, но в чем-то отчаянно смелы. Правда, за эту смелость иным пришлось дорого поплатиться, но это произошло позже, когда среди первых послевоенных всходов появились полынь да плевел.

Сейчас уже не припомнить, как я попал на дачу Крыловых, очутившись в компании двух очаровательных сестричек Эли и Нели, с

которыми стал приятелем на многие годы. И сейчас перед глазами их уютная зеленая дачка с застекленной верандой, с гостеприимной и всегда улыбающейся нам мамой и двумя синеглазыми девочками-близнецами, настолько одинаковыми, что я долго не мог научиться их различать, которая из них Неля, а которая Эля. Обе излучали нежность и обаяние, у обеих были пышные золотые волосы и даже грассировали одинаково — не то чтобы не выговаривали букву "р", а произносили ее мягко, с какой-то особой нежностью.

Я пишу о них столь восторженно, ничуть не боясь отступить от правды. Хочу представить их такими, какими видел, передать ту обстановку немого обожания, которая царила в те летние вечера на участке Крыловых. И тех, кто сюда приходил, я тоже великолепно помню — и по именам, и по фамилиям. Настолько сильным было потрясение, связанное с этой дачей, что ничего невозможно упустить.

Эля и Неля — наши обожаемые лауры — с газовыми шальками на плечах сидели в старинных плетеных качалках (даже качалки, казалось, из сказок), а у их ног расположились их верные рыцари Жарков и Сендах и читали стихи.

Трудно было представить более разных людей. Жарков — большеголовый, светлолицый русак, настолько живой и веселый, что пребывать в спокойствии для него вообще было невозможно. Его дамой сердца была Неля. Он сидел обычно у ее ног, обняв собственные колени, и, раскачивая старинную качалку, читал Маяковского и Асеева. Иногда вдруг запевал какие-то невероятные частушки. И без конца смеялся, вскинув вверх голову. Смех у Жаркова был неподражаемый. Он

51

взрывался, падая на спину, и, раскачиваясь, как ванька-встанька, хохотал весь — грудью, животом и даже подскакивающими вверх ногами.

Сендах, кажется, вообще не умел смеяться. У него были вьющиеся волосы и большие, с мрачным блеском глаза. Он читал лежа на спине, подложив под голову тонкие длинные руки и уставившись в вечернее быковское небо. Читал он свои стихи, Пастернака, Ахматову...

Я помню его горящие, устремленные к небу глаза, его мрачный торжественный голос: "Все расхищено, предано, продано, все голодной тоской изголодано..."

Дамой его сердца тоже была Неля. Когда он заканчивал чтение, она восторженно хлопала в ладоши, а он приподнимался и целовал ей руку. Мне казалось, что Сендах недолюбливает Жаркова, а Неля любила их

обоих, правда, за разное. Она говорила:

— Жаркова люблю за смех, а Сендаха — за стихи.

Был еще в этой компании Алик Генкин. Как и я, он был представителем младшего поколения салона. И, наверное, поэтому мы не подпускались к качалкам королев. Мы сидели обычно в стороне и слушали, о чем вещали рыцари. Впрочем, Генкину иногда все-таки предоставлялось слово. Генкин был прирожденный математик. Когда он говорил, то глубокомысленно прикладывал палец к виску и непрерывно ссылаясь на Декарта и Эйнштейна.

Речь его была обычно очень заумна, особенно когда он обрушивался в своих гневных филиппиках против рифм и размеров, утверждая, что ямб и хорей с точки зрения математической логики — нонсенс, и он не желает тратить время на доказательство этого очевидного положения и вообще завтрашний день принадлежит математикам, способным оперировать не побрякушками слов, а возведенными в абсолют абстракциями.

Предметом поклонения Генкина была Эля. Во время его "откровений" она непонимающе хлопала глазами. Зато Сендах, не отрывая от земли головы, без тени улыбки на лице говорил:

— Так их, Генкин, чистоплюев, так их!

Неля, напротив, вдруг начинала защищать Генкина. Она говорила, что его точка зрения тоже имеет право на жизнь. Но всех прерывал Жарков. Своим тонким тенорком он вдруг за-

52

певал: "Кабы были все, как вы, ротозеи, чтоб осталось от Москвы, от Расеи..."

Иногда к Крыловым заходил друг Генкина Летинский — коротко остриженный великан с большим лбом и большими навывкате глазами. Летинский учился в студии Еврейского театра и где-то еще подрабатывал. Позже, когда студию закрыли, целыми днями без копейки в кармане пропадал у Генкина на даче. В гостях у Крыловых почти всегда молчал, но однажды под общим нажимом прочел что-то Шолом-Алейхема и с тех пор уже довольно часто выступал со своим репертуаром.

В этой компании я был моложе всех, и по обыкновению, помалкивал. Я просто-напросто терялся в таком окружении и, хотя мне было страшно досадно, что рядом с этими прекрасными людьми выгляжу таким темным и неотесанным, меня охватывало в те летние вечера чувство безотчетной радости.

Конечно, в жизни мне не очень повезло — за мое еврейство меня



унижали, пинали из стороны в сторону, едва не превратили в нациста, но теперь этому, слава Богу, конец.

Я лежал, растянувшись на траве, и слушал Сендаха. Где-то на заборе мяукал крыловский котенок. На небе горела Большая Медведица. И мне казалось, что я открываю для себя новую жизнь, рядом с которой ничтожным и диким было все, чем я жил в Томске. Это ничтожное и дикое никогда не вернется снова, и в моей будущей жизни, прекрасной и светлой, как эта ночь, не будет бомбежек, не будет ненависти и унижений, не будет русских и жидов, а будет такая любовь между всеми, как царила между людьми на даче сестричек Крыловых.

Мог ли я предвидеть, что, спустя несколько лет, именно на этой поэтической даче, именно в этой прекрасной компании разорвется такой силы бомба, которая заставит меня иными глазами взглянуть на многое, о чем я думал в эти летние вечера.

Но повторяю, это произойдет позже, когда в России уже не будет таких весен, какую пережил я в мае 45 года, и сама Россия не будет уже такой гордой и счастливой, какой вышла из войны, да и наше выросшее из войны поколение, последнее поколение романтиков, кое в чем уже утратит невинность мнения.

53

## **НАШ НЕЗАБВЕННЫЙ ОРС**

Возраст измеряется годами. Зрелость — пережитыми событиями, но в общем все зависит от человека. Сколько выпало на долю сталинских узников, но среди реабилитированных я встречал глубоких стариков с инфантильным сознанием шестнадцатилетних. Возвращаясь после долгих лет каторги, они писали в газеты благодарные письма за то, что им была предоставлена возможность прожить такую прекрасную жизнь. В газетах их называли вечно молодыми борцами за коммунизм.

Мне не пришлось изведать тюрьмы, но в 1947 году я уже во многом был не тот, что в 45-м, а в 52-м — не тот, что в 47-м. В жизни у меня была лакмусовая бумажка, помогавшая мне лучше узнавать себя и других. Таким индикатором становились мои старые знакомые — одни и те же люди, но встреченные в разные годы жизни. Я стоял со своим бывшим однокашником или сослуживцем на улице, и, глядя на его изменившееся лицо, задавал себе тривиальнейший вопрос: а насколько изменился и постарел я сам? Но в нарушение всякой логики получал ответ из совершенно другой области, каким он и я были в юности.

Кто знает, возможно, во время таких встреч как раз и замыкались в моих полушариях клеммы между первой и второй сигнальными системами и "мыслитель" своим рациональным умом переоценивал ценности, добытые эмоциями "художника".

Кручу ленту памяти и сетую, что временами стопорится она. Мелькают одни и те же лица и события. Но нет, просто мозг, как опытный рентгенолог, делает на ленте не один, а два, три и более снимков, чтобы, совместив их, помочь мне лучше понять прошлое.

Однажды шли мы с приятелем мимо здания Министерства иностранных дел, и в ту минуту, когда поравнялись с главным подъездом, возле него остановилась черная "Волга". Из нее не спеша вышел высокий, хорошо сложенный человек в дипломатической форме (годы едва тронули его атлетическую фигуру). Я узнал своего однокашника по 170-й школе Игоря Паленыха. Кивнул ему, но он, погруженный в дела службы, не заметил меня, всвязи с чем приятель не упустил случая сострить: "Имеет инструкцию с иностранцами не здороваться".

54

Я уже не первый раз встречаю Паленыха. Жизнь словно специально подчеркивает, как разошлись наши пути-дороги после окончания школы. Последний раз мы, правда, виделись давно, в году 52-м или 53-м. В то время я уже окончил институт, но, не получив работы, с невероятным трудом устроился бухгалтером-ревизором в областном управлении полиграфии.

В мои обязанности входило ездить по области и проверять, не допускают ли районные газеты отклонений в расходовании средств, отпускаемых областью. Так вот, вернувшись однажды чертовски усталым из района, я встретил Паленыха у ворот Сандуновских бань. Он выходил из бань высшего разряда и страшно обрадовался, увидев меня:

— Откуда, старина, да еще в таком затрапезном виде?

— Из Уваровки, — ответил я, — не приходилось бывать?

— Честно, не приходилось, — добродушно улыбался Паленых. — Я, между прочим, тоже только с дороги. Два месяца торчал в Лиссабоне, надоело зверски. Пойду-ка, думаю, в русскую баньку, попарюсь с веничком.

Он говорил обычные вещи, был очень доброжелателен, но я почувствовал, какая между нами пропасть. И оттого что это был наш Игорь Паленых, почти член нашего ОРСа, — пропасть казалась еще больше.

Мы условились встретиться всем ОРСом в ближайшие дни, но, когда через неделю я позвонил Паленыху, приятный женский голос сообщил, что Игорь утром улетел в Рим. Встреча с Паленыхом все же свою роль сыграла. В тот же день я обзвонил членов ОРСа, и в воскресенье вчетвером — я, Натансон, Леви и Мара — сидели в кафе "Националь" и, вспоминая минувшее, мечтали о будущем. Все они тогда были выпускниками МВТУ и со дня на день ждали распределения.

Кажется, мы тогда поклялись видеться чаще, единодушно признав, что это чистой воды свинство — жить по соседству и годами не встречаться. Но клятвы так и остались клятвами, а жизнь разметала всех в разные стороны. И вот теперь, когда я увидел у входа в Министерство иностранных дел Паленыха, то решил снова, как 20 лет назад, обзвонить членов ОРСа. Все оказались в Москве, живы-здоровы, но услышал я в трубке голоса усталых, обремененных жизнью людей: да, хорошо бы, конечно, свидеться, но когда? У Мары второй месяц хворает жена. Леви на днях должен отправлять ребенка в лагерь. Бездетный Натансон — единственный, с кем время от времени я

55

встречался, — и тот слег с холециститом и собирался в Ессентуки.

Я положил трубку и вспомнил почему-то прогнозы нашей литераторши Лидии Герасимовны на выпускном школьном вечере. Она подняла тост за будущее ОРСа\*, впервые назвав нас нашей классной кличкой. Она предрекала нам блистательное будущее. У нее была мания — всегда говорить полунамеками, и оттого, что она несчетное число раз вспоминала Эйнштейна и Нильса Бора, нетрудно было догадаться, каким станет наше завтра. Да и мы сами верили в наше завтра. И уж, конечно, не думали, что наступит время, когда не то что места под солнцем — не найдем даже вечера, чтобы собраться и выпить по рюмке коньяку.

Итак, нас было четверо. Марк Шамран, которого с легкой руки Натансона звали просто Марой. Лева Эткин, которого неизвестно почему с первого же дня звали Леви. Затем были Натансон и я, которых никак не звали. И был еще спортивный, с отличной осанкой и множеством красных угрей на лице Паленых.

Папа Паленыха занимал пост заместителя председателя Моссовета, а сам он явно симпатизировал нашей компании. Его можно было бы даже назвать нашим попутчиком, если бы нас связывала хоть какая-то программа. Но никакой программы не было, а была лишь сразу приставшая к нам классная кличка ОРС.

Эту кличку мы придумали себе сами. Кто-то, кажется. Мара, во время сбора металлолома или другого мероприятия, какие в то время устраивали постоянно, умудрился от этого мероприятия увильнуть и при этом победно воскликнул:

— Я в ОРСе, а вы!

Так пошло с того дня по классу: "Я — в ОРСе, а вы!" Странно, что от подобной нелепицы мог приклеиться к нам этот "ОРС" на многие годы.

Правда, тот же Мара, когда мы сидели в "Национале", пытался подвести под нее идеологическую основу. Изрядно выпив, он вдруг вздумал устроить анкетный опрос присутствующих: "Ваше как фамилие? Перельман, а ваше — Натансон, а ваше — Леви, если не ошибаюсь, Эткин. А я, если позволите, Шамран. Вот и получается, что мы все в ОРСе. Паленых в Риме, а инженера Шамрана в Челябинскую область посылают..."

---

\* В голодные годы войны ОРС (т.е. отдел рабочего снабжения) считался на любом предприятии самым теплым и сытным местом.

56

Экстраполяция была явно неправомерной — событиями 53 года неверно было объяснять происходившее в 45-м.

Когда в сентябре 44 года я очутился в восьмом классе "Б" 170-й школы, то на время вообще забыл, что я еврей, а если вспоминал, то, скорее, с затаенной гордостью. К ОРСу в классе относились в высшей степени уважительно. Если он что-то решал, то это же решали все, если он создавал о ком-то мнение, то оно становилось мнением всех. Это было негласное и добровольно признаваемое лидерство, которое могло по десять раз на день вышучиваться, но даже в самых едких шутках по поводу непревзойденного умения ОРСа всегда устроиться не было и грана антисемитизма. Все это Натансон и пытался втолковать пьяному Маре, но тот упорно гнул свое:

— Ваше имя и отчество как — Виктор Иванович Натансон? Вы, кажется, русский? И вы, Лев Борисович, русский, у вас мама русская — и вообще все мы очень разные люди...

Произнося эту речь за ресторанным столиком, Шамран, разумеется, не мог предполагать, что буквально через несколько дней "русский" Натансон и "русский" Эткин получат такое назначение, после которого, вероятно, уже до конца жизни не смогут подняться на ноги. Но в одном Мара был безусловно прав — мы были, действительно, очень разные

люди.

Витя Натансон за полгода до прихода в 170-ю школу вернулся из Соединенных Штатов Америки, где его мама работала в советском павильоне на Международной выставке в Нью-Йорке. Среди нас он был воплощением деловитости. О чем бы ни заходила речь, пропускал сквозь призму здравого смысла, играл в теннис и говорил сухим надтреснутым голосом. В биографии его было одно белое пятно. Натансон была фамилия его матери, и, когда его спрашивали об отце, он обычно сердито отрезал:

— Отца нет и прошу вопросы на эту тему не задавать.

Леви был педант, математик и редкий аккуратист. Василий Васильевич (он же "Васька"), наш математик, называл его Левушка и прочил ему будущее Ландау.

Шамран был завзятый театрал, лучше всех танцевал. Единственный из класса дружил с девушкой по имени Юля из соседней 635-й школы. Шамран обожал своего престарелого папу-корректора и вообще был не в меру сентиментален, за что его сосед по парте Натансон и заклеил не вполне мужским именем Мара.

57

Все это, однако, не мешало ОРСу дружить и в полном составе ходить на занятия кружка бальных танцев. Танцевали па-де-патинер, па-де-грас, тарантеллу, мазурку, а в конце занятий, как бы на десерт, — фокстрот и танго. Вел кружок шестидесятилетний и прямой, как струнка, балетмейстер Шиттик, который добился разрешения девочкам и мальчикам заниматься вместе, что сообщало занятиям определенный ритуал и очарование.

Начинались они обычно в восемь, но ОРС встречался в половине восьмого. За мной заходил Натансон, живший в Козицком переулке. Одет он был в отличный английский костюм. И не успевали мы выйти из дому, как он извлекал из кармана брюк пачку "Северной Пальмиры". За ней он еще днем специально заходил на Центральный рынок ( в киосках такие папиросы достать было невозможно). И, почувствовав себя уже настоящими мужчинами, мы закуривали.

Леви и Мара обычно ждали нас на углу Петровского переуллка. Леви — в шляпе, Мара — вообще с непокрытой головой, откинув назад свои пышные волнистые волосы, и оба в предвкушении приятного вечера с красивыми и таинственными девочками из 635-й школы.

Натансон танцевал с серьезнейшим выражением лица, боком и слегка приподняв одно плечо — словно линкор, рассекающий волны. Мара был



король танца. Он шел легко, чуть откинув свою пышноволосяную голову, и, встречаясь с Натансоном, не упускал случая сострить:

— Витя, пифагоровы штаны на все стороны равны.

Все это происходило при дамах, и Натансон бросал на Шамрана зверский взгляд:

— Цыд, Мара!

Шиттик кричал:

— Стоп! — и сердито хлопал в ладоши. — Друзья, что за переговоры в танце! Танцы — это занятие королей, а не петухов...

И снова хлопок:

— Раз, два, три, раз, два, три...

И занятия продолжались. И мы, важные, как тамбовские гусаки, шествовали за Шиттиком по залу, держа своих дам за кончики пальцев, и в гусарских ритмах мазурки весело прыгали на зеркальном школьном паркете и учились делать пабле-ансе, которые Шиттик называл альфой и омегой современного танца. О, это были незабываемые мгновения! О них можно вспоминать, но их не способен пережить вновь сорокатрехлетний человек.

58

Мы встречались взглядами с нашими, такими же, как мы, возбужденными королевами и открывали для себя новые стороны жизни, которых нас безжалостно лишила война.

Если нашим "официальным" попутчиком был Игорь Паленых, то была у нас и подпольная еврейская тень — троюродный брат Леви по папиной линии Зяма, известный в ОРСе по довольно странному прозвищу "Малый".

Паленых жил по соседству с Натансоном на улице Горького. Он боготворил Натансона, провожал его до дому после школы и, как оруженосец, ни на шаг не отходил от него на школьных вечерах. Паленых был хорошим общительным парнем, но, имея папу заместителя председателя Моссовета, он плохо вписывался в нашу орсовскую компанию.

С "Малым" нас свела его богатейшая коллекция пластинок Лещенко и Вертинского, неизвестно когда и где приобретенная его папой, коммерческим директором какой-то трикотажной артели. Сам "Малый" появился в ОРСе неожиданно, когда мы уже учились в девятом классе. Был он наших лет, но из-за войны отстал. Когда мы перешли в девятый, он все еще сидел в седьмом классе. Говорил он с сильным еврейским

акцентом, картавил, не выговаривая ни "р", ни "л", был некрасив, пучеглаз, с огромным, как паяльник, носом, за который его и окрестили "Малый с паяльником".

В ОРСе паяльник для удобства пользования решили опустить и звали его просто "Малый".

Была у "Малого" слабость — к месту и не к месту поднимать еврейский вопрос. Он никогда не упускал случая заявить, что он стопроцентный "ид" и их, то есть "гоим", презирает всей душой. В ОРСе еврейский вопрос не дебатировался. На Зямины разглагольствования смотрели как на местечковые штучки, и, если он позволял себе заходить слишком далеко, Натансон зло обрывал его: "Малый, заткнись, в морду получишь!"

Вообще жизнь ОРСа была полна парадоксов. В субботний или воскресный вечер странно было видеть Натансона расхаживающим по захлавленной Зяминой комнате в Столешниковом переулке и энергично насвистывающим в такт бешено играющей лещенковской пластинке: "Моя Марусечка, моя ты куколка, моя Марусечка, моя ты душечка..." Следом за Лещенко заводил свою пластинку "Малый".

— Такой певец и в Хумынии вынужден пхозябать. Очень он им нужен гоим, он нам, идн, нужен, это да!

59

Затем распахивалось настежь окно, чтобы концерт слышал весь Столешников.

— Ох, "Малый", не умрешь ты своей смертью, — первый не выдерживал Леви.

— Не умху? Это еще посмотрим, кто не умхет, а кто умхет. Что они мне сделают? Посадят? Хохошо, пусть сажают...

— Цыц, идиот! — рычал Натансон. — Дай послушать!

"Малый" смолкал, но вскоре начинал опять. Настоящий отпор его сионистским вылазкам был дан мамой Натансона, старой партийкой и ответственным работником СОВМИНа.

По какой-то причине музыкальный вечер устраивали на этот раз не у "Малого", а у Натансона, в Козицком. "Малый", как всегда, расфилософствовался, и до слуха Елизаветы Михайловны Натансон донеслись его откровения по еврейскому вопросу. Елизавета Михайловна уже давно не одобряла ни наших музыкальных пристрастий, ни дружбы ее сына с "Малым". И теперь, когда услышала из своей комнаты его рассуждения по еврейскому вопросу, чаша ее терпения переполнилась.

"Малого" она тогда напугала страшно. Я и сейчас не могу без улыбки вспомнить эту сцену. Стоит маленькая и пунцовая от возмущения мама Натансона и, размахивая указательным пальцем перед Зяминим паяльником, взывает к его гражданской совести:

— Как вам, Зяма, не стыдно? Что значит "мы" и "они". Я — сама еврейка по национальности, но горжусь, что выросла среди великого русского народа.

— Я тоже, между прочим, гохжусь, почему нет, — миролюбиво пожимал плечами "Малый", — но я же имею пхаво любить свой евхейский наход.

— Бросьте, — уже побагровев от гнева, продолжала мама Натансона. — Пока есть партия и советская власть, еврейский народ ни в чьей защите не нуждается, завтра же позвоню вашему отцу и выясню, откуда у вас эти настроения.

Прошло 27 лет, а кажется, что все это было в прошлом веке. Давно я потерял из виду "Малого", но, как ни странно, время от времени вижусь с мамой Вити Натансона. Когда я захожу к нему, то нет-нет да и переброшусь парой слов с семидесятипятилетней Елизаветой Михайловной. Она персональная пенсионерка, но, как пишут о таких в газетах, все еще сохраняет бодрость духа и живой интерес к жизни. Подле нее часто

60

можно увидеть плечистого седого бодрячка — это Иван Арсеньевич, отец Натансона, объявившийся на горизонте после двадцати лет заключения.

Амнистированный и восстановленный во всех правах, он не отказывает себе в удовольствии выпить чашку чая с предметом своей юношеской любви, а она — принять у себя дома человека, которого более тридцати лет не желала знать, и даже в знак этого нежелания новорожденного сына своего назвала не Виктор Иванович, а Виктор Елизаветич.

Меня Елизавета Михайловна всякий раз, когда встречает, забрасывает вопросами, что слышно на белом свете. Начинает обычно с главного:

— Ну, Виктор, как там дела с нашим братом? Прижимают? Не знаю, что бы сказал Владимир Ильич, если бы вышел из Мавзолея...

Признаться, я и сам не возьму в толк, что бы сказал Владимир Ильич, зато представляю, как бы торжествовал "Малый", если бы хоть краем уха услышал разговор мамы Натансона.

## ЗАВЕРЯЕМ ТОВАРИЩА СТАЛИНА...

Время — удивительнейшая штука. Старого, умудренного жизнью человека оно способно представить наивным и неумным простачком, а безусого, дурашливого юнца едва ли не мудрецом, глядящим сквозь десятилетия. Впрочем, возможно, дело и не во времени, а в нашей жизни. Она заставляет людей переживать такие метаморфозы, в которые они сами, отжив свой век, не в состоянии поверить.

Как далека была от меня философия "Малого"! Конечно, в детстве я изрядно настрадался от своего еврейства, но при чем же тут рассуждения о "гоим" и "идн" и почему я должен говорить, что я "ид", и ненавидеть русских, если вся моя жизнь связана с Россией?

Год назад кончилась война, в которой моя страна одержала величайшую победу. В памяти неувядаемо жил День Победы с ликующими людьми и тысячекратными салютами. Ну а то, что в этот день Сталин пил за великий русский народ, то, очевидно, так и нужно. Ведь это действительно великий народ. Русских в стране больше ста миллионов, а евреев сколько? Я не знал, сколько именно, но был уверен, что ничтожно мало. Постыдной и унижительной кажется мне сегодня эта филосо-

61

фия. Но я обязан ее излагать такой, какой она жила во мне тогда, в транскрипции 45 года, принесшего России не только сладость победы, но и горькие запахи шовинистического угара. Чем он обернется для евреев, я еще буду писать. Пока лишь хочу засвидетельствовать, что в те послевоенные годы, мы, то есть я, Натансон, Шамран, Леви, тысячи таких, как мы, верили в свое будущее и связывали свою веру с Россией.

В десятом классе я писал сочинение на вольную тему "Мой друг, отчизне посвятим..." Эту же тему избрал почти весь ОРС. Исключением был лишь педант Леви. Его характер, признающий лишь точные измерения, сказался и здесь. Он предпочел "Художественные особенности драматургии Горького".

Вскоре было объявлено, что лучшие сочинения в районе написал ОРС, а лучшее из лучших — наш орсовский романтик и донжуан Мара Шамран. Всего в нашем 10"Б" было 17 пятерок, и почти все за сочинения на вольную тему.

Наша преподавательница Лидия Герасимовна Бронштейн чувствовала себя именинницей.

Всего второй год, как в школах ввели экзамены на аттестат зрелости.

Лучшим вручали золотые и серебряные медали, дающие право поступать в институт без экзаменов, а на пути к медали, как неприступная скала, стояла пятерка по сочинению... И когда впервые в 8"Б" появилась похожая на вороненка взлохмаченная сухонькая личность с красными воспаленными глазами и объявила, что будет у нас вести русскую литературу, то наши крикливые "Моллюски", два классных недоростка Орлов и Матузович, не выдержали и квакнули в воздух: "Иди ты!"

Не знали "Моллюски", да и никто из нас не думал, что эта малорослая и похожая на непричесанного подростка Лидия Герасимовна станет властительницей наших дум, ибо от нее, от ее благословенной пятерки будут зависеть наши медали, открывающие дорогу в любой вуз. Нет, она была не Державиным, а, скорее, нашим Жозефом Фуше. Фуше в юбке, она поддерживала отношения едва ли не с каждым из преподавателей, корректируя при надобности их оценки и воздействуя на них в случае необходимости через директора школы Панаско. Она интриговала и вступала в беспринципные компромиссы с математиком Василием Васильевичем и историком Сергеем Михайловичем. Тайными нитями была связана с руководителями РОНО\*, от которых в канун экзаменов на аттестат зрело-

---

\* РОНО — районный отдел народного образования.

сти пыталась выудить — и выудила-таки! — хранившиеся в страшной тайне темы сочинений. Она была до ужаса косноязычна, но необыкновенно целеустремленна. В 10 классе без конца устраивала контрольные сочинения, не зная устали натаскивала нас, отдавая все свои симпатии ОРСу.

В класс Лидия Герасимовна входила молча, держа под мышкой стопку наших тетрадей и загадочно улыбаясь:

— Натансон, от вас я ждала большего. Всегда столько мыслей, а сегодня? Тему развить не сумели, просто странно... Вот Шамран, приятно читать. Молодец, Шамран, очень хорошо! Если бы Шамран на аттестат зрелости так написал...

— Так что же вы мне поставили, Лидия Герасимовна? — не выдерживал Мара.

— Что поставила? Четверку с минусом. И то, между нами говоря, завысила. Как вам нравится, он не знает, как слово "объездчик" пишется. Стыд! Позор!



Снова молчание, и снова загадочная улыбка.

— А у Эткина? У Эткина не скажу что. Написано грамотно, толково, план хороший. Эткиным, кстати, и Василий Васильевич доволен. Между нами говоря, директор мне вчера прямо сказал: Эткин с Натансоном на медали идут. А вы, Перельман, троечку по алгебре схватили, молодец, нечего сказать!

По-своему готовился к экзаменам на аттестат зрелости и наш Васька. Он был полной противоположностью Лидии Герасимовны. Длинный, тощий, прыгающий в свои семьдесят два года через три ступеньки. Он экспансивно влетал в класс и начинал:

— Ну-с, милорды, на чем мы остановились в прошлый раз?

В отличие от литераторши, у него все было окружено ореолом тайны, даже отметки он ставил не в журнал, а в свой собственный кондуит. Он носил его во внутреннем кармане пиджака и для большей конспирации обозначал отметки по-английски: five, four, three, two.

В ОРСе он более всех любил Леви, звал его Левушкой и каждый раз ставил ему "five".

Были среди милордов и такие, которые неизменно получали у Васьки колы. Лидировал среди них наш классный актер Серж Апостолов. Он был страшный позер, и когда Васька вызывал его к доске, то выходил он, откинув назад свою кудрявую лысеющую голову и кокетливо двигая узкими плечами. У доски, играя мелом, нес такую ахинею, что Васька доволь-

63

но скоро не выдерживал и, выхватив из кармана кондуит, восклицал: "О владыка живота моего, нельзя же быть такой бестолочью!"

С той же гордо поднятой головой Серж возвращался на место. На перемене он говорил, что математика — не его ампула, он создан для театра и искусства. Особенно не любил Апостолова историк Сергей Михайлович. Серж был не только позер и пустомеля, но и непревзойденный в классе лентяй. И старый прожженный циник Сергей Михайлович видел его насквозь. Вызывая Сержа к доске, он начинал не с урока, а с хронологии.

— Скажи мне. Апостолов, когда была Куликовская битва?

— По-моему, в 1483 году...

— "По-моему" не годится, история — точнее математики. Битва под Калкой?

— Точно не помню...

— Перечисли десять сталинских ударов.

— Сталин разработал...

— У товарища Сталина есть имя и отчество.

— Как правильно говорит Иосиф Виссарионович Сталин...

— Товарищ Сталин всегда правильно говорит и в твоих комплиментах не нуждается.

— Ну, тогда уж не знаю.

— Вот и я вижу, что не знаешь, садись, два!

Кроме Сержа, зубрили все. Когда начались экзамены, я, как и весь ОРС, перешел на осадное положение и по количеству кофе, выпитого в те дни, кажется, мог состязаться с Оноре де Бальзаком.

Помимо кофе употребляли еще феномин, чтобы после бессонных ночей сохранять ясность ума. Это было всеобщее, подогреваемое самой школой сумасшествие. Не спали не только ученики, но и педагоги. И без того щупленькая — одни кости да кожа — Лидия Герасимовна от треволнений превратилась в тень, но своего все же добила — семнадцать ее пятерок обернулись семнадцатью медалями. В числе медалистов был весь наш ОРС.

После экзаменов я свалился с острым сердечным приступом, но был счастлив сознанием, что отныне держу в своих руках звездный билет.

В последние годы мне почему-то дважды снилась наша школа и учителя — Лидия Герасимовна, Васька, давно уже

64

отошедшие в мир иной. Причем являлись они в самом неприглядном виде — беспринципными циниками, плутами, только и требующими свои фэйфы (почему-то все ставили отметки по-английски), но с юности не внушившими никому из нас ничего святого и прекрасного.

Однажды к нам в школу приехал сам Сталин. Обошел классы и в конце поднялся к нам в 10"Б". Прищурился взгляд, он спросил:

— А что, в этом классе евреи есть?

И директор, пожирая вождя восторженными глазами, доложил:

— Никак нет, Иосиф Виссарионович, ни одного.

Но в эту самую минуту Сталин вдруг увидел за партой Лидию Герасимовну и, поманив ее пальцем, сказал:

— Я знаю, что в этом классе еще много евреев, но они себя правильно ведут и поэтому отныне будут считаться русскими...

Сон, как и всякий сон, довольно глупый и причудливый, навел меня на мысль, которая, если и имеет, то очень косвенное отношение к моим

воспоминаниям.

В 47 году в стране уже процветал великодержавный шовинизм. Многоопытные отцы и матери, подобно маме Натансона, предусмотрительно записывали своих детей русскими, а в Петровском переулке, в центре Москвы, стояла школа, где явочным порядком отменили национальности — и едва ли не всей ее жизнью негласно правила бескорыстная фанатичка Бронштейн. Среди выпускников лидировала не юная поросль великого русского народа, а четверка еврейских ребят с вызывающими еврейскими фамилиями и к тому же присвоившая себе полуеврейскую кличку ОРС.

Лет пять спустя оказался я по случаю в Петровском переулке и решил заглянуть в родные пенаты. Хоть бы одно знакомое лицо — ни одного! В вестибюле висит доска с оттиснутыми на ней серебром фамилиями медалистов разных лет. Красуется на ней и ОРС в полном составе. Но чем дальше от 47 года, тем меньше еврейских фамилий, а в 52-м и вовсе одна только. Чудно это было видеть, как скудели на способных детей евреи, проживающие в районе Петровского переулка.

Я спросил дежурившую в раздевалке техничку про Лидию Герасимовну. Она долго мучилась, никак не могла вспомнить, пока ее вдруг не осенило:

— Постой, постой, эта такая евреечка настырная, все нечеса-  
65

ная ходила. Как же, уволили, их теперь всех увольняют, а эту и вовсе, стара стала.

На выпускном вечере Лидия Герасимовна произнесла прочувствованную речь — ту самую, в которой впервые назвала нас ОРСом и без конца вспоминала Эйнштейна и Бора. В заключение она сказала то, что обычно говорят в таких случаях, а именно, что с завтрашнего дня нас ждет другая, взрослая жизнь.

Она хотела добавить еще что-то, но потеряла нить и, достав из сумочки платок, вдруг стала тереть свои большие вороньи глаза. На том и кончила, не подозревая, насколько была точна, определив время, с которого взрослая жизнь взяла нас в оборот.

Наутро после выпускного вечера ОРС в полном составе вызвали в райком комсомола и сказали, что нам, как самым талантливым, поручается ответнейшее дело — подготовить обращение выпускников столицы к товарищу Сталину. Оно должно быть прочитано на общегородском собрании выпускников.

Нас инструктировала секретарь райкома, мощная полногрудая девица с хорошо поставленным звонким голосом. Она сказала:

— Письмо должно быть неподкупно искренним. Пишите о том, как хотите жить и кем себя видите в будущем. Вы кем хотите быть? — улыбнулась она Натансону.

— Ракетостроителем.

— А вы? — спросила она Леви.

— Тоже.

— А я, — не выдержал Мара, — тепловозником, в смысле конструктором тепловозов...

Текст мы подготовили за один вечер. Писали у меня. Не помню всего, что в нем было, но когда коснулись будущего, то именно так и написали, как советовала секретарь райкома: "Мы, завтрашние строители ракет и тепловозов, юристы и политические деятели", — добавил я. И за Сержа тоже написали: "...актеры и работники искусств", — добавил Мара. Все мы клялись великому вождю, что будем не покладая рук трудиться на благо Родины. Только в одном месте разгорелся спор. Я сказал, что надо коснуться дружбы народов и перечислить хотя бы основные национальности выпускников: русские, украинцы, белорусы, евреи, грузины, армяне, татары и т. д.

— Насчет евреев, контора — напрасный труд, — кисло протянул Натансон.

66

— Это почему же? — возмутился я.

— Почему? Потому что кончается на "у".

Но я все-таки настоял, чтобы евреев оставить, и, когда разошлись, еще два часа корпел над "Обращением". Дописал о партии, о нашей вере в комсомол и еще о чем-то в том же духе.

Текст в райком относил тоже я. И до последней минуты ждал оттуда звонка — ведь письмо кто-то должен читать. Шутка ли! — Сталин может услышать. И в зале Чайковского, где устраивали вечер, я первым делом разыскал нашего секретаря райкома и на всякий случай дважды попался ей на глаза. Она была страшно занята и на мое многозначительное "здравствуйте" едва кивнула головой.

Я понял, что в своих мечтаниях явно хватил лишку. Возможно, наше творение вообще выкинули в урну. Но когда открыли вечер, на сцену вышла пухленькая с косой девушка и слово в слово прочитала наш текст. Впрочем, нет, одно слово заменили: вместо "евреев" вставили "татар".

— Татари-монгольское иго! — дурашливо прыснул сидевший рядом Мара.

— Цыц! — гаркнул Натансон и в антракте, раскрыв передо мной "Северную Пальмиру", неизвестно к чему сказал: — А в остальном все точно, заявка ОРСа удовлетворена на сто процентов!

Вскоре выяснилось, что натансоновский оптимизм оказался преждевременным. Несмотря на золотые медали, ни его, ни Леви на факультет ракетостроения не приняли. Не помогло даже то, что оба числились по паспорту русскими. Ну, а дальше? А дальше "будущие ракетостроители" Натансон и Эткин окончили МВТУ, и направили их работать механиками. Одного — в Каширскую, другого — в царевкокшайскую МТС (название я так и не запомнил). Конструктор тепловозов Шамран трубил пять лет в Челябинске — не то технологом, не то цеховым мастером. Ну а я, будущий Плевако, волей судьбы зацепился на бухгалтерской ниве. Впрочем, так неаккуратно обошлись не со всеми заявками. Наш классный актер Серж Апостолов все-таки закончил с грехом пополам ГИТИС или ВГИК. Затем работал в ЦК профсоюза работников искусств. И еще где-то, и еще. И нигде, говорят, не справлялся. Но, несмотря на это, его нигде не снимали, а лишь передвигали с одной должности на другую. Пока он не оказался в Отделе культуры ЦК КПСС, где и по сей день довольно успешно ку-

67

рирует столичные театры. Говорят, не без его участия закрыли театр Эфроса и сняли с работы Любимова.

Поистине, вещими оказались слова Сержа, что он создан для театра и искусства. Но тогда, в зале Чайковского, никто не мог предвидеть такого развития событий.

После того как кончилась торжественная часть, оркестр грянул "Дунайские волны". А я все еще стоял расстроенный, что эта басовитая девица с косой так беспардонно отобрала у меня авторство на обращение к товарищу Сталину. Стоял, кажется, недолго. Подошла знакомая из 635 школы и потащила меня танцевать. Гремел оркестр, кружились в вальсе, и вскоре я забыл про свою неприятность. В конце концов, мне было только восемнадцать лет.

## БУДУЩИЙ ПЛЕВАКО

Всякий раз, когда меня постигает в жизни неудача, отец и мать не



упускают случая вспомнить сорок седьмой год, когда я поступил в Юридический институт. Шел бы в медицинский, с твоими способностями защитил бы диссертацию и плевал бы на все — любят евреев, не любят. Врач всегда врач.

Здорово рассуждая, старики, конечно, правы. Да только многое в моей жизни плохо согласовывалось со здравым смыслом, хотя за плечами уже сорок три года.

Почему я решил стать юристом? Потому что был уверен, что амплуа это мне подходит больше всего. При всей неубедительности такого ответа мне к нему нечего добавить. Для непрошенных критиков у меня был припасен целый набор аргументов, ну, например, что мне плохо дается математика и что порядочного инженера из меня все равно не получится, и что вообще самое интересное в жизни — работать с людьми, хотя, что это означает, я представлял довольно смутно.

Когда в ОРСе, где все, кроме меня, поступили в Бауманский и начинали надо мной иронизировать, я выпаливал обойму исторических примеров: юристами были Ллойд-Джордж, Клемансо, Черчилль, — разумеется, не отдавая себе отчета в том, что, будучи блестящими в споре, мои примеры в практической жизни ничего не значат. Да и думал ли я тогда о практической жизни? Мне было 18 лет, в классе говорили, что у меня отлично подвешен язык. И я решил сдать документы на юрфак Московского университета.

68

Если бы я обладал здравым смыслом, — все, что произошло дальше, должно было, по крайней мере, меня насторожить. А дальше случилось то, что на юрфак меня не приняли, как не прошедшего мандатную комиссию. Вскоре я узнал, что та же участь постигла многих медалистов, имеющих в анкете "пятый пункт", и для каждого был свой аргумент. Что касается меня, то я для Московского университета оказался недостаточно грамотным. На мандатной комиссии, которую возглавил сам декан факультета, мне сказали: "Как же так, товарищ Перельман, в столичный университет хотите, а русского языка не знаете".

Затем было вслух зачитано мое заявление, где, сообщая свой адрес — название улицы, номер дома и квартиры, — я по рассеянности не поставил между ними двух запятых. Потерпев фиаско на юрфаке МГУ, я вспомнил о другой своей тайной мечте — стать редактором и журналистом и пойти на редакционно-издательский факультет Московского полиграфического института. Там мандатную комиссию представлял в единственном числе

профессор Былинский, встретивший меня с такой веселой, солнечной улыбкой, будто только и ждал моего прихода. После чего мы с ним уединились, и с тем же сияющим выражением лица он продиктовал мне диктант. Как я узнал позже, он преподносился далеко не мне одному, и одна из фраз его еще долго как анекдот ходила по Москве: "На террасе, возле конопляника, тетушка Анфиса Петровна угощала винегретом вперемежку с кашей путевого объездчика Фаддея..."

Взяв у меня листок, Былинский толстым красным карандашом, который он почему-то держал в кулаке, молниеносно поправил ошибки и, весело блестя очками, вывел дробь: тринадцать седьмых — тринадцать орфографических и семь синтаксических. "Не прошли, мой дорогой, проходная цифра у нас восемь вторых..."

Вот так и оказался я в Московском юридическом институте или просто МЮИ, в котором, слава Богу, вообще не было мандатных комиссий. Где-то наверху было принято решение укрепить судебно-прокурорские органы кадрами с высшим образованием. В институт надо было срочно набрать 480 человек, а заявлений было только 320.

В те же дни я сдал документы на заочное отделение Полиграфического института и стал одновременно студентом двух вузов.

69

Я прекрасно помню первый день в МЮИ и первую лекцию в малом зале на третьем этаже по Всеобщей истории государства и права. Читал ее доцент Черниловский, очень молоденький, с нежным детским лицом, впоследствии прозванный нами Зинойкой. Черниловский был в черных роговых очках, с большими залысинами и такого маленького роста, что голова его едва выглядывала из-за кафедры. Он объявил тему лекции — государство и право Ассирии-Вавилонии и законы Хаммураби. И с первой же минуты обрушил на нас весь блеск своей эрудиции, явно стараясь произвести впечатление. Но я почти ничего не слышал. Микрофон не работал, в зале была страшная духота. Из буфета с первого этажа неслись всякие запахи. И, махнув рукой на законы Хаммураби, я принялся разглядывать окружение.

С самого начала, как переступил я порог института, он ошеломил меня. Оказавшись среди невообразимой суеты и гама, я вначале вообще не мог понять, куда идти. К доске объявлений невозможно было пробиться. По этажам и лестницам двигались потоки студентов. Все что-то обсуждали, о чем-то говорили, чего я в этом содоме даже не пытался уразуметь. Перед глазами мелькали стеклянные дощечки с таинственными

названиями кабинетов — уголовного процесса, криминалистики, международного права. Все поражало новизной, все бурлило. И теперь, оказавшись на первой лекции, я, сгорая от любопытства, разглядывал лица своих сокурсников и сокурсниц.

В зале было много фронтовиков, иные с только что отпоротыми лычками и при всех регалиях, много евреев, чему я тотчас дал объяснение: евреи, как умная нация, естественно, тяготеют к юстиции (позже выяснилось, что умная нация тут ни при чем, большинство, как и я, потерпело крушение в других вузах). Масса интересных женщин. Я почему-то так и произнес про себя — не "девушек", а "женщин", возможно, потому, что они ничуть не были похожи на девочек из 635 школы. Наконец, много просто необычных интересных лиц, во всяком случае, такими они мне казались.

Я разглядывал зал и сам ловил на себе взгляды. Все были заняты тем же, чем и я, и законы Хаммураби мало кого волновали. То было радостное, ни с чем не сравнимое предчувствие новой студенческой жизни. Я столько о ней слышал, и теперь наконец предстояло начать ее самому.

Лишь раз в жизни я ощущал нечто подобное. Было это в  
70

шестьдесят седьмом году, когда на плавбазе "Северодвинск" я уходил в Северную Атлантику. Как и тогда, в институте, на судне, стоявшем на рейде в Мурманске, собрались люди, совершенно не похожие и не знавшие друг друга. Были среди них врачи, журналисты, студенты. Ошеломленные грандиозностью судна и охваченные сладостным предвкушением жизни, ждущей их в океане, люди дни и ночи, пока не вышли в море, бродили по палубам и салонам с добрыми, бессмысленными лицами лунатиков. Все были какими-то просветленными, готовыми делать друг другу добро. В те дни мне даже казалось, что доброта — не свойство характера, а состояние души человека.

Я не намерен сравнивать свою институтскую жизнь с плаванием — общим были тут разве лишь слепота и прозрение. Оказавшись на Банке Джорджес и глядя на обитателей "Северодвинска" не глазами лунатика, а глазами трезво мыслящего человека, я увижу во многих то, что было скрыто на берегу. И в институте по прошествии времени также наступит похмелье.

Но в те первые дни я, как замороженный, ходил по этажам и жадно читал объявления, появляющиеся буквально каждый день — о заседаниях кафедр все с теми же таинственными и малопонятными мне названиями,

ученого совета, о бесчисленных конференциях и собраниях.

Лекции кончались рано. Стояло бабье лето. На дворе шпарило сентябрьское солнце. Но, почувствовав вожделенную свободу, о которой мечтал в школе, я после занятий совсем не ощущал желания идти домой и страшно завидовал старшекурсникам, которые могли жить столь бурной, наполненной жизнью, проходившей, как мне казалось, мимо меня.

К тому же я был уверен, что мне явно не повезло с группой, оказавшейся не такой, как другие. Там было много интересных женщин, много моих одногодок, и в первые же дни все успели перезнакомиться и даже на лекциях держались вместе.

У нас же в группе в большинстве были фронтовики. Все великовозрастные, почти все не москвичи, а женщин было только две — провинциальная крикуха Китя Клейдман, у которой подергивался от тика глаз и была странная привычка к месту и не к месту выдавать пушкинские цитаты из школьного учебника, и еще москвичка Борисова. Она всегда и всем улыбалась и ничем, кроме изящной фигурки и крошечного, как канцелярская кнопка, носика, не была примечательна.

71

Фронтовики держались особняком, на семинарах помалкивали, зато как по команде все являлись на лекции — даже к Софроненко, читавшей историю русского государства и права.

Читая лекции, Софроненко заикалась, окала и никогда не отрывала головы от конспектов. На ее лекциях зал был обычно пуст, но наши "лбы", как я их про себя называл, усаживались со своими тетрадочками на первом ряду и старались не пропустить ни единого слова. Выделялся среди них лишь Семен Каплан. Хотя он и прошел фронт, но был очень молод. И еще был необыкновенный говорун и спорщик. Когда выступал на семинарах, то так увлекался, что в конце концов забывал все, что доказывал вначале.

Вчерашних десятиклассников в группе было раз два и обчелся. Самым любопытным из них был бородач Кленов, сразу же завоевавший успех у женщин своими крупными восточными глазами и длинными немужскими ресницами. В перерывах Кленов важно разгуливал по коридору и курил трубку, явно подражая Шерлоку Холмсу. Благодаря крупному с горбинкой носу и большому лбу он и в самом деле имел что-то общее со знаменитым сыщиком.

Думал ли я, что этот манерный с длинными, как у девушки, ресницами Кленов станет моим лучшим другом и дружба эта сохранится на многие годы. Тогда я тоже расхаживал по коридору, с равнодушным видом

покуривая — в институте курили все, — и старался ничем не выдавать своей неудовлетворенности оттого, что не знал, как и куда применить свою энергию.

Раньше ее поглощала школа, точнее жажда получить медаль. Теперь эта энергия высвободилась. И единственно, куда я ее мог направить — так мне самому, по крайней мере, казалось, — были семинары по марксизму и политэкономии. Здесь каждый из нас мог демонстрировать блеск ораторского искусства, и я выступал не реже и с не меньшим темпераментом, чем Семен Каплан.

На семинарах мы изучали ранние работы Ленина, без конца говорили о борьбе с пережитками прошлого, о журналах "Звезда" и "Ленинград" и через каждые два слова ссылались на товарища Сталина. И я тоже ссылался, и, как это было принято, всякий раз добавлял "с присущей ему гениальностью", "со сталинской мудростью", и, так говоря, испытывал ощущение, будто сам отныне был причастен к мудрой сталинской политике. В такие минуты мне казалось, что я рожден быть политическим деятелем.

72

Но на первом же комсомольском собрании убедился, что не являюсь в этом смысле исключением. Оратором и политическим деятелем на курсе считал себя едва ли не каждый.

Четыре с половиной часа избирали бюро ВЛКСМ. В жизни я не видел такой активности. Кандидатов навывдвигали вдвое больше, чем требовалось. Каждого заставляли рассказывать биографию, к каждому лезли в душу — кто отец, кто мать, почему так поздно вступил в комсомол, почему до сих пор не вступил в партию. И в итоге половину всех выдвинутых забаллотировали.

Секретарем комсомольской организации избрали самого тихого и незаметного Эдика Боровского, его замом по воспитательной работе — Циперсон Зивочку. Казалось, если и был на курсе человек, не считавший себя ни политиком, ни оратором, так это был Боровский.

Сам он выступал редко, чаще присоединялся к точке зрения других и если брал слово, то обычно начинал так: "Ребята, хотел тут посоветоваться с вами по одному вопросу..."

На лице его всегда жило выражение неловкости оттого, что ему, столь незаметному, приходится руководить такими умными людьми, какие были на курсе.

Зивочка, напротив, казалось, была рождена предводительствовать. У



нее была очаровательная мордашка и низкий грудной голос. Когда она говорила, то так задорно вскидывала мордашку, что, казалось, вот-вот запоет. Она выступала почти на каждом собрании и начинала обычно так: "Товарищи, я, как молодая комсомолка, считаю..." Она всегда кого-то обвиняла в пассивности, говорила, что это просто нечестно и не по-комсомольски, когда каждый живет сам по себе, неизвестно, о чем думает и чем дышит.

Я еще не раз буду возвращаться к Зивочке и к Боровскому. Не только потому, что жизнь сталкивала меня с ними в самых разных ситуациях. Он и она, каждый по-своему, станут для меня фигурами символическими, помогут понять, что же произошло в жизни института за четыре года.

И еще одна личность врезалась в память с того первого комсомольского собрания. Это — Жарков, мой старый быковский знакомый. К своему величайшему удивлению, я вдруг увидел его в президиуме собрания как представителя комитета комсомола института. Я слышал, что он учится в МЮИ, но не ожидал встретить именно здесь.

73

Если в жизни возможно раздвоение личности, то оно произошло на моих глазах. Вместо бесшабашного дачного весельчака, который один на всем свете мог взрываться таким смехом, шумно катаясь по нескошенной траве на участке Крыловых, сейчас в президиуме сидел типичный комсомольский деятель с сонным, скучающим выражением лица. Он что-то записывал в блокнот и время от времени с той же скучной бесстрастностью на лице давал справки по процедурным вопросам. Они были настолько разными, что я даже подумал, который из них настоящий — тот, кто весело катался по траве, или этот, с сонным надменным выражением лица.

Из института мы вышли вместе с Кленовым, долго бродили по улицам. О чем только ни говорили в тот вечер, будто влюбленные, которые уже давно чувствовали влечение друг к другу и вдруг решили перестать таиться.

Его мечта — пойти по стопам отца, а отец всю жизнь служил в органах, работал в спецлагерях. В последнее время они жили на Севере, пока отец не вышел в отставку и семья не перебралась в Москву. Конечно, он, Кленов младший, не собирается служить в лагерях. Его цель — стать следователем, и ради этого он, собственно, и выбрал Юридический институт.

Я говорил, что еще не решил, кем буду, но хочу пойти в

государственный аппарат, на политическую работу.

Затем по косточкам перебрали каждого в группе и единодушно пришли к выводу, что в ней нет мыслителей.

К концу вечера мы явно почувствовали родство душ: оба евреи, хоть на еврейскую тему и не говорили, оба — интеллигенты и оба искали случая себя проявить.

## ПИСЬМО БРАТЬЯМ-КОРЕЙЦАМ

Вскоре случай представился, и мы не преминули им воспользоваться. Однажды бродили мы по центру и совершенно случайно наткнулись на одного из наших сокурсников, Бориса Еравского. На курсе Еравский слыл выпивохой и эрудитом, сотрудничал на радио и в каких-то газетах. Встретив нас, он страшно обрадовался и незамедлительно сообщил, что у него к нам потрясающе важное дело. Что именно за дело, он изложил нам, когда мы втроем сидели за столиком в Коктейль-холле.

Только что началась война в Корее, и требуется срочно на-

74

писать обращение к братьям-северокорейцам о том, что мы, советские люди, не оставим их в трудный час. Разумеется, он бы написал сам, но случилось одно непредвиденное обстоятельство, и, поскольку у него нет и минуты времени, он просит это сделать нас. Текст нужно сделать за ночь и не позже девяти утра передать нарсудье Фрунзенского района Иванову, который одновременно является обозревателем Всесоюзного радио. В десять обращение пойдет в эфир, и нас с Кленовым услышит весь мир. Надо было не иметь ни малейшего представления о реальной жизни, чтобы поверить в эту фантазмагорию. И мы его действительно не имели, если, обложившись газетами, всю ночь прокорпели над обращением к братьям-корейцам у Кленова на кухоньке, но к рассвету все же родили несколько проникновенных страниц.

Было в них все что полагается: и Сталин, и бешеная гидра империализма, и братская любовь к братьям-корейцам... Ровно в девять текст был доставлен по установленному адресу нарсудье Иванову. Он долго вспоминал, кто такой Еравский. Кажется, он действительно говорил о чем-то подобном, но тот все перепутал, ибо обращение к братьям-корейцам должно было идти от имени общественности, например, от рабочих автозавода имени Сталина. На что мы с Кленовым в один голос воскликнули: "Пожалуйста, пускай от них!" Лишь бы пошло в эфир...

Подобного бескорыстия я больше никогда не проявлял в жизни — нас с Кленовым не прельщала ни слава, ни деньги. Мы жаждали действия, и чего стоила какая-то несчастная ночь, если нам открывалась для этого возможность.

Вот так невинно все начиналось: письмо к братьям-корейцам и еще собрания в группе, на которых без устали говорили о комсомольском долге и чести. На первом же из них постановили: главное в нашей жизни — дружба. Воля товарищей — закон для всех. Отныне все решали сообща и даже в кино и театр ходили вместе.

Меня выбрали комсоргом группы, и теперь само положение обязывало меня выступать чаще других. Кленов был моей правой рукой, Каплан — левой. Говорили только по большому счету и от каждого требовали понимания великих задач, стоящих перед страной.

В те дни все было великим: великая Россия, великие планы коммунизма и, разумеется, великий Сталин. В борьбе, ко-

75

торую вел великий народ, не было мелочей. Так писали газеты, и это же с убежденностью восемнадцатилетних повторяли мы.

Однажды я произнес сокрушительную речь против одной из двух наших женщин — Борисовой, прогулявшей подряд две вечерних лекции. Именно в эти часы ее видели в ресторане, и я потребовал обсудить ее поступок со всей комсомольской принципиальностью. Другой раз из-за такого же пустяка обрушился на крикуху Клейдман.

А чуть позже поднял прогремевшее на весь институт дело Ильиной. Она появилась в группе в середине года, и, кроме того, что ходила в вызывающе короткой юбке и красила перекисью волосы, никакой иной ее вины не помню.

На собрании, кажется, говорил, что таким не место в наших рядах, что не сегодня-завтра мы встретим ее у Метрополя. Перещеголяла меня лишь Зивочка Циперсон. Как молодая комсомолка, она испытывала стыд и горечь оттого, что оказалась рядом с такой, как товарищ Ильина.

Напрасно та плакала и пыталась что-то объяснить. Я тотчас же прервал ее: "Довольно, она не искренна... Есть предложение исключить!"

Поднялся Боровский: "А может, Витя, слишком?" Но когда стали голосовать, первый поднял руку за ее исключение.

Сама судьба воздаст мне за эту несправедливость, да и за все, кем я стал, охваченный страстным желанием служить комсомолу по большому счету.

Пройдет немногим более двух лет, и в том же Малом зале, теми же, с кем рука об руку я боролся за честь коллектива, будет разбираться персональное дело Перельмана и Кленова. Оказавшись в военном лагере, они "попирали", как скажет Зивочка, свой комсомольский и воинский долг.

"Помилуйте,— слышу голос читателя, — одни речи да собрания, а где студенческая юность? Где первые свидания? Где, наконец, сам институт с его живым многоголосьем и гениальными чудаками на кафедрах, о которых вспоминаешь до конца жизни?"

О Боже, все было! Свидания под часами у Петровских ворот и под многими другими часами. И веселые мальчишники все на той же кленовской кухоньке в Фурманном переулке, где писали письмо братьям-корейцам, где гоняли чай и уплетали черные сухарики с баклажанной икрой. Были и женщины,

76

и танцы при потушенном свете, и бешеные ночи, после которых, едва волоча ноги, шли в институт и с видом покорителей вселенной глазели на окружающих.

Впрочем, это было позже, а вначале, коль скоро зашла речь о юности, были просто девочки, первые мои девочки — Люся Фридман и Нока Крастошевская.

С Люсей я познакомился на даче в Быкове, куда она приехала к подружке. Она была похожа на восточную принцессу — выше меня ростом, с длинной черной косой и глубокими лучистыми глазами. Я позвонил ей на другой день, и мы встретились под часами на площади Пушкина. Насколько храбр был я на комсомольских собраниях, настолько робок с девочками.

Я не знал, о чем говорить с Люсей, и все время расспрашивал ее, что она за последнее время прочитала и нравится ли ей русская классика. Потом встретились еще несколько раз, и снова я хотел казаться необыкновенно умным, и снова говорил о высоких материях, теперь, кажется, о законах Хаммураби.

Я продолжал настойчиво звонить ей, в мечтах обожал ее, но, не зная, как это выразить, я всякий раз с деланным безразличием задавал по телефону один и тот же глупейший вопрос: "Ты как, сегодня вечером свободна?" Теперь она все чаще говорила "нет". Тогда я спрашивал: "А завтра?" — "И завтра — нет". Я спрашивал: "А послезавтра?" — "Извини, но я вообще до конца недели занята". Я сходил с ума от любви и еще

больше от собственных унижений, не понимая, как она могла отвергать меня, студента сразу двух институтов, такого умного, такого глубокомысленного.

Однажды я позвонил ей и сказал, что мне необходимо поговорить с ней по жизненно важному вопросу. Она долго не соглашалась, но я все-таки настоял на встрече. Жизненно важный разговор состоял всего из нескольких слов. Не глядя на нее, я заявил, что обдумал с начала до конца наши отношения и пришел к выводу, что она, то есть Люся, не нужна мне больше. Я так и сказал: "Ты мне больше не нужна, будь здорова".

Она смотрела на меня как на сумасшедшего, а я, больше всего опасаясь выдать себя, тотчас повернулся и скрылся с ее глаз. Так окончилась моя первая любовь.

У другой моей симпатии, Ноки Кростошевской, я бывал

77

дома в течение нескольких лет. Их было две сестрички — Нока и Стелла. Нокой ее звала мама. Настоящее ее имя было Регина. В отличие от Люси Фридман, она была рыженькой и просто очень обаятельной девочкой с полными женскими руками.

Обе сестрички после восьмого класса, не выдержав тягот учения, бросили школу, и мама, изверившись в способностях дочерей, устраивала вечерние чаи в расчете найти для девочек что-нибудь "приличное". Звали маму Лилией Адольфовной. Она была неисчерпаемым источником еврейских анекдотов, бесконечных хохм, и вообще это было 90 килограммов сплошного веселья.

Внешне Лилия Адольфовна напоминала стареющую одесскую бандершу. По ее собственным рассказам, она пережила бурную молодость. В шестнадцать лет ее умыкнул какой-то польский граф. От него, неизвестно как, она попала в руки к буденовскому комиссару. Затем вышла замуж за одного крупного снабженца. Снабженца посадили, и Лилия Адольфовна ни за кого больше не выходила. Обосновалась с девочками — двумя дочерьми снабженца — в коммунальной квартире на Моховой и вся отдалась устройству их судьбы.

С красоткой Нокой я даже не мог говорить о законах Хаммураби, поэтому чаще всего сидел на диване и, покуривая, молча любовался ею. Иногда отпускал глубокомысленные замечания, кои должны были свидетельствовать, что друга их дома не зря учат в двух институтах. Максимум, что мне дозволялось, это иногда под патефон станцевать с Нокой танго. Так что, сверхумные мысли обычно проходили мимо ушей



моей возлюбленной, и все же я нашел способ поразить ее воображение.

Однажды я сказал, что завтра принесу в конверте ее характеристику, но с условием, что она прочтет ее без меня. На листке написал: "Это вино молодо-зелено, но когда оно перебродит, то получится напиток, достойный богов". (Так, кажется, кто-то из великих критиков сказал об одном из великих писателей — кто о ком, я напрочь забыл.)

На другой день Нока встретила меня сияющая и с этих пор не переставала мучить меня вопросом: "А кто же Бог? Нет его, перевелись все боги!.." Она весело кокетничала, оглядывая свои обнаженные полные плечи. А я смотрел на нее влюбленными глазами и по-прежнему молчал — не мог же я признаться, в ком хотел, чтобы она увидела своего Бога. А она,

78

по-видимому, глядя на своего обожателя, на его нескладную сутулую фигуру и вечно торчащие волосы, никак не могла дойти до этой мысли. Вот так и жил я, и ходил на Моховую со своей тайной любовью.

Лилию Адольфовну моя робость не только не смущала, но, напротив, приводила в восторг. Предметом ее особой гордости были мои родители. Она никогда их не видела в глаза, но не уставала возносить в глазах приятельниц, таких же веселых бандерш и анекдотисток, придумывая им все новые и все более громкие титулы.

— Кто он? — слышал я, бывало, из-за спины вопрос.

— Пэрльман! — переходила на торжественный шепот Лилия Адольфовна.

— А кто отец, кто?

— Адвокат, крупный адвокат...

— Как ты сказала, Перльман? Что-то я такого не слышала. Знаю Брауде, Комодова...

— Ты не слышала, их вейс, она не слышала. То Брауде, а то Пэрльман.

— А мать тоже адвокат?

— При чем тут мать? Мать редактор...

— Редактор?

— Да, редактор, представь себе.

— И что, крупной газеты?

— Я знаю, крупной или некрупной, во всяком случае, какой-то областной газеты.

Лилия Адольфона так высоко парила, что с моей стороны было бы просто жестокостью подрезать ей крылья. И я несколько лет подряд

продолжал ходить на Моховую, пока со своими серьезными намерениями не доходился до того, что обе сестрички вышли замуж за двух выпускников торфяного института Толю и Колю, которые увезли их вскоре в Сибирь.

Вот так и обстояло с девочками. Что же касается института и гениальных чудачков на кафедре, то были и они. Вспоминаю их и вижу себя в том же малом зале. На кафедре все тот же доцент Зиновий Михайлович Черниловский, что читал нам первую лекцию о законах Хаммураби. Для нас он уже давно Зиночка — именно так его зовут на курсе, — возможно, за маленький рост, возможно, за пухлые детские губы. Мне почему-то всегда казалось, что Зиночка был единственным ребенком в семье.

79

В своих черных профессорских очках лысеющий Зиночка похож на восточного философа. Он только что прочел, и, как всегда, с блеском, лекцию о законах Перикла. Зал аплодирует, и сияющий Зиночка, стирая со лба капли пота, полный наполеоновского величия, не спеша спускается с кафедры.

Но вот в том же зале вижу другого Зиночку. От наполеоновского величия не осталось и следа. На детском Зиночкином лице растерянность. Голос дрожит, и голова совсем скрылась за кафедрой. Но у зала нет сочувствия к безродному космополиту Черниловскому. В своих лекциях он игнорировал классовую сущность буржуазного государства и систематически пресмыкался перед западной демократией. За все это и держит ответ перед ученым советом института.

На смену Зиночке на кафедре появляется Володька Покровский, читавший нам историю политических учений. Впрочем, "появляется" — не то слово. На кафедру он, как обычно, взбегает, и, как всегда, нечесаный, со съехавшим набок галстуком и изрядно навеселе. Отбросив в сторону изодранный портфель, он долго сморкается в свой широченный платок и, наконец упрятав его куда-то в карман брюк, говорит: "Ну, что же, коллеги, перейдем к Спинозе, к Боруху Спинозе". И далее: "Борух Спиноза, которого иногда неправильно называют Бенедиктом, был прежде всего сыном своего народа, хотя и известен как создатель философского учения о двух материях: "nature naturans" и "natura naturata". Спиноза тихо и скромно шел на любую жертву, чтобы жить согласно духовной позиции еврейства, сущность которой заключена в знаменитом ответе рабби Гиллеля язычнику". И дальше Володька рассказывал, как пришел язычник к суровому еврейскому теологу Шаммаю и сказал, что он готов перейти в

иудейство, если рабби Шаммай изложит ему основы еврейского вероучения за то время, пока он сможет простоять на одной ноге. Рабби Шаммай прогнал этого человека. Тогда он обратился к рабби Гиллелю. "Почему нет, — ответил рабби Гиллель. — Что ты не хочешь, чтобы делали тебе, — не делай другому. Это все".

Володька цитировал Спинозу на чистейшей латыни, он знал ее в совершенстве, как, впрочем, и греческий, на котором цитировал Фому Аквинского, а однажды, будучи в ударе, прочитал нам на чистом иврите целую страницу из Библии.

Прошло почти четверть века, но так и врезался в память этот суматошный талантливый чудак, а вместе с ним и ушед-

80

ший от мирской суеты гениальный Спиноза, обладавший великим даром — жить по убеждению.

... А теперь перед глазами желчный старичок с саркастической усмешкой на лице. Он сидит посредине сцены в своем пальтишке, отороченном мерлушкой, и зябко прячет свои вечно мерзнущие руки в рукава. Это — знаменитый Гурвич, бывший правовой консультант Ленина, автор текста первой советской конституции. Предмет Гурвича — ГУБС — Государственное Устройство Буржуазных стран. В институте говорили: "Сдал ГУБС — жениться можешь".

Любимый конек Гурвича — двухпартийная буржуазная система.

Две партии — это две руки буржуазного государства. Они никогда не уступят и не упустят власть. Но, ловко манипулируя ею, передавая из одной руки в другую, государство умело создает иллюзию свободы и демократии.

Читал Гурвич певучим, петушиным голосом, который обычно тотчас смолкал, как только возникал малейший шумок. Он редко выражал недовольство вслух, но делал это в совершенно убийственной форме. Этот желчный голубоглазый старикашка обладал даром наводить ужас на студентов. И еще более на студенток, считая, по-видимому, свой предмет недоступным для постижения представительницами прекрасного пола. Из уст в уста передавались по институту его афоризмы, некоторые из них не могу не привести: "Ну-с, догогая (вместо "р" Гурвич произносил "г"), не знаю как вообще, но в госудагственном устгойстве бугжуазной Индии вы девственница". Или: "Ставлю вам пять. Два сейчас, а тги — когда пгидете". Не как анекдот, а как сущую правду рассказывали, что он умудрился выгнать с экзамена собственную дочь, да еще бросил ей вслед зачетку:

"Вон! Вся в мать, дуга!"

Гурвич тоже окажется безродным космополитом, и мне еще придется о нем говорить. А пока вернемся назад и попробуем понять обстановку, в которой жила страна, жили мы, когда просыпалась в нас жажда действовать на благо Родины.

Итак, 1948 год. Уходила в прошлое война, но в стране все еще царила разруха и людей не покидала бедность. В жизни их не было самого необходимого. Зато в изобилии была сталинская любовь к народу и сталинская ненависть к врагам. Великий вождь учил, что классовый враг не дремлет и по мере приближения страны к коммунизму все более жестокой становит-

81

ся классовая борьба. Газеты звали решительно бороться с пережитками капитализма в сознании людей и с их живыми, не складывающимися оружия носителями. Их становилось все больше, и в 1948-49 годах они уже плодились, как грибы после дождя, — буржуазные националисты, морганисты-вейсманисты, буржуазные космополиты и прочие герои наших политзанятий. По "странному" стечению обстоятельств у них теперь все чаще оказывались еврейские фамилии.

Я не политик и не берусь судить, какие флюиды ощущала страна в целом, но хочу попробовать понять, как получилось, что мальчики и девочки, только и мечтающие отдать Родине души прекрасные порывы, за какие-то четыре года превратились в истеричных хунвейбинов, подчас терявших человеческий облик. Я не знаю, как шла к ненависти и антисемитизму любвеобильная Россия, но я видел, как шаг за шагом шел к этому мой институт. Впрочем, "видел" — это из лексикона свидетелей, а я, все мы были жертвами этой чудовищной метаморфозы.

## **ГРОЗНЫЙ МЭТР ВЫШИНСКИЙ**

В мае 1948 года в Московском юридическом институте выступил Вышинский. Его пригласили принять участие в обсуждении двух макетов учебников по теории государства и права — один профессора Денисова, другой — Института права Академии наук СССР. Обсуждение происходило бурно, по многим вопросам теории высказывались противоположные точки зрения.

На юридическом фронте уже давно существовали разные направления, представители которых обвиняли друг друга в буржуазном

нормативизме, и прагматизме, и прочих смертных грехах. На кафедрах один за другим появлялись борцы против тлетворного влияния буржуазной юридической науки.

Понятно, с каким нетерпением ждали выступления Вышинского. В зал невозможно было протиснуться, всюду появлялись пробки. Были забиты все проходы и подоконники.

Вышинский говорил четыре с половиной часа. Газеты называли его речь программной. Когда я вышел из зала, у меня разламывалась голова и перед взором все еще стоял этот седой желчный человек с отечным лицом и глазками, сверлящими зал из-под толстых линз очков. Тщетно я пытался привес-

82

ти услышанное в последовательность. Сделать это было невозможно, потому что Вышинский импровизировал. Речь его без конца прерывалась восторженным гулом. В этот день я впервые почувствовал, что значит охваченная экстазом толпа.

Вышинский опоздал на два часа, но не извинился, а лишь усталым голосом сообщил, что только что прибыл с сессии Генеральной Ассамблеи ООН, работа которой была чрезвычайно напряженной и где, кстати, только что было провозглашено государство Израиль. С этого события он и начал речь и еще долго не мог добраться до учебника Денисова.

Советский Союз одним из первых признал государство Израиль, и он, как министр иностранных дел, выражает надежду, что это государство будет проводить миролюбивую внешнюю политику. И еще он, кажется, добавил, что такая политика не только в интересах мира, но прежде всего самого государства Израиль. Пусть живут и другим не мешают!

В моей памяти запечатлелась интонация, с какой было сказано все это, и особенно это великодушное "пусть живут!" — "Конечно, раз уж на то пошло, мы признаем ваше еврейское государство. Но не забывайте, кто мы и кто вы. Мы — великий русский народ, а вы — всего-навсего еврей. Поэтому не очень-то задирайте нос, если не хотите нажать неприятности".

В своей речи Вышинский громил всех и вся. Казалось, учебник Денисова для него только повод для того, чтобы изничтожить других, находящихся в зале и извращавших в своих книгах и лекциях то, чему он так беззаветно служил всю жизнь.

Начал он глухим болезненным голосом, но, по мере того, как говорил, голос его креп, и его вялое, отечное лицо наливалось краской. И когда он обрушился на главного своего противника, профессора Гурвича, который



без конца, "как говорят русские люди, выкаблучивается и выделяет всякие выкрутасы", — лицо его стало бордовым, и, казалось, ничто уже не способно было прервать его речь. "Оказывается, профессора Гурвича не устраивает определение государства, данное товарищем Сталиным, говорившим, что государство есть машина в руках господствующего класса для подавления сопротивления своих классовых противников. Оказывается, трудовому народу вообще больше не нужна такая машина. Да куда же нас, в конце концов, зовут? Может быть, вам, товарищ Гурвич, диктатура пролетариата тоже не нужна? Может быть, напрасно проливали кровь русские рабочие в 1917 году?"

83

Затем он с тем же темпераментом обрушился на другого своего противника профессора Стальгевича. Начиная с 1938 года Стальгевич всякий раз, когда заходит речь о сущности буржуазного нормативизма, юлит и ловчит, не высказывая принципиальной марксистской позиции... Кому как не нашим недругам служит подобное ловкачество?

Каждую минуту зал взрывался бурей оваций, и сидевший со мной в одном ряду профессор Стальгевич тоже хлопал. И виновато улыбался, точно нашкодивший школяр, пытавшийся своей извиняющейся улыбкой хоть немного смягчить гнев распекавшего его учителя.

Нет, Вышинский был не просто учитель, а беспощадный мэтр, на которого история возложила миссию карать врагов революции и сама История освободила от жалости.

В зале Организации Объединенных Наций Вышинский обязан был выдерживать международный этикет, но теперь в Москве, в Юридическом институте уже мог не стесняться в выражениях, как барин, удостоивший своим посещением задний двор. Громя всех и вся, Вышинский в самых неожиданных случаях вспоминал Израиль, который явно не давал ему покоя. Разделавшись со своими противниками, он повернулся к сидящему в президиуме Денисову и стал выпытывать, где у него в учебнике определение государственной машины.

— В конце, Андрей Януарьевич! В конце... — пробормотал Денисов.

— Ах, в конце! — желчно засмеялся Вышинский. Вы слышите, товарищи, в конце! Может быть, вообще прикажете нам читать учебник справа налево? Но, простите, мы пока не живем в государстве, где читают справа налево. У нас, в России, слава Богу, читают слева направо!

Я не помню, чем он закончил. Кажется, говорил, что ему в жизни необыкновенно повезло, как, впрочем, и всем работникам правового

фронта, вооруженным могучим оружием — марксизмом-ленинизмом и борющимся под руководством гениального учителя и вождя товарища Сталина.

Я не знаю, велико ли везение строить карьеру на гибели миллионов невинных людей, но со смертью Вышинскому действительно повезло. Он явно вовремя ушел из жизни.

23 ноября 1954 года Центральный Комитет коммунистической партии и Совет Министров с глубокой скорбью известили, что 22 ноября в Нью-Йорке скончался выдающийся госу-

84

дарственный деятель, талантливый дипломат и крупный ученый Андрей Януарьевич Вышинский. В газете был напечатан портрет мрачного седовласого старика с тонкими губами. Публикуемый тут же некролог подчеркивал, что он был "верным сыном коммунистической партии, самоотверженным в работе, исключительно скромным и требовательным к себе". Но все это были уже ничего не значащие слова, ибо люди уже знали цену этому самоотверженному в работе выдающемуся деятелю партии и государства.

Листаю подшивки "Правды" и перечитываю речь Вышинского на процессе так называемого параллельного троцкистского центра в январе 1937 года. Он говорил: "Я обвиняю не один! Рядом со мной, товарищи судьи, я чувствую, будто вот здесь стоят жертвы этих преступлений и этих преступников — на костылях, искалеченные, полуживые... Я не один. Я чувствую, что рядом со мною стоят вот здесь погибшие и искалеченные жертвы жутких преступлений, требующие от меня как от государственного обвинителя предъявлять обвинения в полном объеме.

Я не один! Пусть жертвы погребены, но они стоят здесь, рядом со мной, указывая на эту скамью подсудимых, на вас, подсудимые, своими страшными руками, истлевшими в могилах, куда вы их отправили".

Вышинскому нельзя было отказать в красноречии, но то была лишь картина призраков, специально вызванных им в зал суда для того, чтобы отправить на тот свет живых и невиновных.

И вот теперь, спустя более двадцати лет, их тени поднимались из могил, чтобы предать проклятию своего палача. И проживи он еще немного, не избежать ему правосудия. Я знаю, оно свершилось бы, независимо от желания тех, кто действительно скорбел о его смерти.

Но тогда, в мае 1948 года, зал гремел от восторга. И я тоже был им переполнен. И дубасил ладонями даже тогда, когда Вышинский с

издевочкой говорил о государстве, где читают справа налево. Что мне до этого Израиля? Жил без него и дальше проживу. Другое дело, моя страна, мой институт...

Назавтра я всем, кому мог, с восторгом рассказывал, что слушал самого Вышинского. Значит, и нам кое-что доверено, если нас приглашают на выступления таких людей.

85

Выступивший на комсомольском собрании Боровский сказал, что речь Вышинского имеет прямое отношение и к нашему курсу, и он хотел бы посоветоваться с ребятами, в каком направлении вести дальше нашу комсомольскую работу.

Вслед за Эдиком взяла слово Зивочка Циперсон и сказала, что ее поражает тон выступления товарища Боровского. Как молодая комсомолка, она считает, что время советов прошло. Пора всем набраться мужества и спросить самих себя, нет ли среди нас таких, кто смотрит не туда и увлекается не тем чем надо. Кажется, именно в эти дни мне пришла мысль заняться делом Ильиной.

Атмосфера в институте явно накалялась. Хотя еще и речи не было о безродных космополитах, и в своей речи Вышинский громил не только евреев Гурвича и Стальгевича, но повидавший жизнь зал уже кое-что предчувствовал. Неспроста же оживился растленный Запад, и вместе с ним буржуазные нормативисты. И какой-то странный ветер подул с Ближнего Востока. И зачем-то появились те, кому не дорога была кровь русских рабочих. Не все было досказано, но столбик термометра явно рвался вверх, и осталось не так уж много, чтобы расставить точки над " i "

## **КАЮЩИЕСЯ БОЛЬШЕВИКИ**

Летом 1948 года произошло событие, после которого я долго не мог найти себе места. Арестовали Сендаха и Летинского. Весть эту принес Генкин. Поздно вечером он заявился ко мне на дачу и от волнения не мог связно рассказать о случившемся. Да и сам он мало что знал. Разве лишь то, что Сендах взят по какому-то страшному обвинению, связанному с нашим литературным салоном, и что назавтра после этого Крыловы увезли Элю и Нелю куда-то на море.

Я решительно не представлял, по какому обвинению могли забрать этого не от мира сего Сендаха, который так легко сочинял стихи и так блестяще читал Пастернака и Ахматову. И тем более, за что взяли

головастого добряка Летинского, оставшегося без куска хлеба после закрытия студии Еврейского театра. У меня не могло возникнуть и подозрения, что эти мечтатели могли быть по чьему-то навету обвинены в контрреволюционной сионистской деятельности и что их арест был первым предвестником событий 1949-50 годов.

С сократовским выражением лица "великий математик"

86

ходил из угла в угол по отцовской мансарде и при помощи теории вероятности пытался вычислить, насколько велика возможность нашего с ним ареста. Вероятность оказывалась довольно большой, но меня почему-то занимал совсем другой вопрос — арестован ли вместе с Сендахом и Летинским Жарков. Вскоре я убедился, что Жарков не был взят. На второй день после начала занятий мы нос к носу столкнулись с ним в раздевалке. Он был по-прежнему членом комитета, выглядел страшно занятым и, увидев меня, лишь едва кивнул головой.

А еще спустя некоторое время с треском сняли директора Московского юридического института Федькина. Доцент кафедры всеобщей истории Гаврила Иванович Федькин был рафинированным интеллигентом и оригиналом. В своих лекциях по истории римского частного права он приводил бесконечные юридические казусы и с помощью них пытался нам втолковать, чем отличаются вещи "res mancipi" от вещей "res nec mancipi". В этих казусах неизменно действовал римский гражданин pater familias Пабло Гелий. И сам Федькин, поджарый блондин с тонким с горбинкой носом и густой белой челкой, спадающей на лоб, был чем-то похож на древнего римлянина. Особенно, когда начинал на латыни цитировать Corpus Juris Civilis императора Юстиниана.

С большинством преподавателей директор был на "ты", старался по возможности все улаживать миром и всякий раз, когда вспыхивал конфликт, приглашал к себе секретаря парткома Иванова и говорил: "Вот, разберись с этими Монтекки и Капулетти, кто тут из них чистый, а кто нечистый".

Сняли Федькина за неправильный подбор кадров, семейственность и еще что-то в этом духе. Директором института был назначен некто Федор Михайлович Бутов, работавший перед этим в ЦК партии Молдавии. Что это за человек, никто не знал. Его появление было окружено ореолом таинственности. Говорили, что он работал вместе с Маленковым и до сих пор сохранил с ним приятельские отношения и что они встречаются даже семьями.

В отличие от Федькина, который вечно крутился в аудиториях и коридорах, Бутов, как забравшийся в нору крот, почти никогда не вылезал из директорского кабинета. И внешне он тоже был похож на крота. Бритоголовый, с маленькими сонными глазками, он шел лбом вперед, лениво перевалива-

87

ясь с ноги на ногу и демонстрируя полнейшее безразличие ко всему, что делалось вокруг. Тогда мы еще не знали, что этот человек возглавит крестовый поход против так называемых безродных космополитов в Московском юридическом институте. В стране этот крестовый поход начался несколько раньше.

28 января 1949 года в "Правде" появилась статья "Об одной антипатриотической группе театральных критиков". Крупнейшие театральные критики — Юзовский, Борщаговский, Левин, Гурвич, Варшавский обвинялись в том, что встали на путь преклонения перед буржуазной культурой, унижения роли русского национального театра.

Выступление "Правды" мгновенно подхватили едва ли не все газеты, объявившие критиков-космополитов людьми без роду, без племени. Обстановка накалялась изо дня в день. И обвинения, носившие теперь уже явно выраженный политический характер, становились все более грозными.

В горении политических страстей, в разнузданной истерии и даже в самом стиле газетных статей уже виделись зловещие приметы 37-го года. Вот лишь два небезынтересных свидетельства. Первое — из отчета о судебном процессе над членами так называемого антисоветского троцкистского центра и, в частности, над одним из его руководителей и идеологов Карлом Радеком: "... Он стоит перед судом народа, человек с двойной жизнью, подлый человек, одной рукой щедро даривший клятвы и заверения в своей верности, а другой — пытавшийся всадить нож в спину революции. Он стоит у барьера и, поблескивая стеклами очков, часто облизывая губы, ведет счет своим гнусным преступлениям, в которых значатся и диверсии, и террор, и взрывы, и отравления".

А вот как в феврале 1949 года "Литературная газета" писала о группе театральных критиков-космополитов:

"... Обнаглевшие громалы имели свою штаб-квартиру в ВТО, проникли в редакции газет и журналов. Вместо того чтобы правдиво, без уверток рассказать с трибуны о своей вине перед советским народом, о формах и методах деятельности антипатриотической группы, они юлили



и извивались ужом и... цепь сознательно совершенных преступлений изображали как "случайные ошибки".

Будто два действия одного и того же представления. Творческий почерк одного и того же режиссера. Мир уже много знает об этом столь часто исполнявшемся перед его изумлен-

88

ным взором спектакле. Мне кажется, что я находился совсем близко от сцены и даже видел болезненные гримасы актеров, которых заставляли играть ненавистные им роли.

В марте 1949 года в Большом зале Юридического института состоялось расширенное заседание ученого совета Института права Академии наук СССР. На нем были подвергнуты уничтожающей критике безродные космополиты в советской правовой науке. Я был в этом набитом людьми зале, на этом совете, скорее напоминавшем суд святой инквизиции, нежели собрание людей науки. И даже расположившийся на сцене президиум был похож на судебскую скамью.

В первом ряду, среди членов святейшего суда, таких, как директор Института права профессор Коровин, завкафедрой Военно-Юридической академии Чхивадзе, сидел, поблескивая сонными глазками, и новый директор МЮИ Федор Михайлович Бутов. Выступивший с докладом доктор юридических наук Казанцев обрушился на академика Трайнина, профессоров Левина, Строговича, Стальгевича, Шифмана. В своих учебниках они грубо искажали ленинско-сталинское учение о диктатуре пролетариата, восхваляли буржуазную демократию, умаляли роль великого русского народа в истории человечества.

Напрасно "уличенный в ереси" профессор Левин пытается что-то объяснить. Перед лицом святой инквизиции, жаждущей крови еретиков, последним еще никогда не удавалось оправдаться. Его выступление объявляется образцом формального признания, признания отписочного характера.

Проснувшийся вдруг Бутов, блестя своими сонными глазками, бросает ему из президиума — как это он, советский преподаватель, дошел до того, что стал ползать на животе перед буржуазными авторитетами, предал Родину и Россию...

Начиная с марта 1949 года почти каждый день, точнее каждый вечер идут заседания ученого совета Московского юридического института. Двери открыты для всех, и борьба с Иванами, не помнящими родства, идет при массовом стечении публики. Для каждого очевидно, что безродные

Иваны — это не более чем газетный камуфляж, неизвестно на кого рассчитанный.

По какой-то случайности в компании космополитов оказался профессор Юшков. Говорили, будто он настолько был возмущен обрушившейся на него несправедливостью, что прямо на заседании ученого совета воскликнул: "Товарищи, а меня-то за что, я ведь рязанский!"

89

Тогда для многих оставалось загадкой, кому и в каких целях понадобилось развертывать в 1949 году столь широкую кампанию против евреев, печатать истерические статьи, в которых презренные космополиты, так же как троцкистские изменники, "юлили и извивались" перед судом народа.

Эта смена ролей и декораций в гигантском сталинском спектакле сегодня уже не кажется случайной. Как не кажется случайным снятие задолго до тридцать седьмого года Каменева с поста предсовнаркома и слова Сталина: "Еврей не может стоять во главе мужицкого государства". Как не кажется случайным обилие еврейских фамилий в числе руководителей так называемых троцкистско-бухаринских блоков. Как не кажется случайным массовое увольнение евреев с дипломатических постов накануне сорок первого года. Как не кажется случайным вообще оживление антисемитизма в конце тридцатых годов и особенно накануне войны...

Мне еще придется говорить об этом в общем закономерном процессе, а пока вернемся в актовый зал Московского юридического института, где при массовом скоплении публики шло разоблачение безродных космополитов.

Присутствие публики лишь подогревало страсти. В те дни после лекций мало кто уходил домой, почти все отправлялись в актовый зал. И я тоже шел туда и, примостившись где-нибудь на галерке, а то и на балконе и изнемогая от царившей в зале духоты, наблюдал за тем, что происходило на сцене.

Громили космополитов по кафедрам. Начиналось обычно с того, что на трибуну поднимался один из руководителей кафедры и в своем вступительном слове задавал тон. После него один за другим поднимались честные и принципиальные члены кафедры — люди, мало кому известные, но, судя по их гневным речам, уже давно страдающие от засилия космополитов.

В выражениях эти "честные и принципиальные" члены кафедры не стеснялись. Один из сотрудников Института права, некто Радьков, обрушившись на профессоров Левина и Шифмана, договорился до того, что борьба с безродными космополитами есть борьба за честь и национальную независимость русского народа. Доказательствами были сами фамилии космополитов.

Одно выступление следовало за другим, и, когда спектакль достигал кульминации, слово брали те, кого подвергали критике, то есть сами безродные космополиты. По ходу пьесы

90

они обязаны были признавать все без исключения, что им инкриминировалось. И большинство так и делало: каялись и били себя в грудь, независимо от того, считали себя виновными или нет.

О, сколько раз в жизни видел я эту милую картинку, столь типичную для эпохи Сталина! Маяковский в поэме "Владимир Ильич Ленин" нарисовал фигуру плачущего большевика. Погруженный в горе, стоит он у гроба вождя, и даже слезы его должны свидетельствовать о стальном большевистском характере. Лично я никогда не видел подобных картин, но как символ эпохи, как главное лицо упомянутого выше спектакля стоит перед глазами фигура кающегося большевика.

Все 17 обвиняемых, проходивших по сострепанному органами НКВД делу параллельного троцкистского центра, признали себя полностью виновными и раскаялись на суде в несуществующих преступлениях. Вот последнее слово Пятакова: "Самое тяжелое, граждане судьи, для меня — это не тот приговор справедливый, который вы вынесете, это сознание, вам и всей стране, что я очутился в итоге всей предшествующей преступной подпольной борьбы в самой гуще контрреволюции — контрреволюции самой отвратительной, гнусной, фашистского типа, контрреволюции троцкистской..."

Подсудимый Сокольников: "Наша программа была антинародной. Мы не могли опереться на массы... Кроме заговора, другого оружия у нас не оказалось в руках... Я не могу не ужаснуться от этой картины, картины наших преступлений".

Подсудимый Шестов: "13 лет я был членом контрреволюционной троцкистской террористической подрывной и фашистской организации... Здесь перед вами, перед лицом всего трудового народа, я в силу своих способностей расстреливал идеологию, в плену которой был тринадцать лет. И теперь хочу одного: с тем же спокойствием стать на место казни и

своею кровью смыть пятно изменника Родины".

Ни один театр мира не знал такого вдохновенного и чудовищного спектакля! Подсудимые, сыграв по сценарию следователей НКВД свои трагикомические роли, спускались с подмостков "сцены", чтобы быть расстрелянными в темных тоннелях Лубянки.

Каялись не только узники 37-го года, осмелившиеся выступить против великого Сталина. Каялись и его ближайшие соратники, терпевшие крушения во внутрипартийной борьбе и

91

интригах, каялись вейсманисты-морганисты, буржуазные националисты... Боже, кто только не каялся, стоя на коленях перед иконами партийных догм! Вожди революции, и убеленные сединами рядовые коммунисты, и совсем еще молоденькие члены ВЛКСМ. Да и меня в годы юности — о чем еще буду писать — не обошла эта участь.

Что за загадка эта фигура кающегося большевика?

Еще Ллойд-Джордж после окончания процесса над участниками антисоветского троцкистского центра в газете "Санди-экспресс" писал; "Я должен сказать открыто, что очень трудно объяснить столь беспрецедентный феномен. Говорят, что подсудимых поили каким-то таинственным снадобьем. Но что это за снадобье? Никто не может указать, как оно называется. Думали, что обвиняемым обещали сохранить жизнь, если они сделают признание. Это неправдоподобно. Быть может, все дело в русской психологии, которая находится вне западного понимания".

Ллойд-Джордж не приблизился к загадке кающегося большевика. События культурной революции в Китае, повторившие в азиатском варианте 37-й год, явили всему миру интернациональный характер многих "беспрецедентных феноменов", рожденных эпохой сталинизма.

К концу тридцатых годов на Западе появится человек, который как никто иной приблизится к пониманию многих феноменов сталинской эпохи. Это замечательный писатель, философ и публицист Артур Кестлер, автор романа-бестселлера о 37-м годе "Мрак в полдень", переведенного на 31 язык, но так и оставшегося неизвестным советскому читателю.

Прочитав в рукописи Самиздата потрясающей силы роман неизвестного автора о последних месяцах жизни большевика Николая Залмановича Рубашова, которого автор провел со дня ареста до дня расстрела, я тогда еще не подозревал, что роман этот принадлежит Кестлеру.

Узнал это гораздо позже. Уже работая в "Литературной газете", среди

материалов редакционного досье я наткнулся на статью Кестлера "Ценности в мире фактов", перед тем опубликованную в журнале "Нью-Йорк таймс-магазин".

То, что было создано талантом Кестлера-художника, теперь получило научное осмысление в исследовании Кестлера-философа.

Кестлер пишет в нем о биологической неполноценности человеческого вида, утверждая, что человек является ошиб-

92

ка эволюции. Поэтому мы и являемся свидетелями неизбежной деградации личности в тоталитарном государстве. По мнению Кестлера, суть в особой психологии коллектива, эксплуатируемой тоталитарными системами и ведущей начало с доисторических времен, когда в условиях беспомощности и взаимозависимости первобытных пралюдей зародилось их биологическое стремление отождествлять себя с коллективом,

"Беспомощность человеческого детеныша, — пишет Кестлер, — оставляет в нем след на всю жизнь; этим отчасти объясняется готовность человека подчиниться авторитету коллективов или отдельных личностей, его внушаемость перед лицом доктрин и заповедей, его всепоглощающее стремление принадлежать целому, отождествлять себя с каким-то племенем, какой то нацией и превыше всего с какой-то системой взглядов. Звуки национального гимна, лицезрение гордо реющего флага заставляют человека чувствовать себя частью восхитительного, любвеобильного общества. Фанатик готов отдать жизнь за предмет своего почитания, подобно тому, как возлюбленный готов умереть за своего кумира".

Не перед следователями НКВД и не перед тяжелейшими пытками, применяемыми в застенках Лубянки, а перед миллионами фанатично настроенных масс, объединенных вокруг догматичных сталинских лозунгов, не могли устоять узники 37-го года.

Трагический герой Кестлера, бывшй командарм и член ЦК Николай Залманович Рубашов, дает свои показания бритоголовому кретину следователю Глеткину с не меньшим вдохновением, чем это делает один из руководителей троцкистского центра подсудимый Шестов. Отвергнутые массами, и тот, и другой "искренне" считают, что их место — на свалке истории.

Раскаяние здесь — лишь следствие психологического крушения, результат нравственной деградации личности, попавшей в жернова тоталитарной системы. А сам "кающийся большевик", в какой бы ипостаси мы его ни видели — в лице ли троцкиста Пятакова, "верного ленинца"



Хрущева или космополита Юзовского, — во всех случаях он остается трагическим и естественным порождением сталинской эпохи.

Но тогда, в 1949 году, я, разумеется, далек был от понимания этого и, потрясенный, наблюдал со своей галерки, как те, перед чьим умом и талантом я искренне преклонялся, по-

93

вторяли о себе всю несусветицу, которую возводили на них их честные и принципиальные коллеги по кафедре. Но и это были цветочки. Ягодки начинались, когда к делу приступал глава святой инквизиции Федор Михайлович Бутов. Какими бы словами космополит ни бичевал себя, Федор Михайлович считал его все-таки неискренним или недостаточно искренним и, блестя своими сонными глазками, бросал из президиума:

— Вы не морочьте нам голову, вы дайте политическую оценку своим поступкам. Кто вы есть и кому служили своими действиями!

Поскольку человек и сам начинал теряться в домыслах, кто он есть, то в ответ бормотал что-то маловразумительное насчет своего недопонимания марксизма, другие продолжали дальше каяться и обвиняли себя уже в таких грехах, о коих не могли помыслить даже их честные и принципиальные коллеги по кафедре.

Но и искренних, и неискренних ждала одна и та же развязка. Последний акт представления обычно происходил за кулисами, и узнавал о них институт из приказов все того же Федора Михайловича Бутова.

Между тем жизнь в институте шла своим чередом, и положительно ничто не могло ее остановить. Казалось, чем более жестоко били космополитов, тем бесшабашнее и веселее были институтские вечера. Точно этим весельем и звоном бутылок, и грохочущим на все этажи джазом хотели заглушить то, что происходило на ученых советах. На вечерах все были равны: ни космополитов, ни нормативистов, ни "чистых", ни "нечистых".

Молодость не желала ни с чем считаться и брала от жизни свое. Кто только ни приходил на вечера в МЮИ — очаровательные инъязочки, какие-то пышноволосяе, в длинных пиджаках стилиаги, и совсем еще юные служители и служительницы Мельпомены из Вахтанговского училища и студии МХАТа, и всякий раз — масса евреев, и своих, и пришлых, но больше все-таки своих. Отлично одетые парни, анекдотисты и хохмачи, они приводили с собой лучших девочек и вообще задавали тон этому чудесному, пьяному веселью при полупотушенных канделябрах. И еще в МЮИ был лучший в Москве джаз и лучший ударник Жора Касабов.

Для порядка начинал джаз с "Дунайских волн", но тотчас врывалась бешеная линда и еще какие-то ритмы и наконец в

94

разгар вечера — фрейлехс. Тут же выстраивался бешено хлопающий круг, и выплывал из него Валя Ивкер, друг мой и Кленова, главный на курсе хохмач и к тому же наш постоянный конференсье и куплетист. Обняв пальчиками лацканы пиджака и нежно помахивая платочком, он шел, как король, сверкая белками глаз и улыбаясь прекрасной блаженной улыбкой всем стоящим в круге.

Через секунду выходила его королева, такая же некрасивая, пучеглазая, как Валерка, и, вскинув вверх такой же батистовый платочек, шла следом за ним. Из джаза вдруг выскакивал Жора Касабов и, косолапя своими короткими ножками, тоже шел вдоль круга. А вокруг бешено дубасили ладонями, и я чувствовал, как весь с ног до головы наполняюсь этим сумасшедшим весельем. Все неприятности: космополиты, ученые советы. Бутов, — все отступало перед этим буйным восторгом от звуков фрейлехса, который невозможно передать словами. Если в природе существует голос крови, то, кажется, именно в эти мгновения я слышал его.

Я много думал над тем, что отличает еврея от нееврея. Вероятно, многое. Но среди этого многого не стоит ли на первом месте особый и вечно неунывающий дух, без которого трудно представить еврейский национальный характер.

Спустя много лет после окончания института я в качестве корреспондента журнала "Советские профсоюзы" приехал в Биробиджан. Появились мы там в премерзкий дождливый день, и от этого деревянный, стоящий на болоте город казался еще более неприглядным. Проехали из Хабаровска на машине километров 200 и после длинной и утомительной дороги завернули в небольшую Вареничную. По виду это была одна из тех обычных забегаловок, которые существуют на окраине любого города и куда люди заглядывают лишь от нужды.

На раздаче стояла седовласая курносая толстуха и, ловко орудуя быстрыми, рыхлыми руками, наполняла тарелки. С лица ее не сходила веселая, лукавая улыбка. "Симпатичная какая хохлушка! — подумал я. — И в какую Тмутаракань забралась!"

И тут она открыла рот: "С чем тебе положить, с чем? С вареньем? С ума сошел! Возьми со сметанкой, сметанка просто объединение. Чтоб я так жила, если пожалеешь..."

ля. Ее мучила одышка, и она, по-видимому, страдала астмой. Но рыхлое, доброе лицо тети Рахили не переставало улыбаться. О, какая это была улыбка! Я взял вареники, и она вдруг залилась глубоким, лающим кашлем, который долго не проходил. Наконец ей стало легче, и, заметив, как я за обе щеки уписываю вареники со сметаной, она вытерла платком рот и торжественно взглянула на меня: "Ну что, это можно кушать или нельзя? По-моему, можно, а этот мишигинер взял с вареньем — так пусть ему будет хуже..."

По крыше барабанил дождь. В окно было муторно глянуть. Неужто люди могли жить в этих местах? Оказывается, могли, и эта старая астматичка тетя Рахилия, неведомо когда и как попавшая на эти топи, пекла себе вареники со сметаной и радовалась жизни.

А тогда я сидел в актовом зале МЮИ и думал: "Неужто не найдется такой, кто взбунтуется и плюнет своим мучителям в физиономию?" Нашелся! Все тот же Георгий Семенович Гурвич, великий правовед и великий женоненавистник...

Настал день, когда он как безродный космополит должен был предстать перед ученым советом. Слух об этом пронесся по институту мгновенно, и в актовый зал невозможно было пробиться. В качестве "честного и принципиального" коллеги Гурвича по кафедре выступал недавно окончивший аспирантуру доцент Судариков, который тут же умудрился отмежеваться от своего научного руководителя профессора Стальгевича. И не только отмежеваться, но и обрушиться на него с сокрушительной критикой. Закончил Судариков довольно странным заявлением: "В зале собралась масса студентов, чтобы устроить овацию профессору Гурвичу. Так надо им разъяснить, какой вред советской правовой науке нанес этот космополит и псевдоученый."

Позже ходили слухи, что Гурвич разгромил ученый совет, сравнял с землей антисемита Бутова. Ничего подобного не произошло. Просто этот желчный, гордый старик в свои 65 лет не смалодушничал и остался самим собой даже перед лицом гражданской смерти (так что у "закона" Кестлера, по-видимому, есть свои исключения).

"Тут доцент Судагиков заявил, что меня явились пгиветствовать студенты, — начал он, поднявшись на сцену и не снимая, как обычно, пальто, — никогда не думал, что являюсь кумигом студентов. Доцент Судагиков, как всегда, понял что-то

наобогот. Ведь понимал же он наобогот в течение десяти лет своего учителя безгодного космополита Стальгевича".

Зал оживился. Проснувшийся Бутов загремел стеклянной пробкой по графину. Было ясно, что Гурвич не расположен каяться. Все с той же саркастической усмешкой он долго перечислял инкриминируемые ему обвинения и даже вспомнил свой образ насчет "двух рук", которые Судариков квалифицировал как лживое умиление двухпартийной системой. Когда говорил, то смотрел не на Бутова, как прочие, а куда-то в зал, поверх голов, и называл его не Федором Михайловичем, как прочие, а в третьем лице — директор Бутов. Тот, разумеется, не выдержал и оборвал его:

— Что вы там морочите голову: буржуазная демократия, две руки, голова... Где у вас классовый подход? Скажите прямо, что не знаете истории партии!"

— Да, конечно, — улыбался Гурвич, — я не знаю истогию пагтии. Дигектог Бутов знает ее и потому не сегодня-завтга станет круппным ученым, а я, как невежда, уйду восвояси. Что ж, пожелаем дигектогу Бутову успехов на твогческом попгище...

Назавтра профессора Гурвича сняли с работы и исключили из партии, а еще через несколько лет он умер, безвестный и забытый всеми создатель первой советской конституции.

## ДЕЛО АЛИКА БАКМАНА

В те дни опустели многие кафедры. На место стариков приходили зеленые аспиранты, которых в пожарном порядке остепеняли и ставили читать лекции.

Между тем меня не покидала мучительная мысль, кто же непосредственно был инициатором этой охватившей страну антисемитской кампании. Сталин? Это не укладывалось в голове. В моих глазах Сталин был великий марксист и великий государственный деятель. У него была железная рука. Во имя революции он, конечно, допускал перегибы, как это, возможно, было в 1937 году, но не мог же Сталин пасть до оголтелого антисемитизма. Может быть, его окружение, например, Маленков, о котором ходили самые зловещие слухи? Сосредоточив в своих руках колоссальную власть оргсекретаря ЦК, Маленков, возможно, ввел в заблуждение 70-летнего Сталина и развязал в стране эту

черносотенную кампанию.

97

Поразительная логика жила в умах людей — иногда мне кажется, что с ведома самого вождя насаждалась она в народе.

В 1929 году гениальный Сталин возглавил в стране гигантскую работу по коллективизации сельского хозяйства. Сталинский план открывал возможность для построения в деревне социализма на основе ликвидации кулачества как класса. Но левые, окружавшие вождя, допустили ряд перегибов и вместе с кулаками стали ликвидировать середняков. С присущей ему мудростью Сталин вовремя пресек эти перегибы, опубликовав в "Правде" статью "Головокружение от успехов".

В 1934-37 годах великий вождь возглавил борьбу партии против врагов народа. Благодаря ему было окончательно разбито троцкистско-бухаринское охвостье и страна смогла успешно завершить пятилетки. Но в ходе этой жестокой классовой битвы были снова допущены перегибы, виновником которых на этот раз оказался злоупотребивший сталинским доверием нарком внутренних дел Ежов. Великий Сталин и тут вмешался. Своевременно покончив с арестами невинных людей, он убрал маньяка Ежова.

Не случилось ли то же самое с космополитизмом, борьба с которым в начале 50-го года уже начала свертываться? Ходили упорные слухи, что Сталин ничего плохого не хотел, был движим благородным намерением поднять роль отечественных достижений, но кто-то, скорее всего Маленков, опять злонамеренно вмешался. И теперь за это как следует ответит.

Говорили, что некоторые из числа особо рьяных борцов с космополитизмом уже добрались до Эренбурга, но вот тут-то и вмешался Сталин. Слух о легендарном сталинском звонке, когда вождь якобы лично поблагодарил Эренбурга за удовольствие, доставленное "Бурей", обрастал все новыми версиями.

Высказывались предположения, что со дня на день космополитов начнут восстанавливать на работе. Желаемое явно принимали за возможное. И хотя борьба с космополитами как будто бы поутихла, антисемитизм нарастал, и это была не просто сила инерции.

В 1950 году, как никогда со времени войны, обострилась международная обстановка. Газеты были полны карикатур, изображающих воинствующего дядю Сэма, готовящего нападение на СССР. Военкоматы слали призывникам повестки. Чиновники даже самых



погоны, в вузах расширяли военные кафедры. Отныне они были обязаны готовить без отрыва от учебы офицеров запаса.

В МЮИ военную кафедру возглавлял генерал майор Невский. На одном из партийно-комсомольских активов он бросил девиз: "Овладение военным делом не менее важно, чем овладение гражданским и уголовным правом".

Стенгазета "Советский юрист" опубликовала фельетон "Жора с Брода" и подвергла сокрушительному разгрому институтский джаз и его бессменного ударника Жору Касабова.

Неожиданно оживились наши "лбы", вдруг начавшие во всем проявлять необыкновенную активность. Главный наш "лоб", староста группы Волченков, теперь всякий раз брал на политзанятиях слово, когда заходила речь о войне. И однажды ни за что ни про что обрушился на крикуху Клейдман. Кто-то из выступавших вспомнил битву на Курской дуге, и Китя по своей всегдашней привычке продекламировала: "Да, были люди в наше время, не то что нынешнее племя..."

"А что, действительно были, — вдруг взорвался Волченков, — и не вам судить об этом, товарищ Клейдман. Если такие, как вы, будут судить о том времени..."

Но что произойдет, если такие, как Китя, станут судить о войне, он не досказал, а вдруг смутился и попросил у руководителя политзанятий прощение за то, что погорячился.

Парторгом у нас тогда был фронтовик Аркаша Левинсон. За мягкость характера его звали Каденькой.

Свое назначение Каденька видел в том, чтобы в группе все улаживать миром и каждого из "лбов" звал ласкательным именем (Волченкова — Коленькой, великана Федю Артемова — Федюшей, однорукого Васю Родионова — Васильком). Теперь все они начали вдруг предъявлять к Каденьке претензии, что уж очень он миндальничает с комсомольцами, которые, по словам Волченкова, явно разболтались.

Устроили собрание, где Каденька по-отечески пожурил меня за мягкотелость по отношению к некоторым товарищам, например, к товарищ Клейдман, но в конце концов от имени партгруппы выразил уверенность, что Витя (то есть я), как комсорг, эту критику учтет и дисциплину среди комсомольцев подтянет.

Было это последнее собрание перед весенней сессией, и через неделю

после окончания экзаменов курс почти в полном составе выехал в военный лагерь в Ковров. Там под началом

99

офицеров и курсантов местного пехотного училища мы должны были в течение трех недель пройти военную практику в полевых условиях.

До Коврова ехали в солдатских теплушках. На станциях пили пиво и, выглядывая из вагонов, под стук колес шумно горланили песни.

Когда прибыли на место, нам выдали военное обмундирование, разбили по взводам и отделениям и поселили в брезентовых палатках. Командиром нашего пятого отделения был курсант-нацмен, трехсаженный верзила с узкими щелками глаз. Говорил он рыкающим, простуженным басом. Сколько мы ни выспрашивали его имени, он так и не назвался, и мы прозвали его Чукчей.

Каждое утро в 6.00 Чукча с сонным лицом врывается в палатку и хрипло рычал: "Отделение, подъем! Кто еще дрыхнет, едрена вошь!" Шуток он не понимал совершенно, и единственно, с кем Чукча находил общий язык, был его заместитель Волченков. Звал он его почему-то Волков и без конца поучал: "Ты их гоняй, ихтилегентов, пусть знают дисциплину!"

Чукча был типичный дебил, но дебил с инициативой. В первый же вечер он объявил, что ставит отделению задачу — занять по воинской выправке первое место в роте его командира лейтенанта Качутина.

Ничего более фантастического нельзя было придумать. На утреннее построение мы обычно выходили последними. Первым в строю стоял известный на курсе пижон Вова Воронцов. Сын замминистра электропромышленности, в институте он только и делал, что менял свои всегда великолепно сшитые костюмы, которые заказывал в закрытых ателье. В лагере он сразу же потерял институтский лоск. С него все съезжало — галифе, ремень и даже пилотка с его большой курчавой головы.

Идущий за ним по ранжиру Кленов из-за появившихся на ногах мозолей вообще перестал выходить на построение. У меня при команде "на плечо" без конца заваливалась винтовка. Даже Каденька утратил оптимизм и под тяжестью лагерной амуниции тащился, едва передвигая ноги. Все это и привлекло к нам внимание командира роты лейтенанта Качутина. Во всем зеленом, худенький и прямой как стрела, он был похож на оловянного солдата. Даже командовал он особым оловянным голосом: не "кругом", а "крю-гом!" Не "шагом марш!", а "шэгом мэрш!"

Не "быстро", а "би-стро!"

100

Глядя на него, я едва сдерживал смех, так же, как не мог без улыбки видеть рычащего Чукчу. Я был уверен, что Чукчей и Качугиным надо родиться. В отличие от них, я был прирожденным штатским, и тут уж ничего не поделаешь.

На второй или третий день Качугин приказал мне за какую-то оплошность выйти из строя и на солнцепеке устроил персональную муштру: "Встать!", "Бэгом!", "Встать!", "Бэгом!" — кричал он. "Солдат Пелерман, ви на службе, а не дома с папой и мамой". В тот второй или третий день, когда Качугин, муштруя, согнал с меня десять потов, я думал о нашей психологической несовместимости. Но вскоре понял, что все обстоит куда проще.

Однажды во время ночных занятий мы лежали в окопе. По соседству со мной расположился нескладный и длинный как каланча Паша Зак. Как и меня, Качугин невзлюбил его с первого взгляда.

Во время строевой Паша всегда плелся в хвосте, был очень рассеян и вечно где-то терял штык от винтовки. К тому же он еще обожал философствовать:

"Лагерь? Очень он нам нужен, этот лагерь, жили без него и неплохо себя чувствовали..."

Лежа в окопе, мы прислушивались с ним к каждому шороху. С минуты на минуту ждали команду лейтенанта Качугина, расположившегося в том же окопе по соседству с нами.

Была великолепная звездная ночь. Лейтенант не спеша закурил и, вдруг улыбнувшись, сказал:

"Ну-ка, Зак, бэгом, покажи, как еврейский народ воевать умеет!"

Наутро оскорбленный Паша отправился к начальнику училища. По иронии судьбы он тоже оказался евреем и даже с фамилией Гак. Он сказал, что во всем разберется и кое-кого примерно накажет.

Вечером лейтенант пришел к Паше в палатку и стал укорять его за то, что Паша не понимает шуток и теперь у него, Качугина, может быть испорчена вся жизнь.

"Хорошенькие шуточки", — скорее, уж для вида ерепенился Зак. Он был добрая душа и тотчас все простил своему обидчику. Однако сам Качугин ходил мрачный как туча, не переставая гонял нас. Он явно искал случая отыграться, и вскоре такой случай представился.

В одно из воскресений — было оно на редкость жарким —

мы, сбросив амуницию, всем отделением отправились купаться. Разделись, блаженно разлеглись под кустиками и не заметили, как из-за бугра вылезла грозная фигура нашего Чукчи. Он что-то гаркнул, все с хохотом бросились врассыпную. Я тоже умчался и сам не заметил, как, миновав поляну, оказался на опушке, метрах в трехстах от пруда. Я даже не почувствовал, что именно за мной гнался Чукча.

В тот же день он доложил о происшедшем Качугину. Допрашивал тот меня, стоя в своей любимой позе, заложив за спину руки и расставив чуть шире плеч сапожки.

"Так, так, значит, бежали? А куда вы бежали, Пелерман? Стыд! Позор! На передовой за это знаете, что бывает? Висшая мера! Но и я, Пелерман, это тоже так не оставлю".

Угрозу Качугина, этого затрапезного скалозуба, я и не думал воспринимать всерьез, как и не принимал всерьез всю лагерную эпопею. С первого же дня наше пятое отделение настроилось на юмористическую волну. История, как я бежал от Чукчи, тоже была приключением, я ее забыл в тот же час, когда мы сбросили лагерные дерюги и, как дикари, обретшие свободу, штурмом взяли пассажирский состав, следовавший в Москву. Через неделю мы с друзьями уже загорали в Сочи.

До чего ж я был наивен! Шел пятидесятый год, и, поварившись в Юридическом институте, да еще будучи комсоргом, я, конечно, должен был понять, что значит в те дни военный лагерь. Как позже шутил Паша Зак: "Если температура воздуха достигает 99 градусов, то всегда найдется соломина, из-за которой вспыхнет пожар, и уж, конечно, сыщется еврей, которого можно будет во всем обвинить".

Запах гари я почувствовал уже 1 сентября, когда, загорелый, как негр, явился в институт. Собственно, ничего серьезного не произошло. Просто среди прочих ходили слухи, что некоторые из третьекурсников опростоволосились в военном лагере. Наш поток "Б" даже не называли, а называли поток "А".

Там некто Бакман, оказавшись на сборах, напоролся на крупный скандал. Что именно за скандал, стало известно через несколько дней, когда на втором этаже появился экстренный номер стенгазеты "Советский юрист". Почти полномера занимало разверстанное на три колонки "Открытое письмо комсомольцев четвертого курса "А" бывшему своему товарищу Александру Бакману". Письмо было подписано секре-

тарем бюро ВХПССМ Лией Кутаковой. Я знал ее по выступлениям на комсомольских конференциях. Она была фронтовичка, со следами ожогов на подбородке и двумя кренделями косиц на затылке. Говорила она резко, всегда и во всем требуя самых насторожайших мер.

"Хотим тебе сказать в глаза — ты трус и подлец, наш бывший товарищ Бакман!" — писала она теперь в открытом письме. Далее говорилось, что Бакман отказался выполнить приказ командира, а когда командир потребовал объяснений, как же он будет вести себя в армии, Бакман цинично ответил, что ни в какую армию идти не собирается.

Вскоре стали проясняться кое-какие детали. Оказывается, приказ касался не службы, а выпуска стенгазеты, редактором которой как человека писучего назначили Алика Бакмана, и вообще он не отказывался идти в армию, а имел в виду лишь службу в кадрах. Но по накаляющейся изо дня в день обстановке было уже ясно, что судьба его предрешена.

Особенно неистовствовали наши "лбы". Волченков, когда прочитал "Открытое письмо", сказал, что, будь его воля, он стрелял бы таких, как этот Алик. И между прочим добавил, что и в пятом отделении были свои Алики.

Я чувствовал, что тучи сгущаются и надо мной, но не ожидал, что гроза разразится так быстро и с такой ужасающей силой. Через неделю после появления "Открытого письма" Бакмана исключили из комсомола.

Собрание шло более пяти часов. Бакмана называли изменником и сравнивали с презренным Стаховичем, выдавшим врагу молодогвардейцев. И уж вопреки всякой логике, приняли решение послать письмо в военкомат с просьбой немедленно призвать Бакмана в армию.

Наутро вышел приказ об исключении Бакмана из института. Тем же приказом за нарушение воинской дисциплины в лагерных условиях мне, Кленову и Паше Заку объявлялось по строгачу.

В перерыве ко мне подошел Эдик Боровский и сказал: "Витя, зайди после лекции на бюро, потолковать надо". Когда я вошел, все уже были в сборе, и Боровский, как всегда с извиняющимися глазами, сказал: "Ты, знаешь, Виктор, мы тут посоветовались. Сердись не сердись, а на комсомольской работе тебе оставаться нельзя: бежал от командира и прочее, в общем, сам понимаешь..."

Назавтра сняли с партторгов Каденьку Левинсона. В день комсомольского собрания вышла стенгазета, и во весь лист на ней



красовалась карикатура: богатырь-солдат у пограничного столба, а за его спиной трусливо бегут во все лопатки три низеньких длинноносых личности.

Собрание, как обычно, открыл Боровский, не изменивший и на этот раз своего спокойного дружеского тона. Доложил суть дела и в заключение обратился ко мне:

"Собранию, Виктор, интересно знать, как ты сам расцениваешь свой поступок?"

Это было так сказано, что на мгновение у меня мелькнула мысль: "Может, все и обойдется!" Я начал объяснять, что вовсе не имел в виду бежать от командира и тем более дезертировать...

"А нас не интересует, что вы имели в виду!" — услышал я из зала, но даже не успел заметить, кто именно выкрикнул, как из президиума вмешалась Зивочка Циперсон и потребовала, чтобы я говорил по существу.

Не понимая, что они от меня хотят, я сказал, что был очень жаркий день, и мы всем отделением решили пойти на пруд искупаться. С Чукчей, конечно, получилось нехорошо, но разве логично из-за этого обвинять меня в трусости и дезертирстве.

"А ты, Виктор, не учи нас логике, — поднялся Боровский. — Мы ее сами проходили"

"Но я же должен что-то объяснить..."

"Хватит, он не искренен!" — неслись голоса из зала. Даже слова мне бросались те же, что еще недавно употреблял я сам.

Когда я кончил, поднялся Боровский и сказал, что собрание не удовлетворено выступлением товарища Перельмана (впервые в жизни он назвал меня по фамилии) и требует, чтобы я дал политическую оценку своему поведению. Это был уже лексикон Федора Михайловича Бутова. Я хотел что-то ответить, но в президиуме снова вскочила Зивочка Циперсон, вскинула вверх свое покрасневшее личико и сказала, что она до того возмущена моим поведением, что вообще не находит слов и вносит предложение исключить меня из комсомола. "Мы не можем дольше этого терпеть, — устрашающе звенел ее голосок, — понимаете, товарищи, не можем!"

Зал замер. Со всех сторон на меня смотрели холодные, отчужденные лица. Одно неудачное слово — и меня разорвут в клочья.

"Ну, так как, Виктор, ты что-нибудь скажешь своим товарищам?" —

услышал я снова голос Боровского в замершем зале.

"Да, скажу!" И я стал говорить, что, оказавшись в военном лагере, проявил малодушие и трусость и допустил политическую близорукость, и что сейчас мне стыдно смотреть в глаза своим товарищам. Но если они все же поверят мне и оставят в комсомоле, то я не пожалею сил смыть с себя это грязное пятно.

Я презирал себя, но мне казалось, что нет другого выхода.

Я не знал тогда, что пройдет еще несколько лет, и жизнь меня снова поставит в подобную ситуацию, разве лишь опасность будет на этот раз серьезнее. За один из своих фельетонов, опубликованных в газете "Труд", я, уже будучи кандидатом КПСС, предстану перед высшим партийным судом — Комитетом партийного контроля при ЦК КПСС. Сам председатель КПК Шверник будет требовать от меня того же — политической оценки своего поступка, то есть, чтобы, утратив чувство собственного достоинства, я бил себя в грудь и черное называл белым. Шверник будет говорить, что я ничего не понял и что мне вообще не место в партии, но на этот раз я уже не изменю себе, как тогда, на комсомольском собрании в институте.

Мне вlepили строгий выговор с предупреждением. Главным пунктом обвинения была моя политическая незрелость, проявленная в условиях военного лагеря. Казалось, что вся жизнь теперь пойдет прахом.

В институте только и говорили о распределении — кого куда пошлют, кому какую дадут работу. А на что мог рассчитывать я со своей политической незрелостью?

К тому же мне не было присвоено офицерского звания. Все стали младшими лейтенантами запаса. В моей учетной карточке было записано: "офицер пехоты без звания". Это значило, что в любой момент меня могут призвать в армию, а уж в военный лагерь уйду обязательно.

Но ни в армию, ни в военный лагерь я не угодил. Из военкомата мне в течение нескольких лет слали грозные повестки явиться на переучет со всеми документами и каждый раз там качали головами, не зная, что со мной делать. У этих повесток была одна особенность: они появлялись всякий раз, когда меня обступали со всех сторон неприятности. Кончилось все весной 1958 года. Едва не вылетев из партии, я пятый месяц подряд безрезультатно искал работу. Формулировка партийного

выговора была такой, что впору было лезть в петлю. К тому же я потерпел крушение в любви. Тяжело заболел отец. Из-за какой-то ерунды сосед по

квартире, пенсионер и старый шизофреник Чекмарев подал на меня заявление в суд. Так вот, утром в день суда я обнаружил в почтовом ящике повестку в военкомат.

Третья часть, куда меня вызвали, представляла собой маленький темный закуток. В квадратное оконце была вмонтирована клеть, делающая закуток похожим на тюремную камеру. Сидевший за столом капитан даже не взглянул в мою сторону. Он кивнул на табуретку и стал молча листать мое дело. Станным голосом он не переставая повторял довольно странную фразу: "Так, так, Пилерман, понятно, Пилерман". Этот тип явно не предвещал ничего хорошего, и я вспомнил, как отец рассказывал, что НКВД предпочитал брать людей не дома, а либо в учреждениях, в кабинетах руководителей, либо в военкоматах. И в этот самый миг капитан, поднявшись во весь рост из-за стола, крикнул: "Встать!" Я опешил и подумал; "Все!"

"Товарищ Перельман, приказом министра обороны СССР за № 1466 вам присвоено звание младшего лейтенанта пехоты. Поздравляю!"

Назавтра мой шизофреник забрал заявление из суда, а еще через неделю я устроился наконец на работу в многотиражную газету "За рулем автомобиля". Отец пошел на поправку — словом, после длинной цепи неудач в жизни наступил просвет. Что же касается комсомольского строгача, то он был снят еще в институте. Помогла мне сама судьба — приближались выборы в Верховный Совет СССР, и на избирательном участке, который обслуживали агитаторы из Юридического института, баллотировался товарищ Сталин.

Накануне выборов нас собрали в актовом зале, и секретарь парткома Иванов сказал, что завтра весь институт будет держать политический экзамен. Первым показателем нашей работы, то есть работы агитаторов — среди которых был и я, — станет высокая гражданская активность трудящихся района.

Я до сих пор удивляюсь, как мои избиратели — жители одного из домов на Пресненском валу — не выгнали меня в три шеи, когда в их единственный воскресный день я заявился к ним в четверть восьмого утра. Без четверти восемь я доложил руководителям агитколлектива, что мои квартиры уже выполнили свой гражданский долг.

Кругом поздравляли, говорили, что теперь уж наверняка

106

с меня снимут выговор. К своему разочарованию, я занял на участке лишь второе место. Квартиры агитатора Мамута проявили еще большую

гражданскую активность и проголосовали в 7.30 утра. Впрочем, для этого у его избирателей были не менее веские причины, чем у моих. Леня Мамут намеревался подать заявление в аспирантуру и для этого должен был получить блестящую рекомендацию бюро ВЛКСМ. В аспирантуру Мамут не попал, а попал вместе со мной и другими нам подобными в список оставшихся без распределения.

## ПЕРЕД ЗАКРЫТЫМ ШЛАГБАУМОМ

...И вот сдан последний госэкзамен. На дворе великолепный майский день. В кабинете все того же Федора Михайловича Бутова заседает комиссия по распределению молодых специалистов. Те, кто ждет вызова, толпятся у дверей, обрушиваясь с вопросами на каждого, кто выходит из кабинета.

Я помню, как вместе со своим женихом Володей Орловым, тоже членом комсомольского бюро, стояла у дверей осунувшаяся от треволнений Зивочка Циперсон. О чем она думала? Возможно, о том, что оставила в институте кусок жизни и что, решая ее судьбу, не могут не принять это во внимание. Я лично больше всего боялся, что мне вспомнят военный лагерь и мою "политическую незрелость". Но никому из нас в те дни еще не могла прийти в голову мысль, что наши судьбы были предрешены задолго до распределения.

Еще недавно ходили слухи, что всех нас оставят работать в Москве, ведь столицу нужно укреплять кадрами с высшим образованием. В судебно-прокурорские органы пошлют проявивших себя на общественной работе, и не на последнем месте будет учеба и диплом с отличием. Такой диплом должен был получить и я. Как выяснилось, ничто подобное не интересовало комиссию, а единственно, что ее интересовало, — это анкета, точнее, ее "пятый пункт". Разумеется, в сорок седьмом году, когда набирали курс, столь решающую роль "пятого пункта" еще не предвидели. Поэтому процедура распределения явно напоминала распродажу с молотка уцененных вещей. Хоть покупатели и пришли на этот торг, но уж слишком неходовой товар им пытались всучить.

В кабинете Бутова сидели представители многих учреждений — от КГБ и Министерства иностранных дел до Госарбитража и адвокатуры. И все должны были "наторговать" себе хо-

роших специалистов. Таких скучных "торгов", вероятно, еще не знал мир.

Председатель комиссии зачитывал анкеты — Циперсон, Перельман, Гофштейн, Стерник... Надо отдать ему должное, что делал он это вполне добросовестно, подчеркивая интонацией достоинства каждого — участник Отечественной войны, член комсомольского бюро, закончил с дипломом с отличием.

Но имевшие на этот счет инструкции, представители организаций не проявляли ни малейшего интереса. Они позевывали, читали газеты, иногда выходили покурить. Для них все были равны. И принципиальная комсомолка и неутомимая общественница Циперсон вызывала у них ничуть не больше эмоций, чем политический недоросль и нарушитель воинской дисциплины Перельман.

Мне было сразу объявлено, что госкомиссия лишена возможности подобрать мне работу по специальности. Обрадованный, что не вспомнили лагерь, я быстренько подписал бумагу, что берусь найти для себя работу сам.

С такими, как Зивочка, было иначе. Кадровик Министерства просвещения, учитывая рекомендации общественности, любезно предлагал им Омск или Сахалин. После чего разыгрывалась сцена, напоминающая игру в поддавки. Молодой специалист начинал горячо объяснять, что в принципе он готов ехать туда, куда пошлет Родина, но ни Омска, ни Сахалина по таким-то причинам принять не может. А кадровик и не думал настаивать, чтобы выпускник ехал туда, куда пошлет Родина. Он, судя по всему, был даже рад такому повороту событий. И на столе появлялась все та же стандартная бумага, а именно, что товарищ такой-то берется подыскать для себя работу сам и никаких претензий к государственной комиссии не имеет.

Думаю, что ни одни торги мира не знали таких "изысканных", "рафинированных" запросов. Чтобы получить приличную работу, требовалось иметь не просто хорошую, но идеально чистую анкету.

Зивочкин жених Орлов имел все данные, чтобы идти на расхват, — участник войны, общественник, великолепно сдал экзамены. Как минимум, его ждала прокуратура Союза. Но незадолго до распределения отдел кадров установил, что фамилия матери Орлова была Гиндина. Это сразу же снизило его шансы. Вместо прокуратуры ему была предложена коллегия защитников города Калуги, куда вскоре и выехали молодожены Орловы. Он адвокат, а Зивочка — калужский нотариус.

Это были бурные дни, со слезами, с сердечными приступами, но,



конечно, и не без юмора. Чересчур уж рьяно изучала комиссия наши родословные и выискивала нечистых.

Выискала среди них стопроцентного славянина и весельчака Володю Виноградова. Я встретил его изрядно выпившего с горя, возле директорского кабинета. Увидев меня, он бросился навстречу:

"Нет, ты послушай, что творят! Читают анкету — полный ажур! Фамилия — Виноградов, имя — Владимир, отчество — Иванович. А работы для вас, Владимир Иванович, нету! Это почему, спрашиваю, нет? Для русского парня, думаю, чтоб работы не было. А вот нет, и все! А сейчас выпил, и осенило: отчим-то у меня Моисей Григорьевич был. Правда, умер восемь лет назад, а все равно Моисей Григорьевич! Царство ему небесное, хороший был человек, а какой сюрприз подстроил!"

Зато уж если человек был чист, перед таким распахивались все двери. Из-за нашего "лба" Волченкова на комиссии разгорелся целый сыр-бор; кому его заполучить. На него одновременно претендовали три ведомства — СОВМИН, КГБ и прокуратура Союза. Представитель аспирантуры и тот заявил, что, несмотря на недостаточно высокий уровень оценок, Волченков может быть допущен до экзаменов и, следовательно, может войти в мир науки. Так что, какими бы скучными и вялыми ни были торги, "настоящий товар" не залеживался.

На двери бутовского кабинета висело два списка. В первом, сравнительно небольшом, — против каждой фамилии стояло "да". Это означало: "согласен с назначением и получил работу" — в этом списке были русские. Во втором, очень длинном, стояло "нет", то есть не согласен и остался без распределения. В этом — были евреи.

И все наши страсти, борьба, мечтания — все вдруг оказалось ничего не значащим и никому не нужным перед этими двумя списками, перед этим "да" и "нет". Уже тогда они звучали как символ нашего будущего: открыт шлагбаум, закрыт шлагбаум! Это было главным. Все остальное — детали. Но потребовались десятилетия, чтобы не только понять, но каждой клеточкой почувствовать эту истину. Как в детской игре "да и нет не говорите", этого не произносили вслух, но всегда имели в виду те, кто открывает шлагбаум.

... Вот сидим спустя 20 лет в ресторане "Метрополь" — судьи, прокуроры, адвокаты, литераторы, выпускники МЮИ 1951 года.

Заместитель прокурора республики генерал Клочков галантно ухаживает за адвокатессой Зивой Циперсон, а сам Орлов, по матери

Гиндин, сидит с совершенно седым уже нашим "лбом" Волченковым.

Все здесь друзья-приятели, съехавшиеся в столицу, чтобы, быть может, в последний раз повидаться, вспомнить молодость. Выпиты первые рюмки, и слышу из-за спины знакомые речи.

"Как там, у вас на Украине, с "пятым пунктом", бьют жидов?"

"А то как же, на том стоим!"

Обоих знаю в лицо, да вот забыл фамилии. Одного, кажется, Аркашка Квитковский, другого, хоть убейте, не помню. А вот еще голос и над самым ухом: "Говорят, на весну еще три процесса намечают: в Кишиневе, Одессе и Риге, не слышал?"

Боже, как будто и не прошло двадцати лет!

Справа от меня сидит Кленов. С ним наши пути уже давно разошлись. Ему ничего не надо говорить, за него говорят его грустные, бархатные глаза все с теми же длинными ресницами.

"Что, Виктор Борисович, стареем", — улыбается он мне. Кленов, как всегда, старается выглядеть оптимистом, точь-в-точь таким, каким был 20 лет назад, в мае 1951 года.

На комиссию по распределению он вошел впереди меня и вышел, как всегда, веселый и самоуверенный.

"Ну, как Юрий Михайлович?"

"Плевали мы на них, Виктор Борисович, с Эйфелевой башни, пока батька жив, плевали".

Знал бы он, как кощунствует, говоря с эдакой легкостью о жизни отца, которому с того дня осталось жить немногим более месяца.

Задолго до дня распределения сына подполковник КГБ в отставке Соловейчик-Кленов начал обходить знакомых генералов на Лубянке с просьбой куда-нибудь пристроить сына, оканчивающего Юридический институт. Можно представить, что пережил старый чекист на этих аудиенциях.

Думаю, что этого наивного шестидесятилетнего ребенка что-то роднило с Зивочкой Циперсон, да и со всеми нами, готовыми лбом прошибать закрытые шлагбаумы.

Через месяц после распределения сына Михаил Яковлевич свалился с тяжелейшим инфарктом.

На могиле его товарищи чекисты говорили о нем прекрас-

110

ные слова и клялись, что не оставят его сына без помощи. Но кончилось тем, что Кленов, отчаявшись найти в Москве работу, с величайшим трудом

выхлопотал себе Коношский район Архангельской области и, оставив в Москве одинокую старуху мать, протрубил там почти три с половиной года.

С тех пор утекло немало воды. Сейчас Кленов литератор, хоть и не такой удачливый, как бессмертный Конан-Дойль. Стал он главой семейства, выпустил три книги, но ходит, как и в годы молодости, в долгах, как в шелках.

Да, за 20 лет иные неплохо устроились. Иные даже пробили лбом шлагбаумы. Но не мог я отвязаться от мысли, что живут эти шлагбаумы внутри каждого из нас.

Генерал Ключков поднимает тост за институт, за нашу работу. Все встают, чокаются. И замдиректора почтового ящика Волченков, не выдержав, горланит на весь хрустальный зал; "Гип-гип, ура!"

"Ура!" — слышу сильный голос Зивочки Циперсон.

"Их вейс, ура так ура", — это уже Паша Зак со своим вечным скептицизмом.

Мы стоим рядом — я, Паша и Кленов.

"Что, братцы, как говорили в старину, лехаем, бояре!" — улыбается пьяный Кленов.

"Лехаем", — отвечаю я. Мы чокаемся, и вечер как ни в чем не бывало идет дальше.

## БУХГАЛТЕР-ГИПНОТИЗЕР

От Москвы до Уваровки — 140 километров. Станция Уваровка — на западной границе Московской области. Даже когда едешь скорым "Москва-Брест" — дорога занимает почти четыре часа. Но так, если ехать до Бреста, да еще в мягком или купейном вагоне с радиоточкой и настольной лампой с уютным красным абажуром. А если поезд только до Уваровки, с мешочниками и молочниками, то кажется, нет дороге конца, и пока доплетешься до Уваровки, можно обдумать всю свою жизнь.

В Уваровку еду по специальному заданию Управления по делам полиграфической промышленности, издательств и книжной торговли при Мособлисполкоме, где уже пятый месяц работаю главным ревизором. Так совершенно конфиденциально я изложил ситуацию Кростошевским.

111

У них я провел перед отъездом вечер. При словах "специальное задание" даже в насмешливом Нокином лице проснулось что-то

уважительное. На ее день рождения съехалась масса гостей, и я, как обычно, в центре внимания, а Лилия Адольфовна — в своем репертуаре. Теперь ей уже не к чему возвышать моих родителей, теперь я уже сам — фигура, и, сидя на другом конце стола, она не перестает мучить меня вопросами.

— Так сколько у тебя предприятий, сколько?

— Около ста тридцати, — не моргнув глазом отвечаю я.

— И крупные предприятия?

— Во всяком случае, не маленькие — 65 редакций и 63 типографии.

— Вот это я понимаю! — со значением смотрит она на дочерей.

Нока сегодня очаровательна как никогда. Она в декольтированном платье и похожа на Марину Мнишек из кинофильма "Богдан Хмельницкий". Но вот на ее лице вновь появляется безразличие — мои сто тридцать предприятий ее волнуют не больше, чем законы Хаммураби.

— Что ты сидишь, как я не знаю кто. Положи ему рыбы, положи, он же уедет голодный!.. И любого директора можешь снять?

— Снять, конечно, не снять, но поставить вопрос могу о любом.

И вообще я многое могу. Мне ведь только двадцать два года. А я окончил уже Юридический институт и через год окончу еще один — Полиграфический. Могу стать Плевако, Грузенбергом. Могу вырасти в крупного политического деятеля. Буду ездить за границу. Конечно, евреям сейчас не дают хода, но это явление временное, все изменится, и я займу свое место в жизни.

— Следующая Уваровка! Эй, друг ситный, вставай! — проводница безжалостно дергает меня за плечо, а я никак не могу взять в толк, что друг ситный — это я, главный ревизор Управления (название которого этой проводнице никогда не выговорить), сладко задремавший перед самой Уваровкой. На улице — ноябрь, дождь со снегом, и вылезать в этой Уваровке у меня нет никакого желания. Но надо — назвался груздем — полезай в кузов, а в данной ситуации долг превыше всего.

Как выясняется, Уваровка — даже не станция, а полустанок. Облепленный мокрым снегом, стою я на грязной платформе.

112

Куда идти? Времени уже второй час. В Дом колхозника не пустят — поздно! Спускаюсь с платформы и, вымесив метров пятьсот по жирной и ржавой жиже, стою у деревянной хибары. У входа в хибару — дощатый порожек, а над порошком — вывеска с названием моей ответственной организации — "Управление по делам..." и так далее, а чуть ниже —

редакция Уваровской районной газеты. Одно из ста тридцати подведомственных мне учреждений. Долго стучу, пока где-то внутри не просыпается недовольный и сонный бас:

— Какой еще ревизор? Завтра приходи, нам пускать никого не велено.

Так и ушел не солоно хлебавши на полустанок и приткнулся на скамеечке. Одна только радость, что было три часа ночи и до утра оставалось совсем ничего.

Я запомнил эту ночь, потому что это была первая моя ревизия. Ревизия — это, конечно, не первый бой, и не первый процесс в суде, и даже не первая заметка в газете "Труд".

Впрочем, все зависит от мироощущения. Когда на лекции по судебной психиатрии я впервые услышал, что Павлов подразделил людей на "мыслителей" и "художников", то про себя тотчас решил, что я — мыслитель. Скептик и мыслитель, а не какой-то там наивный художник и мечтатель. Сейчас эта бескомпромиссность вызывает у меня веселую улыбку. Видно, человек всегда тяготеет к тому, что не дано ему судьбой.

Физиков, проникающих в тайны микромира, прельщает ампула поэтов и журналистов. Горбатые уродцы жаждут нравиться женщинам и выглядеть неотразимыми донжуанами. Я уже выше писал, что в "мыслителя" и скептика меня превратила жизнь — да и то я не уверен, что до конца. Что же касается юности, то я всегда был тем самым мечтателем, которого презирал с первой лекции по судебной психиатрии, если угодно — даже романтиком, но только не в газетном, а в другом понимании этого слова.

Был я им, когда в майские вечера сорок пятого года, растянувшись на траве возле дачи Крыловых, пялил с восторгом глаза на быковские звезды и слушал, как Сендах читал Пастернака. И когда на кленовской кухоньке кипятили кофе, чтобы, не дай Бог, не задремать, и писали обращение к братьям-корейцам. И когда в старом отцовском полушубке ехал на станцию Уваровка в ампула главного ревизора, которого даже не пустили переночевать в "ревизуемом объекте".

Говорят, что романтики — это люди, оторванные от жизни.

113

Жить бы таким не на грешной земле, а в заоблачных кущах, среди порхающих херувимов и прочей певчей братии. На романтиков явно клеветают, ибо они-то — самые что ни на есть земные люди. Романтиком был Валя Ивкер (несколько лет назад затравленный коллегами по тамбовской прокуратуре, он покончил жизнь самоубийством), когда в



страшные годы космополитизма, счастливый и праздничный, выходил он танцевать фрейлехс, обняв двумя пальчиками лацканы пиджака. Романтиком был скептик и мыслитель профессор Гурвич; и тетя Рахиль, угощавшая нас варениками в городе Биробиджане, тоже, в сущности, была из нашей братии.

Романтики — это те, кто умеет радоваться и хохмить, когда дела становятся уже совсем никуда, и кто умеет делать хорошую мину при плохой игре, ведь плохо играют они не по своей воле. И еще это тот, кто в трудный момент умеет немного приподняться над прозой жизни и, например, назвать себя главным ревизором бог весть какого управления, когда он всего лишь маленький бухгалтер-ревизор маленькой областной конторы "Мособлполиграфиздат".

Но тогда я действительно верил, что являюсь фигурой. 63 типографии были какой-никакой полиграфической промышленностью, а 65 редакций при некотором воображении можно было вполне назвать издательствами.

Как и полагалось важному Управлению, мы размещались в самом центре, на углу Манежа и улицы Горького, и имели даже общий вход с бывшим театром Ермоловой. Пойдешь прямо — попадешь в театральный вестибюль. Свернешь налево — окажешься в длинном коридоре. Первая дверь — предбанник с кабинетом для руководства, две последующие вели в само Управление, то есть в две длинные и заставленные столами комнаты. Столы стояли параллельно и перпендикулярно друг другу, и везде сидели сотрудники числом в восемнадцать человек.

В каждой из комнат было свое начальство. В первой — начальник планового отдела Леонид Карлович Дефье, во второй — главный бухгалтер Лазарь Михайлович Гольдберг.

Леониду Карловичу было под семьдесят. У него был мощный пористый нос. Говорили, что в молодости его укусил тарантул. Но его сотрудники утверждали, что тарантул тут ни при чем, просто Дефье всю жизнь был не дурак выпить.

114

В отличие от Леонида Карловича, Лазарю Михайловичу было уже давно за семьдесят, и внешне он был чем-то похож на престарелого Оноре де Бальзака. Но, в отличие от гениального француза, обладавшего редкой бодростью духа и чудовищной трудоспособностью, с Лазарем Михайловичем случалось, что в разгар рабочего дня он, погрузившись в баланс, начинал клевать носом, прямо с недокуренной папирсой в зубах.

Пребывать в объятиях Морфея Лазарю Михайловичу обычно не

давала его заместительница Александра Дмитриевна. Она была старой девой, выкуривала две пачки "Беломора" в день и плела бесконечные интриги против своего соседа по комнате, ретушера Абрамовича. Сам Абрамович был грузный седовласый человек, обремененный, в отличие от Александры Дмитриевны, большой семьей и вечно заваленный работой, поступавшей к нему из всех 65 редакций Московской области.

Склонившись над горой фотографий, он на всю комнату рассказывал анекдоты, длинные и не очень смешные. Дело обычно происходило в Киеве или Одессе, где он некогда работал репортером. К его длинным и несмешным анекдотам в нашей комнате все уже давно привыкли, как привыкли к появлению в дни зарплаты сына Абрамовича с его маленьким горластым внуком.

Несмотря на все запреты деда, внук считал своим долгом сразу же после своего появления взбираться на стол к Александре Дмитриевне. Александра Дмитриевна положительно не переваривала Абрамовича и всякий раз, когда он открывал форточку, подлетала к главбуху и возмущалась:

— Лазарь Михайлович, да что же такое делается?

— А что такое делается? — громко сопел Лазарь Михайлович.

— Мы же все схватим крупозное воспаление легких!

— И что вы хотите, чтобы я сделал?

— Да хоть поговорите, черт возьми, с товарищем Абрамовичем, как старший по должности.

— Хорошо, поговорю, — сопел Лазарь Михайлович, придвигая ближе к себе баланс.

— Черт знает что, — продолжала возмущаться Александра Дмитриевна.

Время от времени в епархии Лазаря Михайловича появлялась еще одна личность — многодетный отец и младший бухгалтер — ревизор Лисин. Большую часть времени он пропадал

115

в области. Из районов возвращался вечно небритый, зачуханный и первое, что делал, — это клал акт ревизии на стол Александре Дмитриевне.

Она читала, но довольно скоро не выдерживала:

— Иван Ксенофонтович, что же вы здесь пишете: "Сделали перерасчет"? Когда сделали?

— Надысь...

— Что надысь?

— Перерасчет надясь сделали.

— Лазарь Михайлович, вы что-нибудь понимаете, что он говорит? — взрывалась Александра Дмитриевна.

— А что вы хотите, чтобы я понял? — сопел Лазарь Михайлович.

— Ничего, черт возьми, не хочу, — кричала Александра Дмитриевна и убежала прочь.

Что же касается взаимоотношений Леонида Карловича и Лазаря Михайловича, то между ними в принципе царил мир, и их единственным яблоком раздора была благосклонность начальства. Начальника они страшно ревновали друг к другу, и он поочередно выдавал на орехи то одному, то другому. Если плановик засиживался у начальства, то у главбуха обычно тут же находились дела, и если начальство просило его подождать, то он уже не находил себе места.

— Черт знает что! С этим Дефье не решишь ни одного вопроса.

Теперь у Лазаря Михайловича появился еще один подчиненный. Этим подчиненным был я, назначенный на должность бухгалтера-ревизора с окладом 790 рублей в старых деньгах.

Я сидел за роскошным старинным бюро с задвигающейся гофрированной крышкой. Бюро стояло перпендикулярно к столу Александры Дмитриевны и параллельно столу ретушера Абрамовича.

Когда крышка поднималась, это был обычный канцелярский стол, но когда задвигалась, он напоминал старинный клавесин, выполненный в стиле ампира, и необыкновенно облагораживал своим присутствием окружающую обстановку.

Перед тем как занять свое место за клавесином, я был принят начальством, которому меня в качестве молодого и талантливого юриста рекомендовал старый товарищ отца, ответственный работник Госконтроля, Сергей Иванович Соловьев.

Фамилия начальства была Зенин, имя и отчество — Михаил

116

Петрович. Внешне начальство напоминало шарик и было само воплощение добродушия. В подведомственных предприятиях звали его не Михаил Петрович, а Михала Петрович. Так вот после долгих и бесплодных поисков работы я и предстал перед светлым ликом Михалы Петровича, начертавшего тут же яркую программу моей будущей деятельности в Управлении.

— Мне Сергей Иванович говорил, что вы, понимаете или нет, юрист. Но нам юрист, как го-рится, не нужен, не трэ-ба. Ни с кем не конфликтуем

и конфликтовать не собираемся.

Михала Петрович долго смотрел на меня испытующим взглядом и наконец спросил:

— Ты вот что скажи, приказы писать умеешь? А то у нас есть один бухгалтер-ревизор — горе-горькое. Нюх у него собачий, а слог телячий, не знает, что предложение состоит из подлежащего и сказуемого. Лепит все подряд. За ним грамотный товарищ нужен, чтобы его китайскую муру переводил на русский язык.

Короче, стал я главным грамотеем при младшем бухгалтере-ревизоре Лисине и довольно скоро научился переводить его китайскую муру на "поэтический" язык управленческих приказов. Правда, я мечтал о другом, но все же это было лучше, чем ничего, и когда я встречал своих безработных сокурсников, то с удовольствием думал, что не такой уж я невезучий.

Однажды на улице я столкнулся нос к носу с Пашей Заком. Я рассказал ему, где работаю. Он смотрел на меня такими глазами, будто мне удалось вспорхнуть на небо, а он, бедняга, остался все на той же несчастной и грешной земле.

— А тебе там еще одного ревизора не нужно?

— Нет, Паша, еще одного не нужно. К сожалению, весь ревизорский аппарат укомплектован.

После бурь и встрясок, пережитых в МЮИ, склоки Александры Дмитриевны и ретушера Абрамовича казались мне благоговейным журчанием. Я писал ревизорские приказы и радовался своей тихой заводи, пока в один прекрасный день меня не вызвал Михала Петрович и не сказал, что для его Управления слишком накладно держать грамотея, даже такого образованного, как я, на ставке 790 рублей.

— Не желаете ли, молодой человек, попробовать силы на ревизорском поприще?

Делая хорошую мину, я теперь должен был хоть как-то

117

сыграть и свою игру. Одно дело — ученый грамотей, стать им не велика была хитрость для выпускника Юридического института. Другое — бухгалтер-ревизор, человек из области, которая никогда не была моей стихией.

Странную штуку сыграла со мной жизнь. В школе мне плохо давалась математика. Я не пошел в технический вуз, поскольку считал себя прирожденным гуманитарием. Но, окончив Юридический институт,

оказался во власти ненавистных мне цифр. Избавившись от дифференциальных уравнений и сопромата, я вынужден был по уши погрузиться в дебет и кредиты. От них у меня воротило скулы еще в институте, когда на третьем курсе я вынужден был сдавать бухгалтерский учет. И, просидев 5 месяцев за своим "клавесином" и только слыша, как Александра Дмитриевна в перерывах между интригами с Абрамовичем что-то "дебетовала" и "кредитовала", я мало продвинулся вперед в области бухгалтерской науки. Не оттого что я был сноб и не желал продвинуться, отнюдь! Просто у каждого человека в жизни может что-то не получаться, как бы он к этому ни стремился. Когда я брал в руки конторские счета, пытаюсь перебрасывать костяшки, пальцы мои становились анемичными и на лице, кажется, появлялось выражение, которое в детстве обычно пробуждала нянька, тыкая мне в рот ложку с рыбьим жиром.

Словом, переступая порог уваровской редакции, я не заблуждался по поводу той щекотливой ситуации, в которой мне предстояло оказаться в силу врожденного неприятия бухгалтерской науки.

Перед отъездом мой подчиненный Лисин меня инструктировал:

— Перво-наперво сочтешь кассу, — чтобы недостачи не было. А после возьмишь счета и пойдешь по статьям баланса, "гонорар", "канцелярские" и проч.

Следуя этой инструкции, я с грозным лицом вошел в бухгалтерию и, предъявив удостоверение, сухо отрубил:

— Касса! Прошу предъявить кассу!

Бухгалтерша, уже немолодая, с умученным лицом женщина, открыла несгораемый ящик и стала считать. "Наверное, дома у нее куча детей, и все режут, и все живут, наверняка, впятером в одной комнате". Но мне до этого нет дела. Я — ревизор, и меня интересует пока только касса, а в кассе у нее недостача около пяти рублей. Она объяснила, что деньги взял

118

редактор на поездку в колхоз. Но и это меня не интересовало: недостача есть недостача!

— Теперь займемся балансом, — сказал я уже не таким уверенным голосом.

Бухгалтерша услужливо положила передо мной баланс и... к самому носу придвинула счета.

— Это мне не нужно, — резко отодвинул я счета. — Считать будете сами. Надеюсь, что могу вам довериться...

Я взял баланс и стал называть ей цифры. Она откладывала их на



счетах, а я не спускал с нее глаз, следя за каждым движением ее пальцев. И всем своим видом показывал, что, конечно, я ей доверяю и не унижусь до того, чтобы самому взять в руки счета, но не дай Бог ей использовать мое доверие во зло. А она, молниеносно орудуя костяшками, боялась оторвать от них глаз, чтобы ревизор не подумал что-нибудь худого.

Лишь один раз она окинула меня странным взглядом — это когда я взял авторучку и построил цифры, которые она откладывала на счетах, в столбик.

— Да вам же легче на этом, — снова подвинула она мне счета.

— Я же сказал, что этого мне не нужно, — метнул я на нее грозный взгляд. После этого она уже не решалась давать мне советы.

Из Уваровки я вывез не только акт о финансовых нарушениях на четырнадцать страницах, но и в некотором смысле новый метод финансовых ревизий, когда под неотрывным взглядом ревизора ревизуемое лицо само выявляет нарушения в своей работе.

Разумеется, этот метод был хорош при умении психологически воздействовать на это лицо. Я считал, что такими способностями обладаю. Как-то летом на даче я увлекся гипнозом и провел несколько опытов с соседними мальчишками и девчонками. Усыпляя, я затем заставлял их убивать на себе мух, крутить педали и даже чувствовать себя скрипачами и исполнять по моему приказу в воздухе музыкальные экспромты. Я был безмерно горд, что открыл в себе это дарование. Оно приводило Нелю и Элю в неопишуемый восторг и позволило мне в их поэтическом салоне обрести свое нетривиальное лицо — лицо гипнотизера.

119

## **КАК Я РЕДАКТИРОВАЛ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ГАЗЕТУ**

Довольно скоро мне это надоело, но теперь, когда жизнь заставила меня стать ревизором, я не мог не вспомнить о своих способностях. Что-то во мне было, если я заставлял людей среди бела дня засыпать и послушно повиноваться моим командам.

Почему же это данное мне от Бога "что-то" не использовать для дела?

Разумеется, на счетах я считать научился. И в балансах стал разбираться. Но от гипноза все же не отказался, пребывая в уверенности, что психология ревизору нужна не меньше, чем бухгалтерия.

Вот так и уподобился я герою рассказа Марка Твена "Как я редактировал сельскохозяйственную газету". Но у Твена была невинная

юмореска, а я методы твеновского редактора умудрился перенести в живую жизнь.

Безнравственно заниматься делом, которого не знаешь, и тем более аморально морочить людям голову с помощью каких-то сомнительных методов, вроде моего гипноза. Но нравственные оценки вещь весьма относительная. Человеческие пороки проистекают из окружающей жизни. Перед тем как стать столь ответственным ревизором столь важного Управления, я четыре месяца искал работу по специальности.

Искал я ее и после того, как сел за свой персональный "клавесин", пока жизнь не столкнула меня с товарищем Юдкиным. О его существовании я узнал все от того же Еравского, когда-то подвигнувшего нас с Кленовым на письмо братьям-корейцам.

Как и в тот раз, я встретил Еравского на улице Горького, и он совершенно конфиденциально сообщил, что заведующий отделом писем газеты "Труд" Юдкин набирает юристов и, что самое удивительное, берет даже с "пятым пунктом".

Разумеется, после истории с братьями-корейцами я на любую информацию Еравского смотрел скептически. Но поскольку от площади Моссовета, где мы встретились, до площади Пушкина, где находилась редакция "Труда", было всего десять минут хода, я решил рискнуть и испытать судьбу.

120

К моему удивлению, Юдкин, выглядевший очень солидным и респектабельным человеком, встретил меня с неподдельным интересом. Пригласив к себе в кабинет, он усадил меня в великолепное кожаное кресло и с тем же неослабевающим интересом стал выспрашивать, интересуется ли меня трудовое право и как бы я отнесся к его предложению поработать в газете "Труд".

После дремучих хамов из отдела кадров, которые в лучшем случае могли лишь буркнуть "позвоните завтра", Юдкин казался человеком из сказки.

— Только одно меня смущает, — сказал он в конце беседы ( на миг у меня сжалось сердце), — достаточно ли хорошо вы знакомы с экономической географией СССР. Для нас это очень важно. Придет, например, запрос из Кузбасса или Кривого Рога, а вам, чтобы ответить, надо знать, какая там развита промышленность.

Я сказал, что по географии у меня всегда была пятерка, но если надо, то я готов проштудировать дополнительно.

— Вот и отлично, — сказал Юдкин.

Наутро, окрыленный надеждой, я вручил ему свою автобиографию и личный листок по учету кадров.

— По всем объективным данным вы подходите, — сказал он, ознакомившись с документами. Слова его звучали для меня как музыка. "Прощайте, Михала Петрович, с вашей грамотейской работенкой и с вашим пыльным клавесином".

Когда я позвонил еще спустя день, Юдкин сказал, что со мной все в порядке, он уже доложил обо мне начальству.

— Звоните во вторник, а в среду выйдете на работу.

До вторника я жил, как на крыльях, но во вторник, когда позвонил Юдкину, рухнул наземь, как подстреленный сокол. Я даже не услышал привычного для меня отказа. Просто сообщили, что товарищ Юдкин в газете "Труд" со вчерашнего дня не работает.

Я больше никогда его не видел, но, встречая время от времени своих сокурсников, узнавал, как многие едва не стали сотрудниками товарища Юдкина, о котором по Москве еще долго ходили веселые легенды.

Ни один из дремучих кадровиков не мог мне так отбить охоту к поискам работы по специальности, как это сделал человек из легенды товарищ Юдкин.

Я вдруг обрел покой и каждое утро преспокойно усажи-

121

вался за свой "клавесин". Впрочем, это мне только казалось, что я обрел покой. В душе по-прежнему жила жажда деятельности, которая вспыхнула с особой силой после того, как я стал ездить по районам.

Даже маленькие районные газетки, которые только писали о том, где и сколько убрали хлеба, надоили молока, — и те вдруг засветились для меня нежным поэтическим светом. Сколько раз, сидя в маленьких бухгалтерских закутках, обложившись балансами и кассовыми ордерами, я с завистью смотрел на их сотрудников. Едва умея связать пару слов, они шумно суетились в своих комнатухах и гордо называли себя газетчиками.

На каждый мой вопрос, почему за что-то заплатили такой гонорар, а не такой, следовало любезное разъяснение, что все зависит от жанра. Де, мол, фельетон — это не передовица, а передовица — это не информашка. И вместе с разъяснением — иронический взгляд, от него во мне все переворачивалось: "Мол, что ты можешь понять, конторская крыса, в творческой работе, сиди и командуй бухгалтершей, а в наши

журналистские дела лучше тебе не совать свой нос".

Что мне было ответить? Что в свои 22 года я не меньше, чем они, презираю конторских крыс и оказался в их стане далеко не по своему желанию? Что я изучал латынь, римское частное право и к тому же я кончаю второй институт и мог бы стать газетчиком ничуть не хуже, чем они? Что только в силу не зависящих от меня обстоятельств, я вынужден ездить по этим газетенкам и, как Плюшкин, высчитывать их гонорарные крохи?

Ничего подобного, разумеется, не мог я ответить, а мог лишь все это переживать в себе.

Думаю, что и Марк Твен был бы более снисходителен к своему герою, если бы его силой заставили редактировать сельскохозяйственную газету и не оставили при этом никакой альтернативы — или редактируй, или иди на все четыре стороны и подымай с голоду. Возможно, он бы даже простил своему герою, если бы тот от безысходности стал использовать при редактировании своего сельхозоргана что-нибудь вроде моего дурацкого гипноза.

К тому же за этот грех жизнь рассчитается со мной сполна, но произойдет это в начале 1953 года, когда меня неминуемо ждала решетка, и только смерть великого вождя и учителя избавила меня от нее.

122

Весь 1953 год я ездил по районам Московской области и проводил ревизии в редакциях районных газет. Работа была спокойная. К зарплате приплюсовывались командировочные. Если я ночевал не в гостиницах, а в самих редакциях, то набегала прибавка рублей триста-четырееста в месяц.

В мире между тем все более накалялась обстановка. Газеты неустанно трубили о борьбе двух лагерей, о происках империализма и международного сионизма.

Моя жизнь теперь протекала как бы в двух измерениях. Одно — это бурлящая, страшная, переполненная ненавистью, но освещенная "гением Сталина" Россия. Повсюду действовали щупальцы международной сионистской организации "Джойнт". Газеты призывали к бдительности и публиковали на своих страницах фельетоны, из которых вырисовывалась "монументальная панорама" советского общества тех дней. Повсюду действовали проходимцы с еврейскими фамилиями. Комбинаторы, мздоимцы, мошенники, скупщики краденого, они появлялись везде, где руководители теряли бдительность. Эта кампания обрела особенно широкий размах после ареста органами государственной безопасности

"группы врачей-убийц" в январе 1953 года.

Газеты публиковали письма читателей, со слезами благодарности они обращались к простой русской женщине врачу Лидии Тимашук. И рядом печатались черносотенные фельетоны, разжигающие низменные инстинкты людей.

Сюжет фельетонов один и тот же: некто Абрам Натанович Хайкин или некая Роговая-Левицкая обводят вокруг пальца простодушных ротозеев — некоего Ивана Ивановича или Ивана Петровича.

Не составляло труда разгадать, какие ассоциации это должно было вызвать. Ведь евреи исстари обирали, сосали кровь русского человека. Именно в этом их обвиняли достойные сыны Союзов русского народа и Михаила Архангела. Правда, идейная платформа этих союзов теперь выступала в иной фразеологии и с учетом времени и сталинской бескомпромиссности была несколько модифицирована — газеты призывали не только решительно покончить с орудовавшими повсюду евреями-дельцами и комбинаторами, но и обрушиться против преступных ротозеев, под крылышком которых вольготно живет тайным и явным агентам "Джойнта". Становилось не-

123

безопасным не только принимать, но и держать на работе евреев. Таким было одно измерение, в котором я жил.

Другое — мой "клавесин" и мое областное Управление, имеющее общий вход с бывшим театром Ермоловой. В громадном бурлящем океане, где все ходило ходуном, то было крошечное мирное болотце, в котором журчала своя тихая канцелярская жизнь. Ровно к десяти приходили на работу и усаживались за свои столы и бюро. Составляли разнарядки, собирали отчеты, проверяли балансы и техпромфинпланы. В полвторого обычно включали электроплитку и пили чай — одни с бутербродами, как Леонид Карлович, другие — с бубликами и ванильными сухарями, как Лазарь Михайлович.

В шесть тридцать запирали столы и шли домой. Здесь не было ни русских, ни евреев, ни сионистов из организации "Джойнт", ни их тайных и явных агентов, а была лишь Александра Дмитриевна, плетущая интриги против ретушера Абрамовича, было тихое соперничество между Лазарем Михайловичем и Леонидом Карловичем за то, кому меньше достанется на орехи от Михалы Петровича.

Было даже странно, что в 1953 году в самом центре Москвы могла существовать такая тихая и безоблачная жизнь. Но в одном я определенно



ошибался — полагая, что в этой канцелярии нет русских и евреев. Были и те и другие, только понял я это несколько позже.

Когда началось дело Сланского, Леонид Карлович, держа свежую газету в руках, подплыл к бюро главбуха и сказал:

— Слышали, Лазарь Михайлович, новости, в Чехословакии самого генерального секретаря ЦК за одно место взяли...

— Да, дела... — только и ответил Лазарь Михайлович. Совсем как у Островского — "Султан Махмуд Персидский пошел войной на "Султана Махмуда Турецкого".

Но слишком яростно все бурлило вокруг, чтобы болотце оставалось неподвижным, и пришел день, когда зашевелилось и оно.

Как-то меня вызвал Михала Петрович и сказал, чтобы я собирался в Орехово-Зуево. Там состоится суд над редактором орехово-зуевской газеты Бершадским. Михалу Петровича вызывают как свидетеля, а я должен предъявить от имени Управления гражданский иск.

Среди 65 редакторов районных газет Бершадский был единственный еврей, и все началось с того, что Михалу Петровичу

124

позвонили из орехово-зуевского горкома и сообщили, что редактор снят за финансовые злоупотребления и махинации.

На суде выяснилось, в чем заключались злоупотребления. Бершадский, возомнивший себя, как сказал прокурор, маленьким хозяйчиком, доплачивал по триста рублей счетоводу из гонорарного фонда. Кроме того, свидетели показали, что Бершадский любил пожить на широкую ногу, что на столе у него стоял боржом, а иногда появлялись бутерброды с колбасой и сыром. Из показаний свидетелей должен был вырасти образ холеного барина, избалованного жизнью. Но образ этот никак не уживался с сидящим на первой скамье сутуловатым человеком с живыми карими глазами.

Позади Бершадского расположились его жена и двое маленьких сыновей. Зал был набит любопытными, пришедшими со всего города посмотреть, как будут судить редактора.

Прокурор в обвинительной речи сказал, что Бершадский вел себя с вызывающим нахальством — виновным себя не признавал и имел еще наглость сослаться на Михалу Петровича, будто бы именно тот дал разрешение доплачивать счетоводу.

Накануне процесса мы ночевали с Михалой Петровичем в одном гостиничном номере. Всю ночь он не сомкнул глаз. Бершадского называл

подлецом и проходимцем, поскольку он, Михала Петрович, никогда не давал и не мог дать такого разрешения. Правда, как человек гибкий, он не связывал подчиненным руки. Однажды я сам слышал, как какой-то редактор позвонил начальнику Управления и попросил разрешения израсходовать что-то сверх сметы. Ответ Михалы Петровича был достоин Талейрана:

— Лично я, — сказал он, — возражать не буду. Только, чур, уговор — ты меня ни о чем не спрашивал, я тебе ничего не разрешал...

На суде Михала Петрович вел себя вполне достойно. На провокационный вопрос Бершадского, не помнит ли он, как дал разрешение на доплату счетоводу, Михала Петрович только пожал плечами и блестяще парировал:

— Может быть, товарищ Бершадский представит какой-нибудь документ в подтверждение этой версии?

Бершадский сказал, что документа у него нет. И по залу — уже не в первый раз — прошел возмущенный шумок: это ж надо, какой мерзавец, честного человека попутать хочет. Давить таких надо, привыкли на чужой спине ездить!

125

Бершадский был приговорен к семи годам лишения свободы. Под стражу его взяли прямо в зале суда, так что он едва успел попрощаться с женой и сыновьями. Перед вынесением приговора он пришел в старой, выцветшей гимнастерке — по-видимому, уже знал, чем может кончиться суд.

Наутро, когда мы с Михалой Петровичем вернулись из Орехово-Зуево, никто не работал — все только и говорили о суде над Бершадским. Первым подплыл к моему клавесину Леонид Карлович. Его лицо и, как мне показалось, даже большой пористый нос горели любопытством:

— Ну, Виктор Борисович, сколько?

— Что сколько, Леонид Карлович, — не понял я.

— Сколько редактору дали?

Я ответил.

— А сколько взыскали в пользу Управления?

Я снова ответил.

— Верно говорит русская пословица: "От тюрьмы и от сумы не зарекайся", чего, кажется, человек не имел, — сказал Леонид Карлович и не спеша зашаркал к своему столу.

Лрзарь Михайлович, услышавший наш разговор, громко засопел и,

когда плановик отошел, тихо сказал:

— Виктор Борисович, по-моему, это все потому, что он "ид"... Он помолчал. — А что будет с детьми, не сказали? Ну, конечно, — прошамкал он губами своим мыслям... и снова углубился в баланс.

На втором году работы я вдруг открыл для себя, что они были совсем разные, эти два царедворца Михалы Петровича.

После дела Бершадского наше болотце, взбурлившее на какое-то время, вновь обрело спокойствие. Но это было уже затишье перед бурей, и, чего я уж никак не ожидал, жертвой бури на этот раз стану я сам.

В жизни у меня это часто случалось, выходил я целым и невредимым из таких передряг, когда, казалось, уже нет выхода. Но оступался на ровном месте и ухитрился провалиться даже в такой тихой заводи, какой был наш Мособлполиграфиздат.

Словом, через несколько месяцев после суда над Бершадским меня вызвал Михала Петрович и каким-то нарочито-миролюбивым голосом — этот голос всегда был предвестником бури — спросил, не проводил ли я ревизии в ленинской районной газете "Ленинский путь". В "Ленинском пути" дей-

126

ствительно проводил ревизию я, о чем и сказал начальнику Управления.

— Ну вот, и очень хорошо, — уже не скрывая яда в голосе продолжал Михала Петрович, — пропустили, молодой человек, хищение на четыреста тысяч рублей.

Я пытался еще что-то вякнуть, но голос Михалы Петровича вдруг сорвался, и он заорал:

— Под суд пойдешь и нас всех за собой потащишь...

Я судорожно вспоминал, как выглядела эта злосчастная редакция "Ленинского пути".

Три тесных комнатухи, заваленных кипами газет. Суetyащиеся сотрудники. Я сидел в самой маленькой. По одну сторону расположилась толстуха-бухгалтерша, по другую — молоденькая хромая кассирша. У толстухи от волнения не попадал зуб на зуб, но документы были в идеальном порядке. Когда я спросил, что с ней, она ответила, что ее сильно знобит и сразу же после ревизии она отправится домой.

Хищение вскрыли органы прокуратуры. Была арестована почти вся редакция. Одновременно было возбуждено уголовное дело против бухгалтера-ревизора, обвинявшегося по статье 144 УК РСФСР Ч.11 за халатность.

Даже здесь у меня все было не как у людей, и вместо того чтобы стать жуликом и комбинатором, волей судьбы я оказался среди беспечных ротозеев.

В феврале пятьдесят третьего года я сдавал госэкзамены во втором. Полиграфическом, институте. В день первого экзамена по истории русской литературы поместили сообщение, что в Тель-Авиве на территории миссии Советского Союза неизвестные злоумышленники произвели взрыв бомбы. На госэкзамене по истории русской литературы срезали подряд двенадцать евреев. Я с грехом пополам получил тройку.

По Москве упорно муссировали слухи, что уже выработан план выселения евреев на Восток и даже выстроены для их расселения бараки. Да если бы и не существовал этот план, у меня была своя личная перспектива оказаться в местах не столь отдаленных.

Следователь уже несколько раз допрашивал Михалу Петровича и Лазаря Михайловича, выясняя, не было ли у меня при ревизии "Ленинского пути" корыстных мотивов и не получил ли я от преступников взятку. Если это было, то я становился их соучастником и автоматически переходил в разряд расхитителей социалистической собственности.

127

В этом случае меня ждало не меньше десяти лет лишения свободы. Ночами я не мог уснуть — мне было только 23 года, и я должен был на столько лет угодить в тюрьму.

Казалось, искорежена вся жизнь, но в глубине души я не переставал надеяться. То был, верно, инстинкт самосохранения, столь развитый у людей в молодости. Я готов был верить во что угодно — в свою звезду, в судьбу, во вмешательство черта, дьявола, но мог ли подумать я, что свободу принесет последовавшая 5 марта 1953 года смерть Сталина.

## **"ВЕЛИКИЙ ЗАБОТНИК"**

Советские беллетристы в свое время не пожалели красок, чтобы живописать этот день. Все они — одни более, другие менее — пространно стремились нарисовать яркую и драматическую картину всенародной скорби. Не стесняясь слез, плакали в их произведениях убеленные сединами мужчины. Едва ли не на крышах вагонов ехали в Москву женщины с детьми, чтобы сказать последнее "прости" великому вождю и учителю. И как бы на последующих страницах этими беллетристами ни истолковывалась роль Сталина, картина всенародного горя оставалась для

них святыней, как нетленный символ веры народа в умершего вождя.

О смерти Сталина я узнал в шесть часов утра 6 марта — Левитан своим мощным, но на этот раз исполненным глубокой печали голосом от имени Центрального Комитета партии. Совета Министров СССР и Президиума Верховного Совета СССР известил партию и всех трудящихся, что 5 марта в 9 часов 50 минут вечера после тяжелой болезни скончался председатель Совета Министров СССР и секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин. "Весть о кончине товарища Сталина, — гремел Левитан, — глубокой болью отзовется в сердцах рабочих, колхозников, интеллигентов и всех трудящихся нашей Родины..."

Мать, услышав это, вскочила с кровати и, в ужасе засуетившись по комнате, начала вдруг плакать, обращаясь к отцу, еще лежащему в постели, с одним и тем же не то вопросом, не то паническим восклицанием:

— Борис, Боже мой, что же будет?! Что будет?

Погруженный в раздумья отец вначале молчал, но потом, потеряв вдруг самообладание, гаркнул:

128

— Что? Что ты разбегалась? Что будет, то будет! — И, прибавив что-то очень выразительное по-еврейски, заключил:

— Хуже не будет!

И я, все еще лежа, как и отец, в постели и слушая трагический голос Левитана, вдруг пришел к выводу, что хуже не будет, потому что хуже, в сущности, и не могло уже быть.

День начался необычно. Михала Петрович, у которого было неизменное правило с утра — куда бы он ни собирался — заезжать прежде на работу, на этот раз изменил ему. Его секретарша Женя всем отвечала, что Михала Петрович в МК и уже до конца дня, вероятно, не будет. В Управлении в этот день никто не работал. Александра Дмитриевна, вообще забыв о существовании ретушера Абрамовича, весь день не отходила от стола Лазаря Михайловича и, пуская ему в лицо клубы дыма, одолевала его все тем же вопросом:

— Что же будет, Лазарь Михайлович? Меня даже озноб берет от мысли, что Его с нами нет.

Лазарь Михайлович печально разводил руками. Зато Леонид Карлович вдруг проявил себя холодным циником:

— А вам-то что, Александра Дмитриевна, баланс в исполком все



равно сдавать надо. Слышали по радио: "Ответим на смерть вождя новыми успехами в труде"?

— То есть как это, что, Леонид Карлович? Что ж я, по-вашему, не советский человек или в моих жилах течет, черт возьми, водица, а не кровь?

— Че орать-то, че? — вдруг ожил в углу мой подчиненный Лисин. — Михала Петрович приедет завтрава, какие надо, все разъяснения и даст.

— Разъяснения, разъяснения! Обыватель вы, Иван Ксенофонович, больше никто! — все-таки вышла из себя Александра Дмитриевна.

К вечеру на Пушкинской и улице Горького стали собираться толпы людей. Где-то выстраивались колонны, но чаще шли просто беспорядочными потоками, и неизвестно было, в какую сторону они двигаются, где их начало и где конец.

Если не считать матери, я не видел ни одного плачущего лица. На лицах людей была даже не печаль, а какая-то безотчетная фанатичная обреченность. Радио играло Шопена и Моцарта. В великолепном хоровом исполнении следовали печально-торжественные траурные мелодии. Казалось, скорбью охвачены все — от мала до велика. По крайней мере, люди сами

129

в это верили и, вероятно, действительно готовы были плакать от охватившего их трагического чувства. Но на самом деле это было не более, чем самовнушение, которому великий вождь и учитель так прекрасно обучил свой народ.

О смерти богов нельзя скорбеть, ибо боги не умирают. На этом зиждется вера. На этом зиждется вера в бессмертие великого Сталина. Разве не писали газеты, что, подобно Богу, он творил счастье миллионов, предавая анафеме отступников от великой веры? Разве по многу раз на день — будь то митинг, собрание или праздничное застолье — не произносили молитв о его вечном здравии? Разве не жил он в сердцах и душах миллионов, наполняя их верой в лучезарное будущее? И даже песни о нем звучали как божественные псалмы: "Сталин — наша слава боевая, Сталин — нашей юности полет, с песнями борясь и побеждая, наш народ за Сталиным идет!"

И когда радио сообщило о его кончине, стоило ли удивляться паническому, неземному ужасу, охватившему людей, — куда и за кем теперь идти, если Его больше нет?

Репортаж из Колонного зала Дома Союзов вел Алексей Сурков,

который так писал о мертвом вожде: "Он лежит в гробу, так близко от белокаменного Кремля, где на капитанском мостике корабля истории протекали три с половиной десятилетия его славной и многотрудной деятельности.

Мундир генералиссимуса и красный шелк драпировки гроба оттеняют снеговую бледность такого знакомого, такого бесконечно родного лица.

Седина, как ранний осенний иней, запорошила усы и венец чуть вьющихся волос. Скованные холодом смерти веки скрыли взгляд, который так далеко проникал в будущее. Родной, любимый, навечно вошедший в жизнь нынешних и будущих поколений, лежит в неподвижности так чуждого ему покоя, он — вечно неутомимый труженик, заботник за всех нас, за все человечество..."

Говорят, что Сталин любил Суркова, любил панегирики, которые тот сочинял в честь великих сталинских побед. Думаю, что если бы вождь смог прочесть и эти посмертные по нем строки, то был бы ими вполне удовлетворен. Сурков никогда не был ни правым, ни левым, ни догматиком, ни либералом, но он обладал удивительным талантом — преисполняться вдохновением от всего, что бы ни делалось наверху.

130

Даже в 37-м году он едва ли не первый откликнулся поэтическим приветствием на кровавый январский процесс над так называемым антисоветским троцкистским центром. По этому случаю 26 января он опубликовал в "Правде" стихотворение "Смерть подлецам":

И вот они стоят перед судом.  
Как воплощение подлости и злости.  
Бесславной банды мерзкое охвостье  
Изгой в нашем мире молодом...  
Приказчики коричневого сброда.  
Они вредили, прячась в тайниках.  
Смотрите, люди, кровь сынов народа  
Еще не высохла на их руках...

И В марте 53 года в своих правдинских репортажах он сумел написать именно то, что от него ждали сверху, и именно так, как хотели сверху: скорбящие миллионы, прощаясь с великим вождем и учителем, клянутся продолжить его великое дело. Но мне иным запомнился день похорон Сталина.

В этот день улицы и площади Москвы были оцеплены военизированными отрядами КГБ. Все перекрестки были забаррикадированы грузовиками, и от Кузнецкого моста, где я находился днем 9 марта, до Петровского бульвара мне пришлось продираться в обход через улицу Кирова, а затем вниз, по кольцу "А" к Трубной площади. Возле каждого перекрестка требовали паспорт с указанием места жительства. Солдаты, стоявшие цепочками у перекрестков, выглядели зверски усталыми и озлобленными. Они не разговаривали, а рычали и чуть что — применяли силу.

На углу улиц Кирова и Мархлевского мне показалось, что в цепочке мелькнуло узкоглазое лицо нашего Чукчи. Такой же, как он, здоровенный калмык или бурят с яростью выкидывал из-под грузовика пробравшихся туда мальчишек.

— А ну, отзень, отзень! — рычал он на напивавших со всех сторон людей. — Отзень, цволочь!

— Сам ты сволочь! — орал из толпы женский голос. — Нацепили, паразиты, винтовки!

Так и остались у меня в памяти не "живая река народной любви и скорби", о которой писал Сурков, а толпа, рвущаяся через кордоны озлобленных нацменов-солдат, которыми, казалось, Москва была наводнена. Трубная площадь была черна от людей. Оказавшись придавленным почти к самой стене

131

Рождественского бульвара, я вдруг услышал жуткий крик женщины, и совсем рядом, в нескольких шагах от себя, я увидел в ногах у людей маленького мальчишку, который случайно споткнулся и, задыхаясь в собственных рыданиях, не мог уже подняться. Мать пыталась вытащить его, но тут же упала сама, и искаженное от ужаса лицо ее тотчас скрылось в людской толпе. Крики неслись со всех сторон, предсмертные крики людей, которых живыми топтали их братья и сестры...

Эта трагедия, разыгравшаяся на Трубной площади в день похорон Сталина, так и осталась в моей памяти как мрачный символ, — "великий заботник", он и мертвый умудрился унести за собой в могилу сотни невинных людей.

## УЛЫБКА ТЕРЕХОВА

Я плохо помню первые дни без Сталина. Кажется, по утрам возле

газетных киосков выстраивались длинные очереди. Люди жаждали новостей, и они не заставили себя ждать. К власти пришло новое правительство, возглавляемое Маленковым. И вскоре одно за другим произошло два события, и оба имели самое прямое отношение к моей жизни.

Первое — реабилитация врачей и передовая статья в "Правде" — "Советская социалистическая законность неприкосновенна". Второе — широкая амнистия.

Сообщение о реабилитации врачей было подобно разорвавшейся среде бела дня бомбе. По своему резонансу оно не шло ни в какое сравнение с сообщением об их аресте. Что переживал я в эти дни, трудно передать. Я шел от одной газетной витрины к другой и, не веря глазам своим, снова и снова перечитывал узкий газетный столбец "В Комитете государственной безопасности СССР". Из другого мира мне казались слова передовой о том, что бывшие руководители Министерства государственной безопасности СССР и, в частности, бывший начальник следственной части Министерства Рюмин допустили грубые нарушения социалистической законности, оторвались от народа, от партии, позабыли, что являются слугами народа и обязаны стоять на страже советской законности.

Но у тех же газетных витрин я видел людей, которые совсем не так, как я, воспринимали происходящее. Никто, конечно, не осмеливался утверждать, что не следовало выпускать из тюрьмы невинных людей. Говорили другие слова, невольно

132

заставляющие задумываться над характером русского обывателя — что было для него благом, а что — злом.

У Леонида Карловича Дефье была подчиненная Валька Соломатина, здоровенная, флегматичная деваха и к тому же неудачница, брошенная мужем. Тупо уставившись в простыни с цифрами и скособочив толстые ноги, она целый день крутила ручку арифмометра, и казалось, разорвись рядом граната, случись светопреставление, она и тогда не оторвется от стула.

Но в то утро, когда появилось сообщение о реабилитации врачей, Соломатина разложила перед собой "Правду" и долго сидела, уставившись в нее, словно никак не могла понять, о чем идет речь. Наконец сказала:

— То одно брешут, то другое, вот и пойми, кому тут верить!

То же я слышал и у газетных витрин — не радость, что

восторжествовала правда, а глухое раздражение, что так некрасиво и неожиданно кончилась история, которая совсем уж было обнажила истинное лицо евреев. Что-то всегда мешает исполниться заветной мечте русского антисемита! Это "что-то" — чаще всего изворотливость самих же евреев: где подкупят, где обманут, где изловчатся... Так обычно считает сам антисемит. Что для него социалистическая законность или пролетарский интернационализм! Он готов уже ни во что не верить, если оскорблено его святое, исконное, идущее от самых что ни на есть глубин его природы чувство.

Когда я говорю о русском антисемите, то, разумеется, не имею в виду русских людей вообще, и тем более русскую интеллигенцию с ее обостренно больной совестью, а имею в виду те самые винтики, о которых так любил говорить Сталин и которые, как бы ни вырос, согласно сводкам ЦСУ, их культурный уровень, — все же являются собой наследников многомиллионной, веками задавленной мужицкой России, которая от вечной нужды и голода пила в трактирах водку и была проклятых жидов.

Выйдите на улицу, как говорится у нас, в праздничек, в Лихоборы или в Марьину Рощу и увидите те же красные, потные лица и мутные шальные глаза оттого, что надрались до белых чертей, услышите и дикие, пьяные песни с бабьим повизгиванием. А в вечер того и гляди пойдет поножовщина и, неведомо на что озлившись, брат пырнет брата, а муж до полусмерти изобьет жену — чего только ни увидишь в праздничек. А наутро звонки из милиции и вырезвителей начнут извещать об-

133

щественность: как изволил накурлесить их знатный новатор, да к тому же комсомолец, да к тому же студент-заочник — куда же смотрела общественность?

И еще, когда говорю о российском антисемите, то имею в виду тех псевдоинтеллигентов — они были и при царизме, были и при Сталине, — те, что вили веревки и играли ноктюрны на отсталости русского человека. Много ли взять с Вальки Соломатиной, полуграмотной, брошенной мужем, измыкавшейся в подвале с пьяницей-отцом. От одного горя и неудач такая уверует в злодейские планы убийц в белых халатах. Но о тех же сионистских злодеях и о беспримерном мужестве русской женщины Лидии Тимашук писала, преисполнившись гражданским темпераментом, Елена Кононенко, русская интеллигентка со званием члена Союза писателей СССР.

50-е годы были урожайными на черносотенные речи. Но ни один



стихийный юдофоб не поднялся на тот "художественный Монблан", которого достиг другой член ССП Василий Ардаматский — автор уже в те дни знаменитого фельетона "Пиня из Жмеринки".

Что с ними случилось? Их предали суду? Исключили из Союза писателей? Или, быть может, они отдали себя на суд собственной совести, публично раскаявшись на страницах изданий, где выступали с антисемитскими писаниями? Даю справку: как ни в чем не бывало, оба живут и здравствуют. И процветают. И воюют за гуманизм и правду. И, вероятно, были бы искренне удивлены, если бы услышали подобный упрек вслух.

Другое событие — амнистия, — казалось, вообще не имело ко мне прямого отношения. Я и сам понял, что оно для меня значит лишь после того, как 27 марта прочел в "Правде", что прекращаются производством все следственные дела о преступлениях, совершенных до 27 марта и за которые в законе предусмотрено наказание на срок до пяти лет. Моя "халатность" определенно подпадала под Указ об амнистии, и охватившую меня бешеную радость теперь уже трудно передать.

Дома я был один и, отбросив в сторону газету, стал, как сумасшедший, прыгать со стула на стул и орать:

— Амнистия! Амнистия!

Стулья с грохотом летели на пол, а я продолжал буйствовать. Вошла мать, я схватил ее и стал кружить по комнате:

— Мамочка, амнистия! Да ты понимаешь, что это такое!

134

Не успел я прийти в Управление, как меня пригласил Михала Петрович и крепко пожал руку.

— Дело прошлое, — сказал он, — но ты, понимаешь или нет, ни в чем не виноват. Вот ни столечко! И баб тех, бухгалтершу с кассиршей, тоже отпустят, наверняка отпустят! — кружил он радостный по кабинету.

Затем меня поздравил Лазарь Михайлович и Леонид Карлович, а еще через месяц наш парторг Илья Моисеевич Берштейн предложил мне подать заявление в партию.

На партийном собрании говорили, что я — энергичный и подающий надежды товарищ и что, будучи секретарем месткома, веду большую общественную работу. Глуховатый Илья Моисеевич улыбался и согласно кивал головой, но на бюро райкома, где должны были утверждать мой прием, пошел на всякий случай не сам, а послал своего зама, фоторепортера Соколова.

Соколов куда-то спешил и, считая вопрос предрешенным, все время смотрел на часы. Будущих кандидатов КПСС впускали по одному. Каждого держали не более двух-трех минут, и довольно скоро набитая до отказа приемная опустела.

Нас с Соколовым пригласили последними. Звонким, упругим голосом он доложил о решении коммунистов Управления Мособлполиграфиздата принять меня в кандидаты КПСС.

Когда он кончил, первый секретарь райкома Терехов, оторвавшись от моего личного дела, спросил:

А большая ли у нас в Полиграфиздате партийная организация?

— Нет, не большая, — поднялся Соколов. — 12 работающих и прикрепленных.

— Какие есть вопросы к товарищу Перельману? — продолжал секретарь, листая мое личное дело. — Вы какую общественную работу выполняете? — спросил он.

— Я секретарь месткома.

— Кто? Кто? — весело вскинул он свои густые брови. — Протоколы, что ли, подшиваете?

Я объяснил, что у нас в Управлении секретарь месткома — это все равно что заместитель председателя. Мне самому было так сказано, когда распределяли обязанности в месткоме: председателем сделали Александру Дмитриевну, а меня секретарем, то есть замом, ведающим всеми месткомовскими делами.

135

— Вы слышали, у них в Управлении, — с лица Терехова не сходила ироническая улыбка, — напридумали всяких должностей — секретарь месткома! Это что же, как секретарь ЦК получается...

— Ну, остряки! — долго качал головой сидевший по правую руку от секретаря полковник милиции.

— Вы Устав партии читали, товарищ Перельман? — теперь уже без улыбки взглянул на меня Терехов. — О чем гласит первый параграф?

Устав я знал наизуок и первый параграф, определяющий, чем является партия, отбарабанил наизусть.

— Ну, а второй? — не спускал с меня глаз Терехов. Второго параграфа я наизусть не знал и, пересказывая его содержание, запнулся.

— Вот видите, — оживился секретарь, — первый параграф вы зубрили, как начетчик, а сути Устава не поняли...

— Сколько работаете в своем Полиграфиздате?

— Около двух лет, — немного прибавил я.

— Мало, очень мало. — Он помолчал и устало оглядел членов бюро:

— Ну, что, товарищи, думаю, вопрос ясен.

— Абсолютно! — поддержал его милицейский полковник.

— Значит, воздержимся?

Только теперь до меня дошел смысл происходящего. Я поднялся и сказал, что Устав партии знаю. Если надо, пусть спросят еще...

— Знаете, — снова вскинул брови Терехов, — как начетчик! И к тому же бюро вам не отказывает, товарищ Перельман. Бюро просто временно воздерживается. Поработайте, проявите себя, и милости просим, двери в партию ни для кого не закрыты.

— Правильно, товарищи?

— Абсолютно! — теперь уже в один голос воскликнули полковник милиции и сидящая напротив него полногрудая блондинка, которая без конца о чем-то перешептывалась то с полковником, то с самим секретарем райкома.

— Других предложений нет?

— Нет!

На улицу вышли с Соколовым молча, вернее, молчал я — на мне, по видимому, не было лица, и Соколов, забыв о своих неотложных делах, поддерживал меня под руку и пытался время от времени что-то говорить:

136

— Леший с ними, не надо расстраиваться, подумаешь, трагедия, примут!

Мог ли добряга Соколов влезть в мою шкуру, когда я и сам был не в силах себе объяснить, отчего так гнусно на душе. Лишь много позже я научусь разбираться в подобных ситуациях, пойму, что в жизни существуют две категории вещей. Одна поддается здравому смыслу и логике и потому без труда может быть понята каждым. Другая относится к области иррационального и подвластна лишь интуиции. С точки зрения первой, на бюро райкома ничего противоестественного не произошло. Так ли уж нелогично, что умудренные опытом коммунисты говорят 23-летнему сосунку, что его общественная работа секретаря месткома незначительна и вызывает лишь улыбку и что дело совсем не в том, чтобы вы зубрить Устав, а в том, чтобы понять его суть...

Но в то же время я чувствовал, что эти округлые правильные фразы не имеют ровно никакого отношения к тому иррациональному, что сработало на самом деле и что могла уловить только интуиция. Ничто в жизни не

заставит секретаря райкома Терехова признать истинные мотивы, заставившие его поднять на смех мою общественную работу и не принять меня в партию.

Правда, в компании, изрядно выпив, он, может, что-нибудь ляпнет насчет своей нелюбви к евреям (один не любит рыбу, а он не любит евреев, не любит — и все!), а может, этого и не скажет, а если и скажет, то эта пьяная, случайно оброненная фраза будет находиться в таком противоречии с его благообразным каждодневным обликом, что, попытайтесь вы это произнести вслух, на вас посмотрят так, как будто вы неприлично выразились.

Позже жизнь часто будет меня ставить лицом к лицу с такими, как Терехов, когда не слова, а некие незримые токи будут информировать, с кем имею дело. Ни Дыкин, ни Репета, ни даже Федор Михайлович Бутов не могут идти в сравнение с этим типом людей, ибо в своем ханжестве они даже себе не сознаются, что за чувства управляют ими в те или иные моменты жизни.

Расставшись с Соколовым, я вспомнил, что оставил на работе какие-то книги, которые мне могут понадобиться дома. Скорее всего, просто не хотелось идти домой, и я вернулся в Управление. Все давно разошлись по домам, лишь многодет-

137

ный отец Абрамович все еще сидел, склонив свою маститую седовласую голову над пачкой фотографий. Он знал, что меня должны были принимать в партию и, по-видимому, хотел спросить, каков результат. Но все понял по моему лицу. Уже когда я вышел на улицу, он догнал меня и спросил, в какую сторону мне идти. Я показал в направлении площади Пушкина, он сказал, что ему туда же.

— Хотите, Виктор Борисович, одесский анекдот: "Старую бандершу с Дерибасовской, Сару Лазаревну, провожают на пенсию, и девочки просят ее выступить на профсоюзном собрании и рассказать, как ей удалось сохраниться..." Вы только не думайте, что я хочу вам исправить настроение. Эти идиоты ели мало каши, чтобы суметь его испортить такому парню, как вы...

Последняя фраза мне явно нравится, и вообще этот Абрамович, вечно воюющий с Александрой Дмитриевной, кажется, симпатичный человек. Я сворачиваю на Столешников, и он — за мной.

— А этот знаете, Виктор Борисович? Идет по Пересыпи Пиня Сухоручка, а навстречу ему — я. Кто я? Абрамович.

Мы оба смеемся. Нет, он положительно славный мужик. Только очень долго рассказывает анекдоты.

— Ну так вот, идет Пиня Сухоручка. Вы когда-нибудь были на Пересыпи? Нет? Не много потеряли. Я ведь тоже не одессит, но ужасно люблю одесские анекдоты.

Он хочет сказать что-то еще, но мы уже подходим к моему дому. — А вообще, вы знаете, что мне мать говорила, когда я уезжал сорок два года назад в Москву? Она мне говорила: "Постарайся делать меньше глупостей". Ей, конечно, хорошо было говорить. — Возле подъезда он подает мне руку. — Ну, ладно, будьте здоровы, а то я вас совсем заговорил.

— А где вы живете? — только и успеваю я его спросить.

— Да тут недалеко, у Курского вокзала. Сяду на Букашку, и через пятнадцать минут я дома.

## ЧИНОВНОЕ СЧАСТЬЕ

Благословенное состояние — сидеть декабрьской полночью за кухонным пластмассовым столиком и писать. Еще недавно такой домашний дом творчества мог быть только пределом мечтаний. Отныне он стал реальностью. Врачи обнаружили у меня гипертоническую болезнь. Появилась возмож-

138

ность избавиться от газетного вертепа и воспользоваться всеми благами личной и творческой свободы.

Я обладаю счастливой способностью ощущать все виды давления, кроме давления в собственных сосудах, и поэтому могу работать по двенадцать часов в сутки. В часы работы у меня резко снижается интерес к окружающему миру, до минимума падают требования к элементарным жизненным удобствам. В такие часы меня с успехом можно кормить хлебом с картошкой, и сам себе я кажусь идеальным мужем и отцом.

Но нынешний мир дает о себе знать, тем более когда в квартире два телефонных аппарата. Звонят друзья, от которых, по словам жены, я уже давно отгородился. Следуют вопросы относительно моей гипертонии (пью ли резерпин, соблюдаю ли режим?) Иногда сочувственно восклицают: "Эко тебя прихватило!" О существовании рукописи, разумеется, никто из них и не подозревает.

Регулярно дает о себе знать двоюродная тетка жены Поля и опять же спрашивается о моем здоровье. Затем долго выясняет, решились ли мы



наконец отдать дочь учиться на фортепьяно.

Звонит мать и старается тут же подзвать к телефону жену, но я-то знаю, вопрос будет касаться меня. Тихо, чтобы не услышали соседи, мать спрашивает, не прошло ли сумасшествие. Имеется в виду, не передумал ли я ехать в Израиль. Мать у меня прекрасный человек, труженица, и мне ее страшно жаль. На старости лет она заболела бронхиальной астмой и бронхоэктатической болезнью, из-за которой по два раза в год лежит в больнице и не может дышать без ингалятора. Отец болен еще сильнее. В дополнение к своим 73 годам он имеет диабет, стенокардию и бог весть еще какие недуги, от которых едва передвигает ноги. Живут старики в общей квартире с шестью соседями и каждый раз переживают невообразимые муки, когда надо устроиться в больницу. Но стоит завести разговор, что оба они достойны лучшей участи, как на мою голову тотчас обрушивается гневная шрапнель: "Свобода? Что ты вообще видел? Если хочешь знать, у евреев нигде нет такой свободы!"

Я с ними обычно не спорю — в конце концов, у них, переживших тридцать седьмой год, тоже свои представления о свободе. А на днях старики вызвали мою жену, и состоялся большой совет — что со мной делать дальше. Мать, задыхаясь и нервно дыша в ингалятор, говорила, что она никогда не думала, что у нее будет такой сын, и если я что-нибудь себе по-

139

зволю, она публично отречется от меня. Отец сказал, что он одной ногой стоит на том свете и ему уже безразлично, что я намерен делать. Но в конце концов оба обрушились на жену, что она не имеет права сидеть сложа руки, а жена сказала, что ей надоело быть между молотом и наковальней, и пусть они сами говорят со своим сыном.

В последние дни участились звонки, и по всем этим обстоятельствам кухня становится лучшим местом для моей работы, а ночные часы — самым продуктивным временем.

Именно в эти часы, когда, вопреки строжайшему запрещению врачей, я варю себе крепкий кофе и, никем не прерываемый, пишу, мне кажется, что жизнь не такая уж плохая штука, хотя некоторым сторонам ее явно недостает гармонии. Все в руках людей, и не только в руках строителей и архитекторов, которым самой природой предписано создавать прекрасное.

Именно в эти часы, когда я ухожу в себя, то, как ни странно, начинаю ощущать полный контакт с миром — и прошлым, и настоящим, соединенным единой лентой времени, которая необыкновенно выпукло

оживает в памяти в ночной тишине квартиры. Я не спеша расхаживаю в пижаме по коридорам, заглядываю то в комнату к жене, то к дочери. Радуюсь, что у меня над головой крыша, и даже испорченный кран в ванной (из-за которого жена меня целый день пилила, что не вызвал слесаря), и тот кажется мирно журчащим ручейком, ласкающим ухо. Становится близкой истина, что счастье не вне, а внутри нас. Все рождает ассоциации с прошлым, даже снег за окном, словно клочья ваты, падающий на подоконник, возвращает мысль к такой же снежной полуночи пятьдесят четвертого года, когда я единственный раз в жизни на улице встречал Новый год.

Праздновать мы решили вместе с Кленовым. Из своей Коноши он должен был приехать что-то в восемь или девять вечера. Поезд опаздывал, и я в ожидании его то разгуливал по перрону Северного вокзала, то забегал погреться в тоннель.

И пока ждал, успел перебрать все события года, начиная с того дня, как получил от ворот поворот в Свердловском райкоме партии. Оправился, как это ни странно, довольно быстро. Помог местком, у которого вдруг оказалась горящая путевка в Цихисдзири.

Вручая ее мне, Александра Дмитриевна пожала мне руку и сказала:

140

— Плюньте, Виктор Борисович, на все и влюбитесь, черт возьми, в этом вашем Цихисдзири!

Я последовал ее совету и под палящим солнцем Аджарии пережил одно за другим два бурных увлечения, которые, хотя и не оставили следа в моей памяти, но напомнили непреложную истину, что молодость не способны омрачить никакие передряги карьеры.

С моря вернулся черный, как негр, и из огня солнечной Аджарии попал прямо в полымя реорганизации. На этот раз фортуна, с которой я был в вечном разладе, не подвела. И когда в ту новогоднюю ночь мы с Кленовым пили за наше будущее, оно рисовалось мне уж не таким мрачным, как в тот день, когда я выходил из райкома партии.

Поезд опоздал на три с половиной часа. Кленов прибыл без чего-то двенадцать. Схватив такси, мы едва домчались до улицы Герцена и там возле пивного ларька у входа в Университет разлили бутылку водки в два граненых, запотевших от мороза стакана. И выпили, как говорится, за здоровье и за счастье.

На новогоднем балу в МГУ, где мы оказались в ту ночь, познакомились с двумя очаровательными филологинями по имени Лана и

Диана, тотчас пробудив в их прелестных глазках затаенное к себе любопытство. Наши девицы звенели как колокольчики, а мы держались исключительно солидно, давая им понять, что в эту новогоднюю ночь им явно повезло. Среди юных пижонов, только и способных стильно дрыгать ногами, они встретили двух взрослых людей и к тому же ответственных работников, воротивших крупными делами.

Один — зав. юридической консультацией Коношского района, другой — юрисконсульт Московского областного управления культуры.

В своей коношской консультации Кленов руководил лишь самим собой. Но какое это имело значение? И, уж во всяком случае, это не помешало ему, поглаживая бороду, предъявить нашим девочкам служебное удостоверение, подтверждавшее его руководящий пост.

За неделю до Нового года меня пригласил Михала Петрович и сообщил о моем новом назначении. В этом я увидел перст судьбы — теперь подо мной ходили главрежи театров, руководители Домов и Дворцов культуры, корреспонденты отдела радиосообщений. Даже директор областной филармо-

141

нии Трофим Тетерин на днях специально зашел ко мне в кабинет, чтобы, как он сказал, представиться юридическому богу Управления.

Мой кабинет, хоть это и был всего-навсего небольшой застекленный закуток над лестничной клеткой, тоже о чем-то говорил. Это вам не дурацкий "клавесин", подпирающий бюро вечно дремлющего Лазаря Михайловича.

Юристу для работы нужны условия — не так-то просто прочитать и проверить за день целую гору документов. И не только с точки зрения закона, но и нового руководства. Им теперь был уже не затрапезный Михала Петрович, а бывший заместитель министра трудовых резервов СССР Николай Георгиевич Ликовенков.

Новое руководство поочередно вызывало аппарат для знакомства, и, когда наконец дошла очередь до меня, Николай Георгиевич прежде всего подчеркнул, что "Управление культуры — это не какой-нибудь шараш-полиграф-монтаж, а штаб политического воспитания пяти миллионов жителей Московской области. А юрист Управления — это не какой-нибудь там законник, а организатор работы аппарата и государственный контролер за качеством документов".

— А документ, выходящий из стен Управления, — расхаживал по своему огромному кабинету Николай Георгиевич, — должен быть прежде

всего документом аналитическим, я бы даже сказал больше — аналитико-методолого-творческим!..

Перед каждым из отделов Николай Георгиевич постарался открыть новые горизонты. Отделу искусств, где кроме стареющего и собирающегося на пенсию зава Калинкина сидел еще старый холостяк Лоритто, занимавшийся в основном тем, что выдавал концертные путевки актерам Мосгорэстрады, он поставил задачу — стать творческим центром пропаганды театральной культуры. Отдел культпросветработы объявили штабом политического воспитания на селе. И даже на мою бывшую епархию, которая вот уже двадцать лет ничем, кроме балансов и смет, не занималась, была возложена организующая роль по улучшению идеологической работы печати.

Михала Петрович, боявшийся пуще огня всякой политики, попробовал возразить. Он осторожно заметил, что идеологией занимается Московский комитет партии, а на облполиграфиздат возложены хозяйственные функции...

— Давайте условимся, Михаил Петрович, — сказал Лико-  
142

венков, — хозяйственников в Управлении культуры нет и не может быть. Не для того, дядя, нас сюда партия поставила, чтобы мы в цифири увязли.

Даже внешне в Николае Георгиевиче все подчеркивало масштабность — от крепкой упругой походки до белых стружек волос, спадавших на седые виски.

В молодости Николай Георгиевич работал на каком-то неизвестном мне Тридцатом заводе, затем — первым секретарем Краснопресненского райкома партии, после чего — замминистра трудовых резервов СССР. Оттуда был снят и через некоторое время назначен начальником Управления культуры Мособлисполкома.

Лишь много позже, когда парторг Управления Васильев, а вместе с ним и я начнем войну против Ликовенкова, всплывут и еще кое-какие детали его биографии. Станет, например, известно, что Николай Георгиевич был замминистра трудовых резервов по кадрам и что сняли его в один день с другим замминистра Рюминым и даже по одному и тому же пункту обвинения — за нарушение принципов ленинско-сталинской национальной политики. Только Рюмин угодил за решетку, а Николая Георгиевича с тяжелым инфарктом увезли в Кремлевскую больницу, в Кунцево, где он пролежал или переждал — всякое говорили. И лишь после того как опасность миновала, явился как номенклатурный работник в МК

партии. Здесь у него были давние связи, и его трудоустроили на должность начальника Управления культуры.

В те дни, когда пришел Ликовенков, еще не вошло в обиход слово "сталинист". Оно появится позже, после XX съезда партии. С легкой руки литераторов из произведения в произведение будет кочевать твердолобый догматик, неспособный на эмоциональный порыв, не наделенный ни единой человеческой черточкой.

Но так же как эпоха Сталина не поддается однозначным определениям, так и он, ее продукт, не укладывается в схему, утвердившуюся в литературе.

Сталинист — это особый тип мышления, особая нравственная система, с которой я впервые столкнулся, встретившись с Николаем Георгиевичем Ливенковым.

Вся его жизнь была связана с эпохой Сталина, но за все время он только один раз упомянул о нем. Не восторгался и вообще не выражал своего отношения к нему, а просто коснулся вскользь, да и все.

143

Было это в один из вечеров, вскоре после прихода Николая Георгиевича. Я и еще несколько сотрудников, готовивших ему доклад, засиделись у него в кабинете, и он предался воспоминаниям. Нет, не о том, как сражался на фронте — на фронте он вообще не был, — а о том, как в октябре сорок первого года ему позвонили в Краснопресненский райком и сказали, что его вызывает к себе товарищ Сталин. Николай Георгиевич тотчас собрался и когда приехал, то в кабинете у вождя застал почти всех секретарей московских райкомов — Сталин хотел лично ознакомиться с положением дел на подступах к столице и каждому из секретарей задавал один и тот же вопрос. Дошла очередь и до Ликовенкова.

— Как думаете, товарищ Ликовенков, Пресня не подведет Москву?

— Не подведем, товарищ Сталин, умрем, а не отступим! — ответил Николай Георгиевич.

Рядом с трусоватым и приземленным Михалой Петровичем, придерживавшимся правила поменьше напоминать о себе начальству, Николай Георгиевич выглядел человеком окрыленным, романтиком, который никогда не упускал случая проявить инициативу, всякий раз звонил не какому-то инструктору агитпропа, дальше которого Михалу Петровича вообще не пускали, а секретарю по пропаганде Андрею Ивановичу Горчакову, с которым был на ты, а то и самому первому секретарю МК Ивану Васильевичу Капитонову. Говорили, что они старые



приятели, Иван Васильевич был у Николая Георгиевича на Пресне вторым секретарем.

Звонил Ликовенков обычно с утра, чтобы застать руководство на месте, и когда я приносил на подпись документы, то становился свидетелем этих дружеских бесед. В беседах этих Николай Георгиевич, хоть и допускал шутку, но делал это в меру и вообще держался с достоинством человека, знающего себе цену.

— Иван Васильевич! Бьет челом и низко кланяется Ликовенков. Готовим тут для тебя одну бумагу по клубам. Поможешь — спасибо скажем, не сможешь — не взыщем...

Светлые глаза Николая Георгиевича блестели. Белые стружки волос весело подрагивали на седых висках. Крал он трубку в прекрасном настроении, как человек, который не только знает себе цену, но и которому знают цену там, наверху.

Каждое утро я входил в старый, с потрескавшимися сте-  
144

нами дом в проезде Куйбышева, 1 — Управление культуры находилось рядом с ГУМом, — поднимался на третий этаж в свой стеклянный закуток и садился за бумаги.

"Организатор работы аппарата", "государственный контролер за качеством документов", я с утра до вечера писал и переписывал справки и докладные о работе клубов, театров, библиотек. Это была скучная, иссушающая мозги работа, но я не сетовал, нет, я, напротив, был даже горд своей миссией, полагая себя фигурой, на которой держится Управление. Мне льстило, что не кому-нибудь, а мне, двадцатичетырехлетнему беспартийному еврею, поручалось переделывать справки, составленные номенклатурными руководителями областного масштаба.

Прежде чем войти ко мне в закуток, каждый из этих маститых деятелей вежливо стучал в дверь: "Разрешите, Виктор Борисович?" Случалось, что Николай Георгиевич просил меня лично отвезти какую-нибудь важную справку в канцелярию Капитонову. Исполненный гордости, я говорил секретарю Ликовенкова Галочке, чтобы немедленно давала машину.

— Куда еду? В МК к Ивану Васильевичу, — небрежно бросал я.

Не найдя выхода для своей энергии в конторе Михалы Петровича, я, видно, пытался взять реванш в иллюзорном чиновном усердии.

... Вот захожу в полдесятого в свой стеклянный закуток. Настроение отличное, и вдруг — несущийся по всем этажам звонкий Галочкин голос:

"Перельман, где Перельман? Виктор Борисович, срочно к Ликовенкову!"

От нехороших предчувствий в груди все тоскливо сжимается. Так и есть — завернул сразу две справки по театрам и полиграфии. И, конечно, нет на месте ни Михалы Петровича, ни Калинкина, но всегда на месте "организатор работы аппарата" Перельман, с которого за все можно спросить. Николай Георгиевич явно не в духе.

— Что же вы, дядя, меня подводите. Вы русский человек или нет? Ну разве так можно писать?

Я вытираю о колени мокрые ладони, рубаха липнет к телу.

— По-русски следует писать так, — с чувством мордует меня Николай Георгиевич.

У меня на целый день испорчено настроение. Исправить его может только само начальство. И к вечеру, собравшись с

145

духом, я снова иду к нему. Сидящая всегда на страже у его кабинета Галочка чем-то раздражена.

— Сам здесь? — спрашиваю у Галочки.

— Да что вы его все мучаете? Дайте хоть по телефону человеку поговорить!

— А приказ по клубам подписал? — не отстаю я.

— Подписал, подписал ваш приказ! Господи, как вы мне все надоели! — и она извлекает из папки мое очередное, на две страницы творение, увенчанное каллиграфической подписью Ликовенкова.

Я пристально вглядываюсь в подпись и, как завзятый графолог, пытаюсь постигнуть, что испытывал начальник, подписывая приказ, — доволен ли, отошел ли после утреннего или все еще точит на меня зуб.

В приказе ни одной помарки, и буквы все как на подбор — все ровные, закругленные, — кажется, подписывал с удовольствием, на душе у меня становится легче. И уже собираюсь идти домой, но в раздевалке меня нагоняет — чтоб ей пусто! — Галочка:

— К Ликовенкову!

Николай Георгиевич выглядит недовольным и на меня вообще не смотрит:

— Вы этот приказ визировали? — В груди снова все сжимается. — Возьмите и прочтите внимательно... Называется юрисконсульт!

Поднимаюсь со стула, я уже все вижу. Машинистка в заголовке приказа пропустила букву. Идиот! Не мог внимательно вычитать! У двери в нерешительности останавливаюсь:

— До свидания, Николай Георгиевич!

Он меня не слышит или делает вид, что не слышит.

— До свидания! — повторяю еще раз.

— Всего доброго! — не отрывается он от бумаг, и я в преотвратном настроении отправляюсь домой.

Кто не жил этой жизнью, тому трудно ее понять. В ней существует своя иерархия ценностей, в которой мало что значат простые человеческие радости. Довольно скоро я пойму, что ничего, кроме новых унижений, мое чиновное усердие принести не может.

Но что ей противопоставить? На какие ценности опереться? Там же, в Управлении культуры, я встречу человека, который поможет мне обрести руководящую идею. Это будет его идея, и она сделает меня его близким другом.

146

## МОЙ ПАРТИЙНЫЙ ПАДРЕ

У русского человека есть дар увлекать за собой других, вселять в них собственную веру. Алексей Васильев свято, как в Бога, верил в партию. А я поверил в него. Нет, я не стану партийным фанатиком. Не буду и тем, кого принято называть "кристальным коммунистом". А буду просто человеком с верой, человеком с Богом. И буду с ним до тех пор, пока сама жизнь не развеет его в прах. Но к тому времени совсем другим станет и мой партийный "падре", к которому еще не раз буду возвращаться в этой книге.

Впервые мы встретились с ним месяца через три после образования нового Управления. По поручению Ликовенкова сводил я предложения отделов в общую справку. Но от одного из них — отдела культпросветработы ничего не получил и отправился на улицу Кирова, где он размещался, чтобы встретиться с его замзавом Васильевым.

Зава в этом отделе вообще не существовало. Последнего сняли год назад, а нового не назначили, и всем там заправлял Васильев, или, как его звали в Управлении, Леша. Всех по фамилиям: Зенина, Климентова, Калинкина, а его одного — Леша.

Когда в Управлении случался прорыв, я слышал, как зам Ликовенкова Климентов восклицал: "А что если все это передать Леше, Леша вывезет". "Леша-то вывезет, у него вон какие плечи", — обычно соглашался Калинкин.

Васильев оказался совсем молодым человеком, на вид лет тридцати,

хотя на самом деле ему было уже тридцать девять.

Своей мальчишеской фигуркой, облаченной в отлично скроенный костюм, и жиденькой челкой на лбу он никак не соответствовал моему представлению о всемогущем танке — Леше. Он нехотя оторвался от заваленного бумагами стола и, услышав, зачем я приехал, раздраженно сказал:

— Мои предложения? Передайте Ликовенкову, что Васильев вносит предложение отремонтировать семьдесят шесть аварийных клубов.

У него был низкий, неторопливый бас человека, уверенного в своей правоте.

— Вы кем там работаете?

— Юрисконсульт! — с достоинством ответил я.

— Это что такое, справки для начальства пишете?

147

Позже мы оба пришли к выводу, что в тот первый раз не понравились друг другу. Я показался ему юным карьеристом, из молодых да ранних, а он мне самовлюбленным нахалом. И к тому же демагогом, от которого следует держаться подальше. Но судьбе было угодно распорядиться по-другому. И вот в моей памяти уже другой кадр.

... Душная летняя ночь. Окна в квартире на Ново-Песчаной распахнуты. И балкон тоже распахнут. Свет давно погашен. Мы лежим на кроватях, сбросив одеяла. Он — в трусах, и я — в трусах. Я спрашиваю, а он отвечает:

— Послушай, Алексей, вот ты как партийный человек не станешь отрицать, что в стране наверху много антисемитов? Как это понять, партия, партия и разгул антисемитизма? — Или: — Что ты скажешь о Сталине? Неужели еще преклоняешься перед ним?

Не помню, что он отвечал. Кажется, ответы его были такими же наивными, как и вопросы. Наивными, но искренними. Могу дать голову на отсечение, он верил в то, что говорил. Он не уставал говорить, что в партии идет борьба, и те, о ком я говорю, — это еще не партия, и, если бы ему хоть неделю дали править страной, он бы знал что делать...

Более разных людей, чем он и я, невозможно было отыскать. Я — еврей, вкусивший с детства горечь национального унижения и никак не могущий найти своего места в жизни. Он — партийный работник, в прошлом секретарь Краснопресненского райкома комсомола, замзав агитпропа МК ВЛКСМ, помощник секретаря горкома партии.

Что же тогда сблизило нас? Через полгода после образования

Управления культуры Васильева избрали секретарем парторганизации. Я стал комсоргом, и на вопрос, что сблизило нас, кажется, готов ответ. Но лишь в плохих романах события развиваются по безгрешным законам формальной логики.

Сошлись мы с Васильевым на почве того, что решили вместе написать повесть. Знаю, что звучит это уже совсем фантастично, но вот как все было.

С некоторых пор Николай Георгиевич стал посылать меня в районы. Он говорил — для изучения жизни. На самом же деле мои задачи были куда скромнее. Я должен был добывать факты для докладов и речей начальника. С этого времени у нас и начали портиться отношения. То, что я видел в деревне, для Николая Георгиевича явно не подходило. Это была сов-

148

сем иная жизнь, не совмещающаяся ни в одной точке с тем, что мы писали в справках.

В клубах меня встречали усталые, затурканные люди, получавшие за свой труд зарплату уборщиц, да и труд свой только и видевшие в том, чтобы отпереть, а главное, вовремя запереть клуб. Чаще всего это были девицы из райцентров — иные в институт не попали, иные работы в райцентрах не находили. Были энтузиастки, приезжавшие по путевкам комсомола, и всех почти что ждали нетопленые, покосившиеся развалюхи, именуемые в наших справках опорными базами массово-политической работы на селе, и председатели колхозов, зачумленные, озлобленные, иные спившиеся от тяжелой своей судьбы и работы.

В моей памяти жила Иерусалимская слобода, куда в детстве возила меня нянька на лето. С незабвенным моим манежиком в сенях, с теплым парным молоком по утрам, с добрыми колхозниками, катавшими меня по селу верхом. Иной деревни я не знал. Теперь, разъезжая по районам, увидел ее такой, какой досталась она в наследство от Сталина, голодной, изверившейся, беспаспортной (паспорта отбирали, чтобы не уходили в город), получавшей вместо трудодней чернильные палочки.

В эту деревню и ехали энтузиастки в капроновых чулочках. Одна из них — из села Сандарова, Егорьевского района, звали ее почему-то Вандой — и просила меня похлопотать по одному делу перед начальством в области. Была Ванда коломенская, сразу как приехала, затеяла ставить чеховский "Юбилей". А костюмов не было, на костюмы требовалось "тугриков" восемьсот, а то и тысяча. Она так и сказала "тугриков". Пошла



к председателю колхоза, а он в запое был после бюро райкома, где впаяли ему в очередной раз. Ни за что ни про что шуганул ее матом. А спектакль уже репетировали...

Одета была Ванда в старое драповое пальтецо, была на ней какая-то старинная с заячьим мехом шляпка. В клубе стоял собачий холод. Она прятала руки в рукава, но рукава были коротки, и, чтобы согреться, потирала их одна о другую и зябко пританцовывала на одном месте.

Я хотел сказать этой Ванде что-нибудь участливое, но что именно — не знал, и наконец выдал:

— Трудновато вам, наверное, здесь одной?

— А че трудновато? Обыкновенно! — пожала она плечами.

149

— Как везде. Только один хмырь все сватается, участковый из Сандарова. Вчера полез, знаете, пришлось джиу-джитсу использовать, умора была — летел через три ступеньки, — любовничек.

Вернувшись в Москву, я в первое же утро отправился к Ликовенкову просить для Сандарова денег. Он выслушал меня и сказал:

— С деньгами, дядя, и дурак любое дело сделает. Вы без денег! Людей поднимите, за живое заденьте. Эх, дядя, дядя! — Ликовенков поднялся и зашагал по комнате. Помню, мы на Тридцатом заводе скетчи ставили — без единой копейки, такие были парни и девчата, все своими руками делали!

Не солоно хлебавши, от Ликовенкова я зашел к Васильеву и рассказал ему о Ванде.

— Так, говоришь, джиу-джитсу применила к любовничку, — смеялся Леша, — сколько таких сейчас пришло, им же помогать надо. Помогать, черт возьми, а мы?

Не помню, в тот именно или в другой раз зародилась у нас мысль взяться за повесть о сельской культпросветчице — но ни у него, ни у меня так и не сохранилось первой нашей рукописи. Впрочем, невелика потеря. Беспомощная, наивная схема, заданность которой видна сразу же, как открываешь ее.

Позже мы напишем все-таки книжку. Пройдя через редакторов и цензоров, она выйдет в свет в таком искореженном виде, что никаких эмоций, кроме горечи да еще неловкости, что стоят на обложке наши фамилии, у нас у самих эта книжка не вызовет.

Но в те дни я взялся за повесть со страстью. Принцип был такой: вначале писал я, затем засаживались вместе.

Моя увлекающаяся натура отныне больше ни о чем не хотела знать. И я разом возненавидел свои бюрократические творения. Николай Георгиевич не мог этого не почувствовать. Он обрушился на меня с такой силой, с какой это мог сделать человек, у которого многое накопилось на душе. И, разгневавшись, открылся, обнаружив в себе изощренного сталинского черносотенца.

Получилось так, что я сразу задержал две справки, и он вызвал меня для разноса.

— Как же так, дядя, МК ждет, Иван Васильевич ждет, а мы? Не помню всех обвинений, главным была моя недобросовестность и почему-то ловкачество.

150

Я попытался возразить. Николай Георгиевич не слушал. Он стал багровый, и белые стружки гневно дрогнули на седых висках:

— Вам, товарищ Перельман, доверие оказано, а вы чем отвечаете? Не нравимся, подавайте заявление. Плакать не будем!

Я почувствовал, что срываюсь с тормозов. Сколько держался, смотря ему в рот, ловил его взгляды и вдруг дрызнул, как старая колымага.

— Я не у вас работаю, слышите, не у вас, — летел я в пропасть, — а в своем государстве!

— Его государство, — саркастически улыбнулся Ликовенков.

— Да мое, а почему бы и нет?

— Я не говорю, что нет, — вдруг сбавил он тон. — Но будет вам известно, что это государство не перельманов, а рабочих и крестьян, и служить ему надо честно, а не ловчить...

Я все рассказал Васильеву.

— Ну и что? Что ты ему ответил? — прерывал он меня через каждое слово...

— Ответил, что не у вас работаю.

— Слабо! За такие речи скоро судить будут.

Однажды вечером, когда мы сидели у него на Песчаной и творили нашу культпросветповесть, ему принесли письмо. Он при мне его распечатал и сказал, что оно от одного гениального поэта, фамилия которого Мандель. И тут же рассказал его судьбу. После войны Манделя арестовали и судили по 58 статье. Все произошло так молниеносно, что мать даже не успела с ним попрощаться. Почти полгода старая, больная женщина обивала пороги разных организаций, пока какой-то добрый человек не посоветовал ей обратиться к секретарю Московского комитета

партии Козловой, тут-то она и встретила с помощником секретаря Васильевым, который, кажется, устроил ей встречу с сыном.

Позже я часто встречал Манделя у Васильева. Он приходил всегда неожиданно, небритый, всклокоченный, в расстегнутой рубашке, со съехавшим галстуком, и читал Леше свои новые стихи. Были они чаще всего о Сталине, о сталинской эпохе, но с его, Манделя, позиции. Алексей разводил руками. Это была высшая форма его восхищения, и, когда Наум кончал, почти всегда повторял одно и то же:

— Эх, если б ты написал о партии, вот было б дело!

151

Затем он подсказывал Манделю какую-нибудь животрепещущую партийную тему — о парторге или сельском избаче. Тот хватался за нее, восклицал, что это блестящая идея и что сегодня же ночью он засядет за новую поэму. И снова пропадал на полгода или год, и ни за какую партийную тему не садился, а являлся опять же неожиданно, все тот же, небритый, всклокоченный, с новыми произведениями за пазухой.

Однажды Алексей послал Манделя в Волоколамский район. Туда во время так называемого движения десятитысячников уехал председателем колхоза один из ближайших друзей Васильева.

— Представляешь, Наум, коммунист, приехавший из города, вытягивает отстающий колхоз. Какую можно создать поэму!

Почти месяц Мандель просидел в колхозе, не отходил от председателя ни на шаг. Приехал восхищенный, сказал, что таких людей еще не видывал. Но потом снова пропал, так и не написав ни строчки, а Алексей еще долго недоумевал: "Где же Наум, черт на него, ведь гениальный поэт пропадает..."

Два или три раза за лето с дачи приезжала жена Алексея Нина. Он звал ее Нем. Это было удивительно живое и жизнерадостное существо. В квартиру Нем врывалась с шумом и смехом и тотчас принималась за уборку, потом бежала в магазин и устраивала нам с Алексеем пир: с водкой и отварной картошкой.

В обычные дни мы накупали любительской колбасы и уписывали ее с хлебом и чаем.

Алексей рассказывал, как он женился на Нем. Они познакомились на районном комсомольском вечере. До конца вечера он не отходил от нее ни на шаг. А после повез ее к себе домой. Дом его представлял собой семиметровую комнатенку, меблированную одной-единственной раскладушкой и столиком. Когда они пришли, Алексей запер дверь на

ключ и сказал: все! С этого вечера она будет его женой... И так они прожили 13 лет!

Васильев был единственный в Управлении, кого побаивался Ликовенков. Это чувствовалось даже по тому, как начальник Управления называл его: мой парторг или Алексей свет Алексеевич.

Васильев оставался самим собой — сдержанным, неторопливым, басовитым. Мне казалось, что временами я читал в его взгляде: "Мельтеши не мельтеши, а я все же знаю тебе цену".

152

На первом же заседании партбюро Алексей предложил Ликовенкову выступить на партсобрании с докладом об эффективности работы аппарата Управления. Николай Георгиевич первый поддержал предложение парторга, сказал, что вопрос давно назрел, но кто-кто, а он знал, куда клонит Алексей. Васильев искренне хотел поправить дело и объявил Ликовенкову войну. У каждого в ней были свои методы. Васильев критиковал Ликовенкова на партсобраниях, обсуждал его работу на партийном бюро и однажды даже вынес вопрос о нем на бюро райкома. Ликовенков ходил и жаловался на Васильева в МК партии. Он говорил, что Васильев — интриган, мешающий ему работать, и требовал, чтобы его убрали.

Эта борьба кончилась полной победой Ликовенкова. Последним Лешиным шагом было письмо секретарю ЦК КПСС Сулову. Не поддержанный ни в ЦК, ни в МК партии, он вынужден был уйти, а незадолго до этого была сокращена должность юрисконсульта.

## **БУНТ В ЦДРИ**

Шел 1956 год. Только что закончился XX съезд партии, на котором Хрущев выступил с докладом о Сталине. Повсюду проходили бурные собрания, осуждавшие культ личности.

Прошло такое, собрание и у нас в Управлении. Первое собрание, когда Алексей не был парторгом, и последнее, на котором я присутствовал.

Домой я пришел поздно и, переполненный чувствами, долго не мог уснуть, а рано утром меня разбудил телефонный звонок. Со сна я никак не мог узнать голоса соседа по лестничной клетке — кинорежиссера, недавно переехавшего в наш дом вместе с молоденькой женой Любастиком. Всегда и без того живой и темпераментный, он орал в трубку как оглашенный: "Витька, сволочь! Слышал, что делается в Варшаве? Студенты вышли на

улицы. Я всю ночь не спал, разбудил Любастика. Кружил ее по комнате... Демократия! Студенты вышли на улицы!"

Кажется, в тот же день я встретил Генкина. Шел по Петровскому бульвару, и вдруг кто-то нагоняет меня и берет за руку.

— Ба! Великий математик! Сколько лет! Давно ли был в Быкове? Как Крыловы? Что Сендах? Генкин, как всегда, не-

153

много странен и не отвечает ни на один из вопросов. С загадочным выражением он вплотную приближается ко мне:

— Готовится реабилитация Бухарина... А кто убил Кирова, знаешь? Сталин!

Все это я уже знаю и меня интересуют Сендах и сестрички Крыловы.

— А кто заложил Сендаха, знаешь? — продолжает он тем же загробным голосом. — Жарков! Учти, все становится на свои места. Идут новые силы.

Мы прощаемся, и я машинально смотрю ему вслед, ошарашенный услышанным. Я хотел спросить, что стало с Жарковым, но не успел.

Я часто вспоминал эту последнюю фразу великого математика. Возможно, оттого, что уж очень авторитетным голосом он выдал свой прогноз, над которым жизнь так зло посмеется. Пройдет немногим более года, и события в Венгрии возвестят миру о закате эры свободы. И новые силы, приход которых пророчествовал Генкин (да только ли он!), так и не выйдут на арену истории. Впрочем, интеллигенция еще долго будет жить иллюзиями, убаюкивая себя сладкой мыслью, что-де история не знает обратного хода и рано или поздно свет все равно победит тьму. События в Чехословакии положат конец им. И канувшая в лету эра свободы оставит новому поколению лишь полный сомнений самгинский вопрос: А был ли вообще мальчик? Может, и мальчика не было?

Так много изменилось с тех пор, настолько иным выглядит время, что и самому мне бывает непросто поверить в реальность событий, участником которых я был.

Молодежный вечер в ЦЦРИ. Зал так набит, что я еле протиснулся и примостился в проходе. Сижу ошарашенный, с трудом веря в происходящее. Обсуждают фельетон "Плесень". Кто обсуждает? Да кто угодно! Вход на вечер открыт для всех.

Один из ораторов, представившийся студентом филфака, говорит, что советское общество, разделенное на касты, построено вопреки Марксу. В "Критике Готской программы" Маркс выдвинул требование, чтобы



зарплата чиновника не превышала зарплаты среднего рабочего. А посмотрите, что творится у нас? Зал бурно аплодирует.

— Сейчас его сграбастают, — острит сзади меня мужской голос. Но на трибуне уже другой оратор.

— Кто вы? — пытается выяснить председательствующий.

— Не все ли равно кто? Гражданин свободной страны! —

154

Размахивая перед собой руками, он волнуется, мешают длинные волосы, спадающие на глаза. Он говорит, что молодежь живет серой, неинтересной жизнью...

— Время, время, дорогой товарищ, — нервничает председательствующий.

— Я хотел спросить, — бросает волосатый в зал, — устраивает ли вас комсомол?

— Да, устраивает! — восклицает из президиума полнолицый рыжеватый крепыш с комсомольским значком на лацкане пиджака.

— Слово имеет заведующий отделом газеты "Комсомольская правда" Алексей Иванович Аджубей.

И полнолицый произносит получасовую речь, обрушившись на желторотых юнцов, неизвестно как проникших в ЦДРИ.

— У вас нет права так говорить! — гремит зал. — Здесь все равны.

Председательствующий изо всех сил стучит стеклянной пробкой по графину:

— Может, на сегодня, друзья, хватит?

— Еще! — гремит зал. — Почему не всем дают слово? Вечер кончается во втором часу ночи...

Это был еще пятьдесят пятый год, а вот уже весна пятьдесят шестого. Заседание литературной секции Московского областного лекционного бюро. Среди членов секции, собравшихся на это заседание, присутствую и я. На повестке дня — обсуждение романа Дудинцева "Не хлебом единым".

Приглашен и сам Дудинцев. Низенький, плотный человек, с большими отечными мешками под властными, острыми глазами, он говорит о прототипах Шутикова и Дроздова, о том, какие мытарства пришлось пережить роману, пока он увидел свет. Шутиковы и Дроздовы сидят не только в министерствах, они и в издательствах...

Слово берет председатель секции доцент МГУ Пустовойт. Ему тоже нравится роман Дудинцева. Но, по его мнению, в нем несколько смещены

акценты. Не показана роль партии, и поэтому зло не получает должного отпора.

— А в жизни зло получает отпор? — поднимается Дудинцев, его маленькие злые глаза готовы пробуравить Пустовойта. — Хотите обязательно равновесия положительного и отрицательного.

Я целиком на стороне Дудинцева, остальные тоже. Принимается решение — начать широкую пропаганду романа "Не хлебом единым".

155

Через несколько дней снова встречаю его автора. В толпе, возле Центрального дома литераторов. У входа в ЦДЛ конная милиция. С минуты на минуту должно начаться обсуждение романа. Какая-то старушенция тщетно пытается прорваться сквозь кордон милиции.

— Ты что, бабуся? — берет ее за локоть улыбающийся Дудинцев. Вместе с Симоновым он с трудом продирается к двери.

Старушка даже не слышит его.

— Да куда же ты, бабуся? Что случилось?

— А то не знаешь? Какой-то Дудин, говорят, правдивую книгу написал!

Но почему потерпел крушение этот бурный, клокочущий, столь много обещавший пятьдесят шестой год? На XX съезде Хрущев выступил с разоблачением культа Сталина. Но парадокс состоял в том, что никакого культа уже не было, ибо уже три года не было в живых самого Сталина. Единственный удар, который можно было нанести вождю — это вынести его останки из мавзолея. Но повсюду остались сталинисты, и фактически удар Хрущева пришелся против тех, кто сидел в Большом кремлевском дворце и бурно аплодировал ему, принимая решения XX съезда. Произошла удивительнейшая вещь — единогласно проголосовав за резолюцию съезда, они фактически повели против нее тайную и жестокую борьбу.

Принято говорить, что английский король царствует, но не правит. В Советском Союзе, кто бы ни стоял у власти, всегда правит партийный аппарат. Эпоха Хрущева блестяще это доказала. Он был первым секретарем ЦК, позднее и председателем Совета Министров СССР. Он оставался лишь царствующим королем, лишь главным режиссером событий на авансцене. Фактически правили те, кто находился за кулисами. Они, в частности, и решили исход борьбы между Лешей и Ликовенковым.

**ПРИ ИХ МОЛЧАЛИВОМ СОГЛАСИИ...**

В один из зимних вечеров я зашел к Васильеву и застал всегда шумную и жизнерадостную Нем плачущей. Едва успокоившись, она зарыдала снова и стала говорить, что больше так жить не может. У нее уже давно нет мужа. Алексей из-за своих партийных дел давно уже не живет, а существует.

156

Сам Алексей сидел подавленный и молчал. В тот день я не был на службе, и в мое отсутствие произошло событие, которое решило все. Нет, это случилось не на партийном собрании, а за кулисами — маленькое, незначительное событие по ведомству никогда и ничего не решающего сектора учета райкома партии.

Обстановка в Управлении культуры накалилась к тому времени до предела. В ЦК одно за другим шли анонимные письма. Нет, не на Васильева обрушился неизвестный автор, а на Ликовенкова, на его моральный облик. Имея жену и дочь, он, оказывается, одновременно сожительствовал с двадцатидевятилетней сотрудницей Управления Галиной Акимовой. При этом приводились детали, которые могли быть известны только самому Ликовенкову и секретарю парторганизации.

Некоторые, уже не стесняясь, говорили, что, борясь с Николаем Георгиевичем, Васильев не брезгует никакими средствами. Алексей сам предложил вынести вопрос на партийное собрание, но Ликовенков почему-то оттягивал его. И теперь стало ясно почему.

К концу дня Васильеву позвонил инструктор райкома и сообщил, что решено выделить из парторганизации управления культуры отдел радиосообщений, находившийся в другом районе. Отдел радиосообщений, насчитывающий 17 коммунистов, был единственным, который в полном составе поддерживал Алексея.

— Но почему так решили? В чем причина? — недоумевал по телефону Васильев.

— Ни в чем, — последовал невозмутимый ответ, — просто руководство решило, что так будет правильнее, ведь партия строится по территориально-производственному принципу, а не просто по производственному.

Ни у меня, ни у Васильева не было сомнения, чьих это рук дело. Оставался один выход — обратиться в ЦК партии.

— Партия не может от нас отвернуться, — говорил Васильев, — мы же отстаиваем ее линию.

Письмо к Сулову мы вынашивали вместе, и так же, как Алексей, я с нетерпением ждал развития событий. Примерно через две недели позвонили из ЦК и сообщили, что письмо направлено в Московский комитет лично товарищу Капитонову.

Алексей пытался возражать, но голос в трубке невозмутимо ответил: "Московскому комитету мы и не такие дела доверяем".

157

А еще через неделю его вместе с Ликовенковым пригласили к секретарю обкома по пропаганде Андрею Ивановичу Горчакову, с которым Алексей работал в свое время в МК комсомола.

Леша всю ночь писал, готовился к бою. И я снова ему помогал, не подозревая, что там, за кулисами, уже все решено.

Горчаков встретил их как лучших друзей, вышел из-за стола.

— Ну что, петухи, явились? — он был в отличном расположении духа, с его лица не сходила улыбка. — Иван Васильевич просил меня тут с вами разобраться. А чего разбираться, работать надо, а не письма писать!

— Но мы же коммунисты! — пытался вставить Васильев.

— Знаю, знаю, Леша, ты человек горячий, принципиальный, а он начальник Управления, с ним тоже считаться надо.

— Веришь или нет, товарищ Горчаков, за два года одни только склоки. Сил больше нет, честное слово! — поднялся Ликовенков. И, достав из кармана носовой платок, стал шумно сморкаться.

— Справки, между прочим, тоже нужны, — продолжал Горчаков. — Вот только перед вами вызывает меня первый секретарь и говорит: "Срочно давай наши предложения по Союзпечати, ЦК к завтрашнему дню требует". Так что же мне теперь, первого секретаря в бюрократизме обвинить, так, что ли, Алексей?

— Но я не против справок!

— Знаю, Алексей, ты из хороших побуждений. В общем, так, друзья, письмо мы это, конечно, закроем. А вы давайте за дело, дружно, по-партийному. А то что же получается? Народ решения XX съезда обсуждает, против культа личности борется. А мы? В общем, за дело и будьте здоровы. А то мне достанется на орехи из-за этой Союзпечати, будь она неладна.

На этом аудиенция закончилась. Через несколько месяцев Васильев ушел из Управления. Вскоре ушел и я. Только друзья еще долго подшучивали надо мной:

— Правдолюбец, интересно, зачем ты ввязался в эту историю? И что

тебя связывало с этим Васильевым? Чего ты хотел добиться?

— Чего хотел, — отшучивался я, — ясно чего — посклочничать. Вы же знаете мою натуру, неспособную жить в мире с начальством...

158

Если мне что-то сложно объяснить, я всегда отделяюсь шутками. Когда-то Васильев говорил, что нас с ним связывала вера в партию. Из песни слова не выбросишь. Это было действительно так. Но с одной существенной оговоркой. Я верил в партию 56-го года, в партию XX съезда, в партию, проклявшую Сталина. Я верил в то, чего никогда не существовало, и, вступив в одну партию, оказался совсем в другой.

События прошлого не проходят бесследно для их участников, и 56 год не был в этом смысле исключением.

В последнее время я почти не встречаюсь с Васильевым. Работает он в центральном аппарате, на хорошем счету. Уже много лет ни с кем не борется и, как миллионы других, аккуратно голосует за решения вышестоящих органов. Словом, зрелый работник, которому можно доверить любое дело. Живет он там же, на Песчаной. Правда, его Нем сильно сдала, хотя осталась такой же обаятельной и жизнерадостной, как была когда-то. Берут свои годы и у Алексея. Раньше он просиживал целыми вечерами за письменным столом. Теперь предпочитает вечерами прогуливаться по тихим песчаным улицам. Однажды я встретил его идущим под руку с пожилым, сидящим человеком, лицо которого я совершенно очевидно где-то видел.

— Вы не знакомы? — спросил Леша. — Андрей Иванович Горчаков, бывший секретарь МК.

Горчаков — теперь персональный пенсионер, живет по соседству с Васильевым, и вечерами они вместе гуляют возле дома. Я давно убедился, что жизнь любит перетасовывать карты, и ох, как трудно иной раз разобраться в колодах, которые она нам подсовывает!

Случается, заводим с Алексеем разговор о прошлом. Он смеется.

— Бойцы, едрена палка! Один друг у нас в отделе здорово по этому поводу говорит: "Знаешь, Леша, что в нашей жизни самое главное — это уметь молчать и голосовать". Во, брат, философия! — смеется Алексей.

Васильев говорит, и я думаю о метаморфозе, которую претерпел он сам, растворившись в миллионах молчащих и голосующих.

Один из моих знакомых — мудрый 73-летний старик, объездивший весь мир, любит говорить: "Надо знать, в какой

159



стране родиться". Но на этот счет есть и еще одна мудрость, принадлежащая древним китайцам: "Ищи корни бед своих в самом себе". Многое становится ясным, если обратить эту мудрость на беды России, которой на протяжении всей ее истории сопутствовала незаслуженно тяжкая судьба. Татарское иго, крепостничество, гнет жестоких царей, сталинизм... Но отчего все это?

Согласно марксистскому учению, народ — единственный творец истории. В советской конституции записано, что он и только он является полновластным хозяином страны. А недавно на одной из художественных выставок я натолкнулся на полотно, которое, по замыслу автора, должно было воплотить эту мысль посредством живописи. На полотне депутаты, сидящие на сессии Верховного Совета СССР в Большом Кремлевском дворце. Ничего не выражающие лица. Покорно поднятые руки: за что они голосуют? За новую пятилетку? За новый бюджет? За новых министров? Праздные вопросы! За все, что им будет предложено!

Я смотрел на их лица и думал о прошлом России. Это на спинах их дедов и прадедов 300 лет стоял нетленный дом Романовых. Это их, стонущих в рабстве дедов и прадедов, звали к бунту Герцен и Чернышевский. На трупах их сограждан, заживо сгноенных в подвалах Лубянки и лагерях Сибири, пришел к власти Сталин. Голодом и недородом они платили за ошибки Хрущева. Серой и убогой жизнью — за бездарность его преемников, и кто бы и как бы ими ни правил — они молчат и терпят.

Вероятно, творить историю тоже можно по-разному — можно, как французские санкюлоты, добывающие свободу на баррикадах, а можно, как "народные избранники", предоставившие все за себя решать другим, а самим лишь — "молчать и голосовать".

Одну из своих книг, написанных в 37 году, Бруно Ясенский предваряет широко известным эпитафией — словами Роберта Эберхардта из "Царя Питекантропа Последнего". Вот этот эпитафия: "Не бойся врагов — в худшем случае они могут тебя убить. Не бойся друзей — в худшем случае они могут тебя предать. Бойся равнодушных — они не убивают и не предают, но только с их молчаливого согласия существует на земле предательство и убийство". Миллионами жертв, погибших в

сталинских застенках, расплатились люди в России за свое бесценное умение "молчать и голосовать".

И это же, в сущности, умение проявили в 56 году двадцать два коммуниста Управления культуры, когда снимали их парторга Алексея Васильева.

Как позже доложил начальству присутствовавший на собрании представитель обкома, партийная организация проявила высокую зрелость. Собрание прошло без нездоровых выпадов и демагогии. Впрочем, иначе не могло и быть. Все уже знали, что Васильевым недовольны в МК и будто бы сам первый секретарь сказал, что ему нечего делать в Управлении. Поэтому, когда Алексей просил освободить его от обязанностей парторга, никто не промолвил и слова. Молча проголосовали. И постановили; "Просьбу товарища Васильева удовлетворить. 22 — за и ни одного — против".

И так же, но несколько позже, голосовали в Союзе писателей, осуждая вредный роман Дудинцева. И так же исключали из партии историка Некрича за его антисталинскую книгу "41-й год", а из Союза писателей — Александра Солженицына. При молчаливом согласии равнодушных шла борьба с космополитами. На этом извечном, покорном согласии, в том числе согласии самих евреев, во все времена зиждился антисемитизм.

Так было и так есть. Молчит Россия. Молчит. И нет границ ее терпению...

...А областное Управление культуры находится все там же, в проезде Куйбышева, неподалеку от входа в ГУМ. Правда, Михала Петрович вышел на пенсию, отслужив четверть века на поприще областной полиграфии. Зато старый холостяк Лоритто все так же выдает путевки актерам Мосэстрады, выезжающим в область. И стоят где-то там подведомственные Управлению развалюхи-клубы, опорные базы коммунистического воспитания трудящихся. И справки пишутся, как и раньше, в бытность Ликовенкова.

Сам Николай Георгиевич несколько лет назад умер. Узнал я об этом случайно, наткнувшись на маленький некролог в "Московской правде". Некролог был загнан куда-то в угол, на четвертую страницу. Будто перед смертью допустил Николай Георгиевич некие тайные прегрешения. Недоумения рассеял Васильев, которому я тут же, как увидел газету, позвонил.

— Никаких загибов! Просто обнаружили у него в несгора-

161

емом ящичке копии анонимок. Помнишь те, которые шли на него в ЦК. Не успел, видно, уничтожить — разрыв сердца!

— Анонимки у него самого? Так что ж это, выходит, он сам на себя...  
— все еще никак не могу я поверить.

— То и выходит, что думаешь, — отвечает Васильев, явно раздраженный моей непонятливостью.

162

## *ЧАСТЬ ВТОРАЯ*

### **КРУШЕНИЕ**

#### **ОТРИЦАНИЕ ОТРИЦАНИЯ**

На этот раз я выходил из райкома в превосходном настроении. В боковом кармане приятно оттопыривалась только что врученная мне кандидатская карточка. Даже на фото против обыкновения я получился вполне респектабельным — такая уверенная и довольная собой личность.

Секретарь райкома Рябинин держался легко и весело. Задал мне единственный вопрос — читал ли я классиков марксизма по первоисточникам. На что я ответил, что читал. А Гегеля и философию сдавал дважды — один раз в Юридическом, другой раз в Полиграфическом институтах.

— А себе что-нибудь оставили? — засмеялся Рябинин и, оглядев членов бюро, сказал: — Что, товарищи, есть предложение принять — вполне образованный марксист.

Это были последние дни марта 1956 года. Стояла ранняя весна. Под лучами теплого мартовского солнца таял снег, и на мостовых появлялись первые ручьи. Я не спеша шагал по улице Чехова и, заложив за спину руки, победно оглядывал прохожих. Жизнь складывалась не так уж плохо. И все благодаря тому, что я не пал духом. Конечно, Ликовенков, воспользовавшись своими связями в партии, устроил нам с Апексеем Аустерлиц. Но что, Алексей разве перестал от этого быть лич-

163

ностью и разве дело не оборачивалось так, что победитель теперь вынужден был служить побежденному, издав приказ о моем назначении корреспондентом московского отдела радиосообщений. И что плохого в том, что вера в партию и XX съезд совпала у меня с верой в самого себя.

Молодость наивна. Но в том и сила ее, что о бытие она способна

мыслить простыми и однозначными категориями. Философия жизни не для нее. Возможно, поэтому молодость не знает сомнений. И именно потому она счастлива.

В студенческие годы я действительно читал кое-что Гегеля. Я мог, потрясая своих хорошеньких приятельниц эрудицией, размышлять вслух о его триаде и законе отрицания, доказывая, что гегелевский тезис, антитезис и синтез и есть суть бытия. Единственно, над чем я не задумывался, что сам я лишь один из подопытных кроликов, на которых, сколько существует мир, диалектика выделяет свои нескончаемые выкрутасы. Я был мудрым гегельянцем для других, но сам для себя оставался наивным метафизиком, полагающим, что главное в жизни быть сильной личностью и уметь непреклонно идти к цели. Теперь, оглядывая прошлое, вижу, что я и есть лучший пример отрицания отрицания, ибо всю жизнь менял кожу ради того, чтобы найти самого себя.

Начать хотя бы с 56-го года. Вступив в партию и обретя веру, я почувствую, как под теплым мартовским солнцем у меня в жилах заиграет кровь, и навсегда отрекусь от того разуверившегося неудачника, кем я был в течение нескольких лет после окончания института.

Казалось, наступает новый этап в жизни, несущий с собой личное удовлетворение, веру и идеалы. Но на смену 56-му году придет осень 57-го, когда без всяких оснований, а точнее лишь потому, что я еврей, меня привлекут к партийной ответственности по так называемому делу Великовского.

Оставшись на полгода без работы с выговором от Комитета партийного контроля и без надежды устроиться, я несколько изменю свое мнение о том самовлюбленном карьеристе, который еще недавно с видом Наполеона выходил из Свердловского райкома партии.

Пять месяцев окажутся достаточными, чтобы я на собственной шкуре почувствовал гримасы гегелевской триады. И далее все пойдет в таком же роде — мой неугомонный дух будет искать для того, чтобы отрицать, и отрицать найденное, чтобы

164

продолжать искать, пока не обретет сегодняшнее свое состояние, которое на языке Гегеля можно было бы выразить так: идея путем длительного саморазвития постигает самое себя.

Такова в общем виде моя философская синусоида, которую далеко не просто уложить в рамки реальной жизни.

Жизнь куда сложнее философских систем, и если, по словам Бруно

Ясенского, человек и меняет кожу, то никому не дано проследить, как и когда именно он это делает. Поэтому можно, конечно, сказать, что, когда весной 57-го года мне позвонил заведующий приемной "Советской России" Безуглов и сказал, что у него есть потрясающий материал для фельетона и что этот материал мне тотчас принесет сам пострадавший, лауреат Сталинской премии Великовский, — так вот, если рассматривать все происшедшее как простую цепь случайностей, — можно, разумеется, сказать, что именно в этот день и была заминирована моя вера в идеалы XX съезда партии, которая с такой силой подорвется на заседании Комитета партийного контроля. Но если быть более последовательным диалектиком, то нельзя не предположить, что эта мина была подложена гораздо раньше. И если еще не в военном лагере, то уж наверняка ее часовой механизм затикал, когда я очутился в московском отделе радиосообщения и когда мои мечты о журналистской деятельности столкнулись с реальной жизнью.

## МОСКОВСКОЕ РАДИО

Ко дню моего перехода на новую работу в моей голове уж созрел идеал журналиста. Я никогда его не видел в жизни и, во всяком случае, не увидел в редакции Московского радио, но именно таким хотел стать сам — воителем и правдолюбом, борющимся с пороками общества и действующим по голосу совести. По-видимому, во мне уже тогда причудливо сочетался неуживчивый критический дух с наивным идеализмом ребенка, мечтающего о каком-то прекрасном и неведомом ему поле деятельности, где сможет наконец проявить себя его активная и жаждущая борьбы натура.

В отделе радиосообщения я застал воителей особого рода, которые весь свой ратный пыл тратили на борьбу друг с другом.

К марту 56-го года здесь было сменено руководство, и на место бывшего председателя московского радиокomiteта

165

(так он назывался до преобразования в отдел радиосообщения) бывшего моряка и журналиста Калмыкова пришел бывший завсектором печати МГК КПСС Дмитрий Семенович Пахомов.

Калмыков был талантливый остряк, балагур и любимец коллектива. Хотя в этом коллективе были и группы, и группки, но Калмыков благодаря личному авторитету и обаянию умел пресекать интриги на корню.



Единственно, что за ним числилось, — он был не дурак выпить, что, впрочем, никак не лишало гармонии его цельную веселую натуру, но что помогло Ликовенкову с треском его снять с работы.

Дмитрий Семенович был длинный, глуховатый и слегка заикающийся человек. Он не пил, никогда не работал журналистом. И до него, как до жирафы, на которую внешне он был похож, все доходило в замедленном темпе. К чести Дмитрия Семеновича, он этого обстоятельства и не старался скрыть. И когда на совещаниях, которые он проводил каждый день, разгорался спор и кто-нибудь чего-нибудь недопонимал, он любил вставлять одну и ту же не лишённую остроумия фразу: "Ну, товарищи, это, кажется, понял даже я".

Что касается его взаимоотношений с работниками, половину которых составляли евреи после погрома, устроенного в 50-х годах на Всесоюзном радио, то он недвусмысленно давал понять, что такой "несправедливости" не потерпит и так же, как на Всесоюзном радио, проведет чистку у себя.

Начал с самого пробивного и несимпатичного ему Исаея Осинковского, но тотчас потерпел фиаско. Маленький Исай, уволенный Дмитрием Семеновичем, вскоре восстановился по суду и после восстановления написал на Дмитрия Семеновича жалобу в ЦК.

Тогда Дмитрий Семенович перешел к длительной атаке и стал ущемлять интересы своих противников. В агитпроп ЦК пошли анонимные письма. Борьбу против Пахомова и "пахомовцев" теперь возглавил старый коммунист Михаил Михайлович Глушков. Для этого у него были свои, сугубо личные причины. Михаил Михайлович считал себя непризнанным сатириком. Но, не сумев опубликовать произведение своей жизни "Живые души", насчитывавшее свыше тысячи страниц и 170 персонажей, он обрушил свою желчь на Дмитрия Семеновича и его окружение, переставшее допускать Михаила Михайловича в эфир.

166

В агитпроп ЦК уже шли не только письма, но и анонимные пьесы. Главными героями были сам Дмитрий Семенович и инструктор отдела пропаганды МК партии Александра Петровна Королева, курировавшая отдел радиосообщений. В этих пьесах Пахомов и Королева вели нескончаемую войну с корреспондентами Левитиным, Лерманом, Майзлиным, Осиновским. Борьба эта, как правило, заканчивалась одним и тем же вопрошающим рефреном Дмитрия Семеновича: "Так когда же, Саша, мы прикончим эту компанию, несет она России одни только беды?" — "Скоро, Дима, скоро, дай только, милый, срок!"

Я не уверен, что Михаил Михайлович, оказавшийся в конце концов в психиатрической больнице, уже тогда не был душевнобольным, хотя он и возглавлял штаб народной дружины Свердловского района.

Но совсем недавно я о Глушкове вспомнил снова, когда попался мне роман Ивана Шевцова "Во имя отца и сына". Было много общего в произведениях сумасшедшего правдолюбца Михаила Михайловича Глушкова и черносотенных писаниях Шевцова, хотя одни оседали в архивах МГК и ЦК, а другие шли массовыми тиражами на книжный рынок. И тот, и другой — каждый по-своему — отражали реальные настроения, царившие среди многих власть имущих советского общества.

Об этом я еще буду писать, а пока хотел лишь представить тот коллектив "воителей и правдолюбцев", в среде которого я оказался в марте 56-го года.

Надо было видеть лицо Дмитрия Семеновича, когда после приказа Ликовенкова я пришел выяснить, с какого числа мне выходить на новую работу.

— Как фамилию-то назвали — Перельман? — прижал ладонь к уху Дмитрий Семенович. — Где-то я уже слышал эту фамилию, а? — Он молча почесал затылок. — Ну и, значит, хотите выходить на работу... А куда выходить-то хотите?

— Как куда? В отдел радиоинформации.

— Ну, это понял даже я, — улыбнулся Дмитрий Семенович. — А вот на какую штатную единицу хотите выходить? У меня ведь нет ни одной — как говорят доминошники, "пусто-пусто"...

Так и ушел я не солоно хлебавши. После чего последовала целая серия звонков — от Ликовенкова Дмитрию Семеновичу, от Ликовенкова в МК КПСС. Из МК партии опять Дмитрию Семеновичу, пока тот, не выдержав наконец натиска, не дал согласия на мое зачисление.

167

Когда я пришел к нему во второй раз, он, заикаясь, сказал мне "здравствуйте" и тотчас подвел к развешанной по всей стене карте Московской области. Он долго что-то выискивал. Наконец удовлетворенно ткнул ручкой в верхний угол:

— Во!

— Что "во", Дмитрий Семенович? — спросил я, впрочем, уже догадываясь, что означал этот его жест.

— Во где будете работать, — простодушно улыбнулся Дмитрий Семенович, не замедлив подтвердить мои предположения.

Он сказал, что дня всестороннего освещения жизни села после Сентябрьского пленума ЦК КПСС создается группа кустовых корреспондентов в составе товарищей Осиновского, Лермана, Левитина, Майзлины и В..в..в...ас, — закончил Дмитрий Семенович все с той же озарявшей его лицо улыбкой.

Через несколько дней я выехал в свой "куст", объединявший Высоковский, Клинский и Солнечногорский районы. И, как мне было велено, передал по телефону первые шесть инфомаций о ходе сева в западных районах Московской области. Над каждой из них сидел по целому вечеру, по десять раз переставляя фразы, обсасывая каждое слово.

Но когда приехал в Москву, то с огорчением узнал, что прошла из них только одна и притом только три строки из нее, что в колхозе "Борец" (или имени Ленина, не помню точно) сев яровых прошел в сжатые сроки и при хорошем качестве полевых работ.

Присутствовавший рядом Исай Осиновский саркастически усмехнулся и похлопал меня по спине:

— Наивный ребенок, он думает: главное написать. Лично я за неделю сдал 12 материалов, но ни один не пробил сквозь кордон пахомовцев.

Подошел анонимный драматург Михаил Михайлович Глушков, как всегда с невозмутимым лицом щелкающий семечки, семечки были его страстью. И, пошептавшись о чем-то с Исаем, вдруг повернулся ко мне:

— Пора, молодой человек, и вам включаться. Помните, отсидеться никому не удастся. Вопрос стоит так — или мы пахомовщину, или пахомовщина — нас.

Появился Дмитрий Семенович и, сделав вид, что он меня не видит, подошел к Осиновскому.

— Исай Борисович, вы же сказали, что вы больны и не можете ехать на куст.

168

— Это утром я был болен, Дмитрий Семенович, а сейчас уже здоров.

— Вы болен, Исай Борисович, и прошу оставить редакцию.

— Я абсолютно здоров, Дмитрий Семенович.

— Ну хорошо! — сказал Дмитрий Семенович и удалился.

Продолжая с невозмутимым лицом щелкать семечки, Михаил Михайлович бросил ему вслед: "Бериевец!"

В борьбу с Пахомовым я так и не включился, но и вкус к большому эфиру, о котором еще недавно так мечтал, кажется, утратил навсегда. То есть внешне все оставалось по-прежнему. Раз в неделю я выезжал на

"куст", привозил репортажи, которые обычно долго лежали и в конце концов не шли. Записывал выступающих у микрофона, но к тому времени область моих интересов была уже иной. И именно эта моя страсть, заложенная, по-видимому, в моих бродильных генах, привела меня к делу Абрама Великовского.

## ПЕРВЫЙ ФЕЛЬЕТОН

Началось с того, что встретил я как-то на Петровке своего старого знакомого по институту Толю Безуглова. На третьем курсе мы занимались в одном и том же научном кружке по советскому государственному праву. И даже в один день сделали на кружке доклады. Мой — о соотношении права и экономики — вызвал восторженный отзыв руководителя кружка профессора Кравчука, Толин — о всеобщем избирательном праве в СССР — он подверг уничтожающей критике. И хотя читал Толя, мощно сверкая своими крупными цыганскими глазами и таким голосом, будто каждой фразой прокладывал новые пути в юридической науке, профессор Кравчук сказал, что товарищ очень огорчил его, поскольку просто взял и все переписал из довоенного учебника. Впрочем, это нисколько не помешало Толе — выходцу, как он всем говорил, из донских казаков — оказаться в прокуратуре СССР, в должности прокурора уголовно-судебного отдела.

Увидев меня, он необыкновенно обрадовался, рассыпался в комплиментах по поводу моего доклада и, узнав, что я пишу культпросветповесть, сказал, что через него в прокуратуре проходят великолепные материалы. "Сэнсация! (Вместо "е" у него получалось "э".) И все гибнет. Сокровишша, Витенька, гибнут (вместо "щ" у него получалось "ш"). Может быть, скооперируемся? Твоя голова, мои — материалы. Ваш бензин, наш — автомобиль".

169

На другой день Толя принес дело, которое потрясло меня. И залпом за одну ночь, сев за стол вечером и поднявшись где-то к пяти утра, я написал статью. Это было дело об убийстве, совершенном в Лихоборах пятидесятилетней Валентиной Семеновной Тихомировой. Воспользовавшись отсутствием сына, она задушила свою двадцатилетнюю невестку и, чтобы ввести в заблуждение следствие, пыталась представить это как самоубийство. Всего более потрясали мотивы преступления. Обожавшая сына Тихомирова с первых же дней возненавидела бесприданницу-невестку, приведенную им в дом. Она

мечтала о другой партии для него и, чтобы разбить семью, вначале задушила трехмесячного внука, а затем пошла и на убийство невестки, совершив преступление днем, почти на глазах соседей.

В папке старых газетных вырезок у меня сохранился пожелтевший и ставший для меня уникальным экземпляр "Труда", датированный 27 мая 1956 года. В этот день после долгих мытарств по редакциям центральных газет "Дело Тихомировых" наконец увидело свет.

Это был мой первый в жизни фельетон, первый дебют на журналистской ниве, и, верно, поэтому в памяти сохранились многие небезынтересные подробности.

27 мая было воскресенье. Еще утром, обнаружив статью на витрине у Петровских ворот, я помчался к ближайшему киоску "Союзпечати" и скупил все двадцать оставшихся экземпляров "Труда". Когда киоскер их отсчитывал, я так и жаждал услышать из его уст вопрос: "Зачем же так много, молодой человек?" Но вопроса не последовало, и, не выдержав, я спросил сам: "Вы не читали сегодняшнего "Труда", в нем потрясающий материал!"

Но киоскер не повел и ухом, и, забрав всю пачку, я отправился вниз по Петровке. Я не пропускал ни одной витрины "Труда" и вглядывался в лица каждого, кто останавливался и читал статью. Таких становилось все больше, материал был явно сенсационным. Я это чувствовал. Если витрину обступало сразу несколько человек, то испытывал подлинное наслаждение. Мне хотелось на всю улицу крикнуть, что это моя статья. Моя! Но я понимал, что это невозможно, и пытался тут же, у витрины, завести о ней разговор, чтобы как-нибудь все-таки ошарашить этих людей своим присутствием.

Я позвонил Безуглову, чья подпись первой стояла под фельетоном, и был оскорблен в лучших своих чувствах, услышав

170

по телефону его сонный голос. Он только от меня узнал, что статья появилась, но, разумеется, очень обрадовался. Тут же встретившись, мы сели в метро и поехали в парк культуры, где зашли в ресторан "Поплавок" и выпили. То есть пил я один, Безуглов сказал, что у него больная печень, поэтому он меня поддержит символически, и заказал себе отварную курицу. После ресторана настроение поднялось еще больше.

Мы познакомились с какими-то молоденькими студентками, и, усадив их на лавочку, тут же всучили им газету с "Делом Тихомировых" и заставили при нас прочесть, сохраняя молчание по поводу главного.



— Ну а теперь, девушки, — торжественно сказал Безуглов, — я представлю вам автора этого сенсационного материала, молодого, но уже достаточно маститого писателя Виктора Борисовича Перельмана.

Я пытался ответить ему тем же, но у меня не получалось.

— Я что? — улыбался Безуглов, сверкая жгучими цыганскими глазами. — Вот Виктор Борисович (вместо "и" у него часто получалось "ы") — это да, фигура, восходящая звезда!

Не помню, как мы расстались с девицами, куда отправились из парка культуры. Но вечером очутились где-то у Зацепы, в малознакомой нам компании. Вошли с триумфом.

— Прошу дорогу, товарищи, дорогу! — весело шумел в прихожей Безуглов. — Идут авторы "Дела Тихомировых", не читали? Прочтите, прочтите обязательно. Вот Виктор Борисович может дать вам интервью по этому поводу.

За столом к нам без конца подсаживались, спрашивали — неужели это все правда?

— Разумеется, — отвечал я, напуская на себя полнейшее безразличие.

— А как вы все это писали?

— Как, очень просто, авторучкой, — снисходительно улыбался я, чувствуя себя на верху блаженства.

За 16 лет у меня вышли сотни статей и фельетонов. По общественному звучанию многие из них далеко превзошли "Дело Тихомировых", но я не помню, чтобы когда-нибудь еще пережил подобное состояние.

Звонили друзья, родственники, и все считали нужным подчеркнуть, что хотя материал и сам по себе сенсационный, но вместе с тем великолепно написан.

Кленов говорил, что наконец-то я нашел себя и что у меня прирожденный талант публициста и именно в этом жанре я су-

171

мею добиться многого. Но более всех я чувствовал это сам. И всякий раз, когда мне предстояло ехать теперь на "куст" и писать о дружной самоотверженной работе сельских тружеников, у меня заранее портилось настроение. Я хотел писать о том, что вызывало у читателей гнев и сарказм. Друзьям говорил, что ничего не могу с собой поделать — такие уж у меня гены. Мне кажется, что в этой шутке была доля правды.

Встречаются природные оптимисты, для которых мир всегда окрашен в радужные тона. Мой генетический заряд, по-видимому, плохо поддавался управлению извне и оставался отрицательным даже тогда,

когда сам я, вдохновленный решениями XX съезда, преисполнился оптимизмом. Вот это я и называю своими "бродильными генами", которые в 56 году толкнули меня на неблагодарную и рискованную стезю газетного фельетониста.

На XIX съезде партии Маленков говорил, что советской литературе нужны "свои гоголи и щедрины", которые бы огнем сатиры выжигали пороки и пережитки, живущие в сознании людей. Гоголи и Щедрины, на их счастье, так и не появились в советской литературе. Но что их ждало, нетрудно представить, если вспомнить судьбы многих сатириков — от выдающихся, как Михаил Зощенко, до мало кому известных, как фельетонист "Литературки" Круглов, осмелившийся приподнять завесу над нравами, бытующими в среде советских кинодеятелей.

Подвергавшийся систематической травле, Зощенко так и умер, забытый всеми в своей старой ленинградской квартире. Признанный после многочисленных разборов клеветником, Круглов кончил жизнь самоубийством, выбросившись с седьмого этажа из окна редакции.

## ДОКАЖИТЕ, КОЛИ СУМЕЕТЕ

В 56 году я опубликовал в "Труде" целую серию фельетонов. Брался за все, что, по моему разумению, могло высечь искру в душе читателя. Писал о сектантах-пятидесятниках, о вагонных "нищих", сколачивающих капиталы на наивной доброте пассажиров, о чиновниках из Минлесбумпрома, уподобивших свою снабженческую базу тыняновскому подпоручику Кижее... И всякий раз, когда я приносил новый материал, заведующий отделом фельетонов знаменитый в то время Вяч. Сысоев устраивал мне допрос:

172

— Так, значит, говоришь, правы мы?

— Святая истина! — отвечал я.

— А откуда это видно? — читая фельетон, бурчал он. — Истина, истина... а где техника безопасности? Ты знаешь, кто такой фельетонист? Фельетонист — это канатоходец, чуть что — и вниз башкой.

Афоризм этот я усвоил быстро и, прежде чем сдавать фельетон, обычно долго и тщательно проверял факты и вместе с фельетоном тащил Вяч. Сысоеву целую папку бумаг, подтверждающих "нашу правоту". Но ни разу я не усомнился в другой, куда более важной вещи — а много ли стоит сама истина. Особенно в глазах тех, в чьих руках судьба

фельетониста.

В деле Великовского истина лежала на поверхности, и Безуглов — он перешел к этому времени работать из прокуратуры в "Советскую Россию" — в нашем разговоре по телефону не уставал это подчеркивать:

— Такое дело, Витенька, бывает раз в сто лет! Он — лауреат Сталинской премии, начальник управления Министерства легкой промышленности, на его стороне вся общественность. Она — квартирная хулиганка, клеветница, на ее стороне — никто. Тем не менее она безнаказанно травит его уже в течение ряда лет. Отдаю тебе материал полностью, без соавторства, надеюсь, ты в долгу не останешься...

В долгу я действительно не остался и в качестве платы вскоре написал за Безуглова фельетон в "Советскую Россию". Тогда я еще не знал, какую мину мне подложит явившийся буквально через час после безугловского звонка Великовский.

Меня вызвали из радиостудии, где шла запись, и я увидел невысокого, с длинной лошадиной челюстью брюнета в очках, скромно поджидавшего меня у дверей, с таким же, как и он сам, респектабельным портфелем в руках.

— Виктор Борисович! — обратился он ко мне низким густым басом и подал мне свою маленькую руку. — Великовский Абрам Семенович из Министерства легкой промышленности СССР.

Я увидел на лацкане его пиджака значок лауреата Сталинской премии.

Скоро мы сидели за столом, и, положив передо мной толстую папку с документами, он подробно и точно, будто докладывая на коллегии министерства, вводил меня в курс постигших его неприятностей. Но он бы мог и ничего не рассказы-

173

вать. Вложенная в папку целая кипа писем его соседки по квартире Надежды Сергеевны Ивановой говорила сама за себя.

Уже из первого ее письма, адресованного в Бауманский райком партии, Моссовет и партком Министерства легкой промышленности, следовало, что она, Иванова, не первый год страдает от семьи Великовских и его родственников, живущих с ним в одной квартире на Солянке. Великовские не дают ей пользоваться газовыми горелками и ванной, терроризируют ее детей. Пользуясь высоким положением Великовского, они поставили целью сжить со свету Надежду Сергеевну, а вместе с ней и ее второго мужа, честного русского рабочего Иванова, ставшего родным отцом ее малолетних сирот.

Судя по первому письму, Иванова выглядела заурядной кухонной склочницей, каких полным-полно в коммунальных московских квартирах.

Но это оказалось не так. Второе и третье письма уже были адресованы в Совет Министров СССР и ЦК КПСС. Все последующие направлялись по длинному перечню инстанций. В числе адресатов Надежды Сергеевны были первый секретарь ЦК КПСС Хрущев, председатель Совета Министров СССР Булганин, председатель Президиума Верховного Совета СССР Ворошилов. И чем дальше, тем отчетливее звучали две основные темы. Одна — сам Великовский. В последних письмах Надежда Сергеевна обвиняла его ни больше ни меньше как в том, что он отец ее младшего ребенка. Оказывается, еще три года назад произошла следующая история. Надежда Сергеевна так бедствовала, что ей даже не на что было купить сиротам молока. И она решилась зайти по-соседски к Абраму Семеновичу, чтобы одолжить пять рублей, а он, отпетый негодяй, воспользовался ее бедственным положением и заставил ее пойти на все. И "вот уже третий год растет у нее сын Великовского, а он не только не хочет знать его, но и всячески стремится замести следы преступления и затравить мать-одиночку..."

Другая тема, вначале звучащая слабым пианиссимо, когда речь шла только о травле честного русского рабочего Иванова, вдруг зазвучала мощным крещендо.

"Многоуважаемые товарищи, — обращалась Иванова в высшие инстанции, — Великовский по национальности еврей. И жена его — тоже еврейка. И все, кто живет в нашей квартире, тоже евреи. Все они богатые, стоят друг за друга и над нами издеваются, потому что мы бедные русские люди. Можно ли

174

терпеть такую несправедливость? За что сражались наши деды и отцы в 17-ом году? Неужели только за то, чтобы нашу кровь сосали всякие Великовские, Гуревичи, Гольдберги?"

Я намеренно цитирую эти письма. Пройдет немного времени, и они перекочуют из папки Великовского в другую папку — с грифом Комитета партийного контроля при ЦК КПСС. И на их основе будет создано совсем другое дело, которое, будучи преданным гласности, могло бы прозвучать не меньше, чем дело Бейлиса, и в реальность которого я бы и сам никогда не поверил, не доведись мне стать его участником.

Для проверки жалоб Ивановой была создана специальная комиссия парткома Министерства легкой промышленности СССР, затем комиссия

райкома партии. Обе пришли к выводу, что ни один из приведенных ею фактов не подтвердился, и письма Надежды Сергеевны Ивановой — злостная и преднамеренная клевета на коммуниста Великовского.

Однажды вечером Надежда Сергеевна устроила в квартире дебош. Она распахнула дверь на лестницу и во всю мочь кричала, что евреи избивают русскую мать. Затем стала стучать в дверь к Великовским и угомонила лишь после того, как его семидесятилетняя мать свалилась с сердечным приступом. Жена Абрама Семеновича вызвала милицию, но к ее приходу — а это произошло через полтора часа — уже никаких следов дебоша не осталось, если не считать лежащей с приступом старухи Великовской.

Иванова, вызванная из своей комнаты сотрудниками милиции, сказала, что ничего не знает, что весь вечер тихо играла с ребятишками и никого не думала тревожить. Тем не менее ей было сделано строгое внушение, ибо два часа подряд ходила ходуном вся лестничная клетка. Это подтвердили соседи и сверху, и снизу. Дело было передано в товарищеский суд, где Надежду Сергеевну пытались устыдить. Но на завтра на председателя суда, пенсионера, военного отставника, поступила жалоба, что он куплен Великовскими, Гольдбергами и Гуревичами и позорит свое высокое звание бывшего офицера.

Последними в папке Великовского лежали два судебных документа: приговор народного суда по его жалобе на Иванову и коротенькое определение уголовно-судебной коллегии Мосгорсуда.

— Понимаете, — басил над моим ухом Великовский, — никогда ни с кем не судился. И теперь бы на это не пошел, если

175

бы не прокурор города Белкин. Я пришел к нему на прием и, хотите верьте, хотите нет, едва сдерживаю слезы: что делать, что? Так вот он мне посоветовал привлечь Иванову к ответственности за клевету.

Нет пророка в своем отечестве, и даже прокурор города Москвы не мог предвидеть развития событий. Приговором народного суда Иванова была признана виновной в клевете, ей было вынесено общественное порицание. Но городской суд счел это обвинение необоснованным и оправдал Иванову, поскольку Великовский не представил доказательств того, что в действительности не является отцом ребенка Ивановой.

Я назвал этот фельетон "Докажите, коли сумеете".

По иронии судьбы пафос этого заголовка обернулся против меня самого. В конце концов, я сам оказался в положении Великовского,



убедившись, как мало стоит истина в глазах тех, кто именуется совестью партии.

В папке, которую я принес в редакцию, было столько документов, характеризующих Иванова, что даже Вяч. Сысоев уверенно заметил: "Да, здесь мы, кажется, правы!"

В доме, где жил Великовский, говорили, что газете давно пора вмешаться, а председатель товарищеского суда, отставник-пенсионер заявил, что он сам готов куда угодно пойти, чтобы рассказать, что представляет собой Иванова. Мне уж из спортивного интереса хотелось услышать об Ивановой хоть одно приличное слово, но все точно сговорилось в неприязни к ней. Единственно, с кем мне не удалось встретиться, — с самой Надеждой Сергеевной. Она явно увиливала от знакомства со мной. Но стоило появиться фельетону, как наутро позвонила мне в редакцию.

Как она меня разыскала, одному Богу известно. Вяч. Сысоев посоветовал опубликовать фельетон под псевдонимом. "Сам видишь, что за штука, ты хоть для своего спокойствия стань кем-нибудь другим, только не Перельманом".

В словах Вяч. Сысоева был резон, и я превратился в Виктора Борисова. Но, услышав по телефону Надежду Сергеевну, я сразу понял, сколь наивны мы были с Вяч. Сысоевым: "Товарищ Перельман, это говорит ваша жертва, Иванова!"

Надежда Сергеевна потребовала, чтобы я в тот же вечер с ней встретился. И когда парадную дверь мне отворило щупленькое, тщедушное существо с тщательно прилизанными волосами и благообразными чертами лица, я с трудом заставил

176

себя поверить, что это и есть неутомимая в своей титанической борьбе Иванова.

— Вот и встретились... — радушно улыбнулась она и, наскоро натянув на нижнюю рубашку пальто, прикрыла сзади себя дверь в комнату.

— Надька, падла! — неся из комнаты тяжелый пьяный голос...

"Честный русский рабочий", — тотчас же понял я. Иванова вывела меня на лестницу и потребовала, чтобы я немедленно шел к какой-то ее свидетельнице, которая знает всю подноготную Абрама Семеновича. Свидетельницы не оказалось дома. Надежда Сергеевна стала настаивать, чтобы я шел еще куда-то, где знают старуху Великовского. А когда я

попробовал отказаться, Надежда Сергеевна пристально посмотрела на меня и снова улыбнулась, как в ту минуту, когда отворила мне дверь:

— Так вот вы какой, Виктор Борисович, что они говорят — всему верите, а что я — на это чхать хотели... Что ж, тогда, до свиданьица!

В письмах, которые снова пошли в партийные и советские инстанции, рядом с Великовским теперь неизменно фигурировало еще одно обвиняемое лицо — автор фельетона "Докажите, коли сумеете".

"Уважаемые товарищи, — писала Надежда Сергеевна, — Великовские знали, кого им найти для осуществления своих низких целей. Они нашли такого человека. Теперь всем известно, кто скрывается под честной русской фамилией Виктор Борисов".

Я читал эти послания, и впервые во мне зашевелился червячок сомнения: не напрасно ли я связался с этой личностью и не таит ли в себе действительной опасности то чисто случайное совпадение, что мы оба — и я, и Великовский — евреи?

Письма Надежды Сергеевны стекались в отдел фельетонов "Труда". Но уже не к Вяч.Сысоеву, который неожиданно и тяжело заболел, а к новому заведующему Виктору Ефимовичу Сегалову, немолодому и очень милому человеку, ранее работавшему в отделе быта.

— Вы подумайте, какая мерзавка! — возмущался Виктор Ефимович. — Просто хулиганка, ее только за антисемитизм расстрелять следует.

— Вот, Виктор Ефимович, с какими девушками приходится иметь дело.

177

Но ни он, ни я не могли предположить, что очень скоро найдется организация, где письма Надежды Сергеевны получат иную оценку.

## ДЕЛО АБРАМА ВЕЛИКОВСКОГО

Из Комитета партийного контроля ЦК КПСС нам с ним позвонили в один и тот же день, примерно месяца через два после опубликования фельетона. Разговор продолжался не более минуты. Я запомнил его лишь потому, что впервые услышал фамилию человека, который с этого дня меня уже не оставит в покое. И еще потому, что этот человек был на редкость любезен и предупредителен:

— Виктор Борисович! Извините, пожалуйста, беспокоит Тарасов из Комитета партийного контроля ЦК КПСС. У меня к вам просьба, не смогли бы к нам днями заглянуть? Когда? Да когда времечко выкроете.

Только заранее позвоните, чтобы я пропуск заказал.

И так же хорошо сохранилась в памяти первая встреча. Миновав длинный коридор с ковровой дорожкой, в котором царил мертвая тишина, я увидел наконец дверь с табличкой, где была написана его фамилия, и робко приоткрыл ее: "Можно к вам?" — Разумеется, можно!" — он вышел из-за стола навстречу ко мне и так выразительно крепко пожал мне руку, будто не было для него более дорогого гостя, чем я.

В тот день я впервые в жизни попал в ЦК и с любопытством разглядывал своего собеседника. В лице Тарасова не было ничего запоминающегося, если не считать остреньких скул, на которых выступал едва заметный румянец. Очень прямая спина, казалось, даже мешала ему вести себя просто и непринужденно. Он держал перед собой "Труд" с моим фельетоном и улыбался.

— Ну что, Виктор Борисович, нехороший человек Иванова?

— Безусловно! — уверенно ответил я, не понимая, к чему он клонит.

— Ну, а муж ее, Евгений Иванов?

Я вспомнил его пьяные крики из-за двери во время моего прихода в их квартиру и рассказы Абрама Семеновича, какие сцены тот устраивал по вечерам, и сказал:

— Пожалуй, тоже не очень — послушали бы, что рассказывает Великовский!

178

— Как вы сказали? "Рассказывает Великовский"? Ну, а Великовский, по-вашему, хороший человек?

Я молчал, уже ничего не понимая.

— Думаю, что, в общем, да, — теперь продолжал Тарасов, — лауреат Сталинской премии, начальник управления ведущего министерства.

— Вы еще не знаете, как его характеризует партком! — решил вставить я.

— Знаю, Виктор Борисович, знаю. У меня только один вопрос. Зачем Абраму Семеновичу понадобилось связываться с этой Ивановой, такой уважаемый, интеллигентный человек.

— Как зачем? — недоумевал я. — Так она же клеветала на него, вы читали ее письма?

— Читал, Виктор Борисович, читал.

Только теперь я увидел на столе Тарасова тоненькую папочку с письмами Ивановой.

— Ну, что вы скажете?

— А ничего не скажу, письма некультурного и не очень умного человека, — когда Тарасов говорил, кончики его скул краснели, а в глазах появлялся живой блеск. — А возьмите Абрама Семеновича — кандидат технических наук, ученый, неужели он ровня этой Ивановой? Нет, не ровня, так давайте и запишем, Виктор Борисович. А к вам мы, конечно, никаких претензий не имеем. Вы журналист, честный коммунист, но, между прочим, можно было и не выступать с этим фельетоном.

— То есть как?

— А вот так, Виктор Борисович, да уж ладно, что сейчас говорить, дело прошлое.

Прощаясь в этот первый раз с Тарасовым, я так и не понял, что он от меня хотел. Он снова вышел из-за стола и крепко пожал мне руку:

— Всех благ, Виктор Борисович, а насчет фельетона все-таки подумайте, стоило ли вам вмешиваться?

Не помню, сколько прошло времени между первой и второй нашей встречей. Вероятно, много, потому что я считал вопрос исчерпанным. "Труд" больше не трогали, и нового звонка из КПК никак не ждал. И не сразу даже вспомнил, кто такой Тарасов. Между тем все было точь-в-точь как в первый раз.

— Виктор Борисович? Тарасов, из Комитета партийного

179

контроля. Как насчет того, чтобы заглянуть? Когда? Да когда времечко будет!

И встреча была такой же, как первая. Он вышел из-за стола и крепко пожал мне руку. Правда, в разговоре его появился какой-то новый оттенок, какой именно, я вначале даже не мог уловить. Я снова увидел ту же папку с письмами, что и в прошлый раз, но теперь она была значительно толще.

— Какие новости, Виктор Борисович? — улыбнулся мне Тарасов, как старому, доброму знакомому. — Что творим, что пишем?

Скорее интуитивно я вдруг почувствовал, что дело принимает серьезный оборот, но какой именно и куда все может повернуться, разумеется, не знал.

— А за этот фельетон, говорю вам по-товарищески, напрасно брались. Кстати, как вы свои материалы обычно подписываете — Виктор Борисов или Виктор Перельман?

— Виктор Перельман.

— А чего этот вдруг Борисовым подписали? Но это я так, к слову. — И Тарасов извлек из папки знакомый номер "Труда".

— Просто не пойму, зачем нашей рабочей газете потребовалось защищать Великовского. Что он сам за себя не постоит? И главное, знаете, по ком удар пришелся? По мужу Ивановой. Хороший, честный производственник. Из лучших побуждений усыновил детей, а теперь, говорит, стыдно товарищам по заводу в глаза глядеть.

— Так он же пьяница, я сам был свидетелем, — прервал я Тарасова.

— Да почему же пьяница? Выпил под праздник рюмку, а мы сразу — пьяница...

— Совсем и не под праздник, — не хотел уступить я.

— Не под праздник? Ну все равно... Человек стал отцом для чужих детей — вот в чем суть!

— Но согласитесь, что Иванова — клеветница и хулиганка, — не сдавался я.

— Какая там клеветница. Она вчера сидела вот тут на вашем месте, все о себе рассказывала. Просто отсталая, замотанная женщина. А Великовский — коммунист, образованный человек! Мы тут советовались с товарищем Богоявленским — совершенно неправильно вел себя Абрам Семенович.

— А кто такой Богоявленский?

— Товарищ Богоявленский — помощник Николая Михайловича Шверника.

180

Тарасов посмотрел на меня внимательным взглядом, точно хотел удостовериться, возымело ли на меня действие упоминание о Богоявленском. Фамилия эта возымела действие позже, когда я стал замечать, что она упоминается даже чаще, чем фамилия самого Шверника. "Богоявленский сказал", "Богоявленский не доволен", "Богоявленскому доложено".

Пройдет много лет, и судьба снова столкнет меня с этой некогда могущественной личностью. Правда, от его могущества к этому времени мало что останется. За злоупотребления властью его снимут с работы и исключат из партии, но, может быть, поэтому он и предстал передо мной таким, как есть.

Так вот, когда я уже работал в журнале "Советские профсоюзы" редактором экономического отдела, позвонил человек и, представившись персональным пенсионером Богоявленским, предложил что-нибудь написать. Вряд ли он вспомнил меня, но я-то сразу понял, с кем имею честь говорить.



— Я долго находился на профсоюзной работе, — объяснил он мне, — знаю и люблю это дело и могу написать что-нибудь интересное.

Разговор происходил где-то в 60-х годах. Дело Великовского давно кануло в лету. Но к Богоявленскому у меня вдруг проснулся чисто спортивный интерес: что именно может написать этот умнейший, как его характеризовал Тарасов, человек?

Я попросил его подумать над темой и позвонить мне дня через два. Он дал о себе знать через неделю и сказал, что готов сразу взяться даже не за одну, а за две важнейших проблемы; во-первых, "Профсоюзы — школа коммунизма", а во-вторых, "Ленинский принцип гласности соцсоревнования". "Титан мысли", — улыбнулся я про себя, — и сказал, что хотя обе эти проблемы действительно очень важны, но на страницах журнала они уже поднимались.

— Подумайте над чем-нибудь еще, вы же старый профсоюзный работник.

— Хорошо, подумаю, — сухо ответил он и больше не позвонил.

— Так вот, товарищ Богоявленский, — продолжал, вдруг выпрямившись в кресле, Тарасов, — прямо мне сказал: "Нарубили тут дров товарищи!"

— Да, но как же решение парткома Министерства легкой промышленности, райкома партии?

181

— А что такое партком и райком, Виктор Борисович? Живые люди! — Тарасов улыбнулся, словно ища у меня понимания этой простой и очевидной истины. — А живые люди могут ошибаться. — И его остренькие скулы залились румянцем. — Вот, например, Абрам Семенович ссылается на председателя товарищеского суда: дескать, кристальный человек, общественник. Пригласил я этого товарища. Хороший человек, коммунист, офицер в отставке. Но просто не все в этом деле понял. А когда вместе разобрались, то сам же и признал, что был не прав, и даже объяснение нам написал. — И Тарасов показал мне листок бумаги, прочитав который, я с трудом поверил собственным глазам.

Я великолепно помнил этого седовласого, с мощными плечами пенсионера, с которым мы, вероятно, битый час говорили в красном уголке ЖЭКа. Он стучал мощным жилистым пальцем по торцу стола, не уставая убеждал меня, что с такими, как Надька Иванова, чикаться нечего, тут крутые меры нужны и он хоть сейчас пойдет куда надо.

На листке, который показал Тарасов, председатель товарищеского

суда покаянно писал в КПК, что по части товарища Ивановой Н.С. и ее мужа, который взял на попечение трех малолетних сирот, им была допущена серьезная ошибка, он ее признает, в чем и дает настоящее объяснение.

— Еще бы, в КПК, — мрачно усмехнулся я, — теперь вам что хотите напишут.

— Ну это вы уже зря, Виктор Борисович, — обиженно проговорил Тарасов и взглянул на меня с таким упреком, словно на его добро и расположение я ответил черной неблагодарностью, — уверяю вас: все дела ведутся абсолютно беспристрастно. Да и что плохого, если так говорить, мне сделал Абрам Семенович? Абсолютно ничего! Просто надо же установить истину...

В конце беседы он, как обычно, вышел из-за стола и даже крепче, чем всегда, пожал мне руку.

Все последующие дни я жил в напряжении и почему-то даже обрадовался, когда мне позвонил Тарасов. Он, как всегда, оставался самим собой:

— Виктор Борисович! Тарасов, из Комитета партийного контроля...

И когда я открыл дверь, как заводной солдатик, вышел мне навстречу из-за стола.

182

Я подумал: "Скорее бы все это кончилось", не подозревая, что развязка совсем близка и при всех моих мрачных прогнозах окажется все же не такой, какой я ее ожидал.

— Что, Виктор Борисович, будем заканчивать? — дружески смотрел на меня Тарасов. — Да, пора, — и энергичным движением он извлек из ящика стола толстую сброшюрованную папку, на обложке которой был клеен бумажный прямоугольник, а на нем крупными машинописными буквами было напечатано: "Дело Великовского и других". — Решили вынести на четверг, — продолжал Тарасов, — вначале думали на среду. Товарищ Богоявленский занят.

— Куда вынести? — спросил я.

— Как куда? На Комитет партийного контроля при ЦК КПСС, — продолжал на меня смотреть Тарасов тем же дружелюбным взглядом. — Кстати, вы говорили, что Великовский хороший человек. А знаете, что выяснилось? Что с милицией-то провокация была!

— С какой милицией? — не мог вспомнить я.

— Ну как же, помните, фигурировал случай, будто Иванова устроила

в квартире дебош? В дверь колотила, оскорбляла нацию Великовского. Так этого же не было ничего! Просто матери Великовского, Сарре Лазаревне или Сарре Моисеевне, не помню ее имени-отчества, что-то померещилось: может, Иванова на ребятишек прикрикнула или еще что-нибудь, — и Великовские тут же вызывают милицию? Зачем вызывают, не известно. А когда товарищи приехали, то ровным счетом ничего не обнаружили. Начальник 42-го отделения так нам и пишет: "Проверкой установлено, что в настоящем случае вызов работников милиции не имел никаких оснований и носил со стороны семьи Великовских провокационный характер". В общем, почитайте это и все поймете, — и Тарасов вручил мне подготовленную им справку для членов Комитета партийного контроля.

Справка эта превзошла даже самые мрачные мои ожидания. С первых же строк говорилось о непартийном поведении коммуниста Великовского, погрязшего в квартирных склоках и дразгах, совершенно недостойных члена КПСС. Используя свой авторитет и склонив на свою сторону членов домового товарищеского суда, Великовский создал вокруг семьи рабочего Иванова нетерпимую обстановку, встал на путь сутяжничества и прямых провокаций, как это имело место, когда им,

183

якобы для пресечения дебоша со стороны Ивановой, были вызваны сотрудники райотдела милиции. Затем говорилось о неправильной позиции, занятой редакцией газеты "Труд", опубликовавшей фельетон Перельмана. Автор явно тенденциозно осветил суть дела, поставив под удар семью рабочего Иванова и в первую очередь усыновленных им детей. В заключение Великовскому за непартийное поведение предлагалось объявить строгий выговор с предупреждением, а автору фельетона поставить на вид.

— Послушайте, — вырвалось у меня, — здесь же все вверх ногами...

— Ну, это вы напрасно, Виктор Борисович. Хотите, дам товарищеский совет? Не лезьте в бутылку, не надо. Я и Буркову, редактору "Труда", сказал это, мы с ним в одной столовой обедаем. "Не прав ты, Борис Сергеевич, с этой Ивановой, абсолютно!" А он: "Это мы еще посмотрим". Ну хорошо, посмотрим, так посмотрим. А для вас, Виктор Борисович, самое лучшее, — это признать ошибку. Человек вы еще молодой. Скажете членам КПК, что погорячились, проявили поспешность. Главное, что вы это сами осознали. Уверен, что вам даже не вынесут взыскания, ограничатся предупреждением и все.

Тарасову нельзя было отказать в логике, и на миг я подумал, что самое

разумное так и поступить, как он советовал. Но тотчас во мне проснулось что-то другое, что плохо согласовывалось со здравым смыслом. Если последовать совету Тарасова — значит оказаться последним трусом и к тому же предать Великовского. Предательство в моих глазах всегда было самым мерзким, что можно было придумать.

И я попробовал переубедить Тарасова. И снова стал перечислять все, что неопровержимо свидетельствовало в пользу Великовского.

Тарасов неотрывно смотрел на меня, но думал о чем-то своем, а я, не желая замечать это, снова ссылался на документы, на факты, на слова сослуживцев. "А провокация, — продолжал я, — это какая-то идиотская нелепость. Зачем Великовским было ее устраивать? И, если хотите, они были правы, вызвав милицию..."

В этот момент изысканно вежливый, дружелюбный Тарасов так же, как когда-то Ликовенков, вдруг сбросил с себя маску. Случилось это в какой-то миг, но и этого было достаточно.

184

— Вот видите, какой вы, Виктор Борисович, — в глазах его блеснуло что-то недоброе, — как Великовский — значит, все нормально. Почему вы считаете, что всегда права ваша нация?

Я не поверил своим ушам.

— Простите, как вы сказали? — переспросил я, вобрав голову в плечи.

— А что я сказал особенного, Виктор Борисович? — на меня смотрели те же ясные, внимательные глаза, — сказал, что для нас с вами все должны быть равны, какой бы нации человек ни был.

Перебирая в памяти все происшедшее в те дни, я не устаю удивляться своему мальчишеству. И какой-то фанатичной вере в собственные силы — нет того, чего бы я не мог, я все могу, и доказать свою правоту на КПК тоже смогу. Тем более доказать, что черное — это черное, а белое — это белое. Как бы они ни были настроены, эти всевластные члены КПК, а это им придется признать.

По дороге из КПК мне в голову пришла гениальная идея. Такой она мне, по крайней мере, казалась. Я вспомнил еще одну деталь из биографии Надежды Сергеевны. Ее соседи по дому мне рассказывали, что некоторое время назад органы милиции высылали ее из Москвы за проституцию. В управлении милиции на Петровке 38 в отношении нее было заведено специальное дело, в котором она фигурировала под кличкой "Надька-блоха".

Если эти материалы представить на КПК, то Тарасову никого не

убедить, что это просто усталая, замотанная женщина.

До заседания Комитета партийного контроля оставался ровно один день, и наутро, заручившись специальным поручением "Труда", я отправился на Петровку 38. Искать оказалось куда труднее, чем я думал. Картотеки по проституции не существовало вовсе, а нарушителей паспортного режима, среди которых числилась, по-видимому, Надежда Сергеевна, было столько, что казалось, не хватит и года, чтобы просмотреть архивы. Неожиданное обстоятельство прервало мой поиск. Прибежала секретарша начальника архива и сказала, что меня срочно вызывают к телефону. Я не узнал голоса Тарасова, настолько он переменялся:

— Товарищ Перельман, кто вам дал право ревизовать действия Центрального Комитета партии? Я рассказал о вашем поступке Николаю Михайловичу, он был страшно вами воз-

185

мущен. Немедленно явитесь в КПК и сдайте поручение "Труда". С ними у нас еще будет разговор!

Весь вечер я сидел сиднем и готовился к заседанию Комитета партийного контроля. Тарасов сказал, что на выступление мне дадут минут 10-15. Даже если вдвое меньше, то все равно я сумею кое-что сказать. На всякий случай приготовил два текста, один на десять минут, другой — на три. Уж три-то минуты должны дать. И их будет достаточно.

Уже поздно вечером позвонил Великовскому. В последние дни мне не удавалось его застать дома. На этот раз он подошел к телефону сам.

— Ну как, Абрам Семенович, держимся? — весело приветствовал его я. Меня действительно охватил какой-то лихой веселый азарт.

Великовский определенно был настроен по-другому.

— Понимаете, Виктор Борисович, — басил он в трубку, — этот Тарасов такой страшный человек. Он вызывает меня по два раза в день — то меня, то жену. И все одно и то же, одно и то же. А вчера у меня был приступ стенокардии... Знаете, у меня уж не хватает сил...

— Абрам Семенович, что с вами? — скорее уже по инерции продолжал я все тем же голосом бодрячка.

— Нет, ничего, Виктор Борисович, ничего, — сказал Великовский. — Вы можете быть совершенно спокойны, вас-то уж я ничем не подведу.

— При чем тут я? Выше нос, Абрам Семенович, — еще раз повторил я и повесил трубку. Настроение было явно испорчено.



## СОВЕСТЬ ПАРТИИ

Наутро, без пяти одиннадцать, я уже был возле секретариата Шверника, как мне и было велено Тарасовым. Самого его не было. Зато я тут же увидел Абрама Семеновича. Он был рядом с полным, непрестанно улыбающимся человеком, представившимся секретарем парткома Мосгорсовнархоза. За время, пока тянулось дело, министерства были преобразованы в совнархозы, и Великовский работал в Московском совнархозе.

Я искал глазами Буркова. Накануне, когда я держал совет с Безугловым, он сказал: "Витенька, не волнуйся, за широки-

186

ми плечами Бориса Сергеевича Буркова ты как за каменной стеной", но Буркова нигде не было видно, зато я неожиданно заметил стоявшего у окна его зама Хатунцева и рядом с ним Сегалова. Я с удивлением спросил, а где же Борис Сергеевич.

— Борису Сергеевичу что-то нездоровится, — ответил Сегалов, — Владимир Алексеевич вместо него, — взглянул он на Хатунцева, но тот только пожал плечами:

— Более неудачной кандидатуры для этого невозможно было найти. Я вообще был в отпуске, когда печатали фельетон!

Тем временем подходили все новые и новые люди, здоровались с Великовским и секретарем парткома совнархоза. С некоторыми из них я встречался, когда проверял материалы фельетона, некоторых видел впервые.

Наконец возле приемной появился Тарасов в черном парадном костюме, придававшем его тощей, костлявой фигуре респектабельность, и весело оглядел нас:

— Товарищи, кто здесь мои? Прошу, Абрам Семенович, прошу в эту дверь, — он махнул рукой Великовскому. — Виктор Борисович, сюда, — и вскоре вся наша компания оказалась в небольшой приемной, где напротив обитой кожей двери сидел одиноко приткнувшийся на стуле человек. Дверь, судя по всему, вела в зал заседаний, а он ждал, когда его вызовут.

— Наша очередь — вторая, — сказал Тарасов, — сейчас пойдет товарищ, а мы сразу же за ним, так что прошу никуда не отлучаться.

Отлучаться никто и не намеревался, все стали шумно рассаживаться на стульях, стоявших вдоль стены, напротив кожаной двери. Я оказался

рядом с "товарищем", который, по словам Тарасова, должен был идти перед нами.

Когда мы вошли, этот человек не обратил на нас ни малейшего внимания. Он не переставал курить и, нервно выдергивая горящие окурки изо рта, машинально вдавливал их в пепельницу, и без того доверху наполненную такими же жеваными, мятыми окурками. Эта пепельница, стоявшая на совершенно голом дубовом столе в приемной высшего партийного суда, кажется, навсегда врезалась в память, даже не столько она, сколько гора изуродованных, изломанных окурков, под которыми уже почти не было видно черных пластмассовых боков пепельницы.

Сидели молча. Лишь Великовский бесшумно расхаживал

187

по мягкой ковровой дорожке. Он то и дело снимал очки, тер платком стекла. Только теперь я заметил, как он осунулся. Худое лошадиное лицо его стало длиннее, и когда он снимал очки, то глаза начинали часто и беспомощно моргать.

Сосед мой снова выдернул изо рта горящую папиросу и привстал, чтобы вдавить ее в пепельницу. Когда он сел, я спросил, что у него за дело. В ответ он молча махнул рукой и извлек из кармана пачку "Казбека".

— Понимаете, растащили завод, а я во всем оказался виноват, клеветник!

— Не волнуйтесь, может, разберутся, — попробовал я его успокоить, и в эту минуту кожаная дверь приоткрылась, и выглянувший из-за нее какой-то человек позвал его:

— Иван Иванович, пошли быстренько. — Он секунду подождал, пока сосед мой ткнет горящую папиросу в гору окурков и, пропустив его впереди себя, скрылся вместе с ним за дверью.

Мне кажется, не прошло и трех минут, как он появился обратно. На нем не было лица. Он пытался на ходу извлечь из кармана папиросы, но почему-то не мог. Я хотел спросить у него: как? Но, встретившись с ним взглядом, понял все и без того.

Кожаная дверь снова скрипнула, и появился Тарасов, возбужденный, с разругавшимися скулами:

— Абрам Семенович, товарищи, прошу...

Я был уверен, что кожаная дверь ведет прямо в зал, но прежде, чем мы попали туда, пришлось пройти еще через две или три приемных, и, очутившись в зале, я в первый момент никак не мог понять, отчего он такой большой, будто даже и не зал заседаний, а зрительный зал со сценой,

расположенной очень далеко от нас, сидящих на галерке, и там, на сцене, с минуты на минуту и должен был начаться спектакль. Возможно, такое впечатление создавалось оттого, что нас Тарасов усадил в одном конце зала, у самого входа, а члены КПК сидели в другом, за небольшим прямоугольным столом. Их было человек восемь-десять, не больше. На председательском месте я тотчас увидел председателя КПК Шверника.

Он был точь-в-точь таким, как на портретах, — сидящий, с белым, гладким, словно восковым лицом. Сидел совершенно прямо, чуть склонив набок голову.

— А что, товарищ Иванова здесь? — спросил он звонким и

188

совсем не стариковским голосом. — Где товарищ Иванова? — оглядывал нашу компанию Шверник.

— Извините, Николай Михайлович, — придвинулся к нему Тарасов, — я уже докладывал вам, что товарищ Иванова не член партии.

Шверник кивнул понимающе головой и тотчас откуда-то сбоку к нему приблизился плотный, с властным лицом человек, очевидно, Богоявленский, он что-то сказал Швернику, и тот снова кивнул головой...

— Кто вел дело, товарищ Тарасов?

— Я, Николай Михайлович, — поднялась над столом прямая как струна фигура Тарасова. И он громким, решительным голосом зачитал вслух все ту же злосчастную справку, которая во время нашей последней встречи вызвала у меня взрыв негодования и в которой Великовский характеризовался как беспринципный склочник, докатившийся до кухонных провокаций.

— Ясно! — сказал Шверник, когда Тарасов кончил. — Кто хочет сказать? — оглядывал он нас, расположившихся у двери.

— Разрешите, Николай Михайлович, — пробасил сидящий слева от меня Абрам Семенович.

Приблизившийся сбоку к Швернику Богоявленский снова что-то сказал ему, и Шверник снова понимающе кивнул головой.

— Значит, товарищ Великовский? Пожалуйста! Что вы можете нам сказать по этому делу?

Абрам Семенович поднялся и, молча оглядев присутствующих, загудел, но не об Ивановой и не о своем с ней конфликте, а о том, как тяжело ему, коммунисту с двадцатипятилетним стажем, держать ответ перед высшим партийным органом — Комитетом партийного контроля, олицетворяющим честь и совесть партии. Взвесив честно и по-партийному

свое поведение, он пришел к выводу, что им допущена тяжкая ошибка, граничащая с преступлением перед партией, в котором он, Великовский, глубоко и чистосердечно раскаивается,

Я поймал себя на мысли, что совершенно не удивлен его выступлением и даже, напротив, после вчерашнего разговора по телефону ничего иного не ждал. Я лихорадочно искал выхода — если раскаивается он, человек, которого я в фельетоне защищал, что же остается делать мне? Тоже каяться, наплевав на самого себя, на все на свете, — плетью обуха все равно не перешибить...

189

— Я понимаю, — гудел над ухом Великовский, — что как коммунист не имел права пасть до уровня Ивановой и тем более погрязнуть в судебных дрязгах. И не было никакой необходимости идти в редакцию "Советской России" с материалами для фельетона.

— Куда вы сказали идти? — неожиданно встрепнулся генерал, сидящий с левой стороны от Шверника. — В "Труд"?

— Нет, в "Советскую Россию", но, поверьте мне, Николай Михайлович, что сейчас я очень переживаю.

Шверник, чуть склонив свою седую голову, неотрывно, как изваяние, смотрел на Великовского, и на его неподвижном, каменном лице невозможно было уловить ни единой эмоции, вызванной раскаянием Великовского.

В заключение Абрам Семенович еще раз повторил, что он до глубины души осознал свое поведение и просит Комитет партийного контроля только об одном — позволить ему искупить вину честным трудом в рядах партии, без которой он не мыслит своей жизни. Последние слова Абрам Семенович произнес с трудом. Голос его дрогнул, и он спешно полез в карман за носовым платком.

— Так, ясно! — сказал Николай Михайлович. — Кто следующий — товарищ Иванова?

— Николай Михайлович, я вам докладывал, что Иванова не член...

— Да, да, — кивнул головой Шверник, — ну так кто же?

— Разрешите! — и я увидел, как откуда-то сзади выкатился в центр зала кругленький, очень похожий на Михалу Петровича секретарь парткома Мосгорсовнархоза.

— Уважаемый Николай Михайлович, дорогие товарищи, — начал он мощным голосом заштатного оратора, — вы только что выслушали выступление коммуниста Великовского. Не стану отрицать, что

товарищем Великовским допущена тяжкая ошибка, граничащая с партийным преступлением, и должен доложить вам, Николай Михайлович, что мы у себя в парткоме тщательно разбирались в этом деле. Нехорошо ты поступил, Абрам Семенович, очень плохо, недостойно! Но, товарищи, мы все видим, как переживает товарищ Великовский, глубоко переживает, по-партийному. Учитывая это, партком просит не налагать на коммуниста Великовского строгого партийного взыскания, ограничившись обсуждением вопроса.

Теперь была моя очередь, и я попросил слова. Позже, кому  
190

бы я ни рассказывал о происшедшем на КПК, почти все недоумевали: "Ребенок! Не знал, как надо себя вести, ну, покайся бы, побил себя в грудь, подумаешь, Желябов!"

Впоследствии я много раз пытался понять свое состояние. Похоже, выиграло во мне нечто такое, с чем я физически не мог справиться. Не мог, да и только, изничтожать себя за то, в чем не чувствовал ни малейшей вины. И оттого, что каялся Великовский, у меня вовсе не появилось желание следовать ему. Напротив, видя перед собой его униженную фигуру, я твердо решил вести себя как угодно, но только не так, как он.

Начал с того, что попросил разрешения зачитать некоторые документы, характеризующие Иванову. Интуитивно я почувствовал, что следует избрать трехминутный вариант выступления. Но не успел я сказать, что партследователь КПК товарищ Тарасов неправильно доложил дело, как генерал, сидевший слева, прервал меня:

— Вы лучше скажите, как фельетон попал в "Труд", если Великовский сдавал его в "Советскую Россию"?

Я попробовал объяснить, как все произошло, а именно, что "Советская Россия" не смогла напечатать фельетон, поскольку перед этим опубликовала материал на ту же тему, поэтому я и сдал его в "Труд".

— Значит, не берут в одном месте, несете в другое — торговали, значит, фельетоном! Кто больше заплатит!

Я попытался объяснить, что в газетах бывает так, если материал не идет в одном месте, то сдается в другое...

Я неотрывно следил за каменным лицом Шверника. И вдруг заметил, как впервые на нем проснулось что-то живое и человеческое. Удивленно вскинув брови и оглядев с тем же живым выражением сидящих за столом, он воскликнул:

— Товарищи! Да ведь он же ничего не понял!



— Абсолютно ничего! — решительно поддержал его генерал. — Торговал фельетоном, как на базаре!

— Нравы желтой прессы! Позор! — услышал я сразу несколько голосов, мгновенно почувствовав, что дело плохо. Нужно было что-то придумать, сказать нечто очень важное, но, как назло, ничего не лезло в голову.

А Шверник, с лица которого уже исчезло выражение, которое вдруг проснулось, с тем же холодным мрамором в глазах оглядел членов КПК и спросил:

— У нас еще кто-нибудь есть?

191

— Николай Михайлович, — прорезался наконец у меня голос, — разрешите еще две минуты.

Но он не повел даже глазом в мою сторону, будто меня вообще не существовало. Только теперь я увидел, что поодаль от стола, у стены сидела еще группа людей, по-видимому, работники аппарата КПК, и ближе всех к Швернику Богоявленский. Увидев меня, неожиданно поднявшегося и пытающегося что-то сказать Швернику, они стали мне делать отчаянные знаки, какие делают человеку, стоящему над обрывом и при одном неудачном движении могущему сорваться в пропасть.

Тем временем уже поднялся Хатунцев и стал говорить, что во время публикации фельетона он был в отпуске, поэтому как следует обстоятельств дела не знает, но, судя по документам, газета имела основания так выступить.

— Имела основание? — переспросил Шверник. — В ближайшем номере дадите опровержение!

— Я, конечно, доложу редколлегии...

— И нечего докладывать! — снова встрепенулся генерал. — Надо вообще посмотреть, Николай Михайлович, чем они там занимаются.

Шверник, согласно кивнув головой, сказал:

— Ну что же, товарищи, перейдем тогда к мерам взыскания. Снова приблизился Богоявленский и придвинул Швернику тарасовскую справку.

— Великовскому предлагается строгий выговор с предупреждением. Было, кажется, мнение смягчить... — в зале наступила тишина. — Как, товарищи? — Члены КПК молчали. — Значит, оставляем? Остается строгий выговор. Перельман — тут написано на вид...

Приблизился Богоявленский, но Шверник жестом руки показал, чтобы он вернулся на место, его помощь не потребуется.

— Значит, тут написано "на вид", — выжидательно повторил Шверник.

— Выговор! — решительно произнес генерал.

— Никак не меньше, — поддержали остальные члены комитета. — Ничего не понял и еще вести себя не умеет!

— Но я ж кандидат партии, как же выговор? — снова поднялся я.

— Вот и не следует вас подпускать к партии, — сказал Шверник, глядя куда-то в сторону, — так что, товарищи, все?

192

— Все, Николай Михайлович, — первым поднялся Тарасов. Вслед за ним вышли и мы. Впереди Великовский с представителями совнархоза, Хатунцев, позади всех я.

— Владимир Алексеевич! — окликнул я Хатунцева.

Уж не помню, что именно, но что-то я хотел ему сказать. Возможно, просто хотелось с кем-то перекинуться словом. Он не обернулся. Я снова позвал его, но он прибавил шаг и быстро побежал по лестнице. Зато по какому-то срочному делу понадобился я Тарасову. После заседания он был очень возбужденным, радостным. И, взяв меня под руку, повел по коридору к себе, и, усадив в кресло, сказал:

— Вот видишь, говорил же тебе, чудак, — не лезь! А ты? Полез как не знаю кто! Кстати, чтоб не забыть, дай номер твоей кандидатской карточки. В райком-то мы должны с тобой сообщить или не должны?

— Теперь и с работы уволят! — мрачно усмехнулся я, подавая ему карточку.

— Не имеют права, — ответил он, аккуратно выписывая к себе в блокнот ее номер.

— И на новую не возьмут, — вспомнил я о предстоящей на радио реорганизации.

— И на новую возьмут, — сказал он, возвращая мне карточку. — Ошибаться может каждый. Так что если что-нибудь, то пусть сразу звонят мне, я все объясню.

Из КПК я тотчас отправился к себе на радио, пребывая в мрачных предчувствиях от того, что теперь меня ждет здесь.

За полгода я и словом не обмолвился об истории с Великовским, и сейчас меня вполне могли обвинить в сокрытии фактов от партийной организации. Тем более, склоки здесь достигли таких масштабов, что вряд ли приходилось рассчитывать на чье-то сочувствие. Дмитрий Семенович давно меня занес в списки своих врагов, которых всячески выживал из

отдела, но которые и не думали складывать оружия.

Незадолго до заседания КПК Дмитрий Семенович в третий раз уволил Исаю Осинковского и тот третий раз был восстановлен судом.

Железный Исай написал письмо генеральному прокурору СССР с просьбой привлечь Пахомова к уголовной ответственности за злоупотребление властью. И хотя над Дмитрием Семеновичем и не висела опасность оказаться за решеткой, он все последние дни пребывал в мрачном настроении. Встреча

193

с ним не предвещала мне ничего хорошего. Однако, рассказав ему о постигшей меня неприятности, я почувствовал, что доставил ему удовольствие. Похоже, что он даже не прочь был растянуть его.

— Так все-таки не ясно, за что же тебе вlepили выговор? — уже который раз он переспрашивал меня.

— Как за что? За неправильный фельетон.

— Ну это понял даже я. А вот в чем конкретно была неправильность?

И я начинал пересказывать все сначала, и он снова задавал мне вопросы — один нелепее другого, пока наконец не подошел к самому неприятному.

— Ну, а товарищам по работе надо было рассказать обо всем или не надо...

— Вот я и рассказал, Дмитрий Семенович.

— А не кажется тебе, что ты это мог сделать раньше, если бы ты уважал свою парторганизацию? Так я говорю, или опять чего-нибудь недопонимаю?

— Нет, не кажется! — сухо ответил я, чувствуя, что теряю терпение.

Спустя неделю меня пригласили в Бауманский райком партии, чтобы познакомить с формулировкой выговора. Прошло много лет, но я помню ее до сих пор: "... За написание фельетона, разрушающего семью, оскорбляющего достоинство рабочего Иванова, усыновившего детей Ивановой от предыдущего брака", — вот какими серьезными словами кончился фарс, разыгравшийся на сороковом году советской власти в одной из коммунальных квартир на Солянке.

Первые дни после КПК я держался довольно бодро, хотя перспектива сулила мало приятного. Отдел радиосообщений доживал последние недели. Не добившись победы в двухлетней войне со склочниками и анонимщиками, Пахомов и Королева убедили агитпроп МК в том, что остался только один выход: ликвидировать отдел радиосообщений вовсе

и восстановить его в новом качестве во Всесоюзном радио. У меня появилось утешение: судя по всему, меня ждала та же участь, что и прочих инвалидов пятого пункта. Но я плохо знал Дмитрия Семеновича. Отнюдь не ради красного словца он упрекнул меня в том, что я скрыл от товарищей дело в КПК.

Однажды в конце рабочего дня ко мне подошел член партбюро редактор промышленных передач Марк Полонский,

194

единственный из евреев, к кому был лоялен Пахомов, и сказал, что у него ко мне серьезный разговор.

Как выяснилось, разговор касался моих партийных дел. Марк давал мне рекомендацию для вступления в члены КПСС. Но после истории с Великовским дело приняло другой оборот. Позвонили из райкома и потребовали, чтобы Полонский срочно отозвал свою рекомендацию. Марк не был из храброго десятка и требование райкома тут же выполнил.

В своем заявлении он писал, что по-настоящему никогда не знал меня и дачу мне рекомендации считает серьезной политической ошибкой. Но об этом я узнал позже, а тогда он просто сказал, что хочет предупредить о грозящей мне неприятности, — по-видимому, совесть его все-таки грызла. Он взял с меня торжественное слово, что никому не скажу, а то ему оторвут голову и, дождавшись на всякий случай, пока мы выйдем на улицу, сообщил, что готовится мое исключение из партии.

— Понимаешь, Виктор, — сочувственно глядел он на меня, — тебе ужасно не повезло. Случись все на месяц позже, уже некому было бы тебя исключать. А так — только умоляю, не продай меня! — завтра по твоему вопросу партбюро.

Марк напрасно устроил такую панику. Из партии меня не исключили. И партбюро по моему вопросу так и не собралось. В тот вечер, когда мы говорили с Полонским, я сильно простудился и схватил крупозное воспаление легких.

Дул пронизывающий ноябрьский ветер с дождем. Поужинав, я сказал матери, что хочу выйти и немного прогуляться. Она удивленно взглянула на меня — в такую-то погоду! Представляю, что бы с ней было, если б она видела, что вышел я без пальто, в одном пиджаке и расстегнув предварительно рубашку.

Утром проснулся со страшной тяжестью в голове. Температура была 39,8. В постели провалялся как раз тот злосчастный месяц, о котором говорил Марк. И когда вышел на работу, всем уже действительно было не

до меня. Работал ликвидком. И партбюро больше не собиралось. Так что я еще раз убедился, что судьба не всегда проявляла ко мне жестокость, а в тот промозглый ноябрьский вечер даже была, в некотором роде, милостива...

195

## РАСПЛАТА

В декабре 57 года на общем собрании коллектива Дмитрий Семенович лично зачитал приказ о ликвидации московского отдела радиосообщения. Это было, кажется, 12 или 14 декабря, а с первого января 1958 года всех русских, точнее всех неевреев, и одного Полонского для разбавки зачислили во вновь созданную Московскую редакцию Всесоюзного радио. Четырнадцать человек — 13 евреев и Михаил Михайлович Глушков оказались безработными на улице.

Это произошло через месяц после пережитого мной дела Великовского. Выходило, что как еврей я умудрился пострадать дважды. Во-первых, я получил выговор от Комитета партийного контроля за разрушение семьи "честного русского рабочего Иванова", а во-вторых, остался без работы в результате антиеврейской чистки в Московском отделе радиосообщения.

В моем сознании навсегда был сокрушен 56 год — год надежд и иллюзий. Отрицание сменилось отрицанием. На языке гегелевской триады тезис сменился антитезисом. Но вот удивительно: спроектированный на реальную действительность этот антитезис вовсе не обернулся рождением нового жизненного кредо. Он даже не обернулся мрачным неверием в жизнь, в ту самую советскую жизнь, которая за короткое время подвергла меня столь жестокому остракизму.

Просто произошла переоценка ценностей. Из нее проистекал единственный вывод, что впредь надо быть просто умнее, не лезть на рожон, не пытаться перешибить плетью обуха — словом, как следует овладеть неписаными законами житейской мудрости.

Итак, я начал искать работу. К тому времени у меня были довольно широкие знакомства в центральных газетах. Встречали меня обычно с сочувствием, которое с особой силой просыпалось после того, как я в красках рассказывал о деле Великовского. "Это ж надо, как тебя угораздило", — обычно слышал я в эти минуты. После этого следовали обещания — обязательно поговорить с шефом. Через несколько дней следовал звонок по телефону — мой, разумеется, звонок: "Ну, что,



говорил?" — "Говорил, старче, но пока ничего! Шеф даже и слушать не хочет!" Или — "Пока гурништ". Или — "Пока нет штатов!" — все это было настолько одинаковым, что я да-

196

же не пытаюсь припомнить, где не было штатов, где шеф не хотел обо мне слушать, а где был просто по-еврейски невеселый "гурништ".

Начал я с "Известий", потом пошел в "Труд", затем в московские газеты, а в марте уже докатился до "Московского комсомольца". Здесь новый редактор Миша Борисов битый час выяснял мою биографию и наконец сказал, что вообще-то ему нужен фельетонист и он бы, невзирая ни на что, взял меня на полставки, то есть на 480 рублей по-старому, если бы не возражали в Комитете партийного контроля.

Я вспомнил последний разговор с Тарасовым. Дал редактору "Комсомольца" номер его телефона и попросил, чтобы он позвонил в КПК. Там ему наверняка разъяснят, что выговор мне вынесли за частную ошибку, ни в коей мере не характеризующую мою личность. Я был на сто процентов уверен, что Тарасов так и скажет — какой смысл теперь, по прошествии времени, говорить другое.

Наутро третьего дня я, уверенный в успехе, набрал номер Борисова. Он говорил со мной вполне дружелюбно, заметив, что КПК действительно ко мне никаких претензий не имеет. Но на беду произошло непредвиденное обстоятельство — мои будущие полставки неожиданно взял у газеты обком комсомола. И поэтому он, Борисов, при всем расположении ко мне ничего не может поделать.

Позже выяснились любопытные детали этой истории. Мой соавтор Безуглов оказался хорошим знакомым редактора "Комсомольца" и однажды устроил ему допрос: отчего тот не взял такого способного фельетониста, как я. На что Борисов довольно туманно ответил, что рад бы в рай, да грехи не пускают... От Безуглова было не так-то просто отделаться. И, в конце концов, он выяснил, что Борисов действительно звонил Тарасову и что Тарасов как будто бы действительно сказал, что он лично против меня ничего не имеет. Но Мише этого было недостаточно.

"Мы его хотим на фельетоны посадить. Как думаете — не подведет?" Это было уже слишком. "А кто его знает, подведет или не подведет, — сказал Тарасов. — Вы редактор, вам и решать. Но будь я на вашем месте, то крепко подумал бы".

Вот и все, что сказал Тарасов, — казалось бы, ничего особенного. Но Миша Борисов, прежде чем стать редактором, прошел хорошую школу в

учился читать между строк мысли товарищей из высших партийных органов. Вот так и исчезли в "Московском комсомольце" те злосчастные полставки, на которые я с такой надеждой уповал.

После пяти месяцев бесплодных поисков работы я понял наконец, что без помощи свыше мне не устроиться, и в одно прекрасное утро позвонил в отдел пропаганды и агитации ЦК, откуда направили меня в МК к заместителю заведующего отделом агитации и пропаганды товарищу Цедилиной.

Цедилина оказалась высокой, с мощной квадратной фигурой женщиной, совершенно не скрывавшей того, что мой приход был некстати. Слушая мою историю, она поминутно заглядывала в продуктовую сумку, стоявшую рядом, что-то проверяла в ней и прерывала меня восклицаниями: "А мы-то тут при чем? Просто не понимаю, как будто у меня отдел кадров". Когда я кончил, лицо ее оживилось, и в нем даже проснулось нечто такое, что можно было бы назвать озарением, если бы эта озарившая ее мысль не сопровождалась какой-то странной улыбкой:

— Послушайте, Виктор Борисович, — перешла она даже на имя и отчество, — а отчего бы вам не поработать где-нибудь еще? Ну, не вышло в газете. Будем говорить прямо, не доверяют вам товарищи. И, может быть, правильно делают! Так что же на газете свет клином сошелся?

— Да, но я профессиональный журналист — куда же мне идти?

— Куда? А вы хотите обязательно в газету? Идите хоть на завод! Вам сколько лет — тридцати еще нет? — она снова заглянула в сумку. — Молодой человек! Да стала бы я унижаться, работу выпрашивать!

Она взглянула на меня и не знаю уж, что в моем лице прочитав, продолжала:

— А что вы, между прочим, удивляетесь? На заводе тоже люди работают, и, может быть, не хуже нас с вами, товарищ Перельман... в общем, сейчас нет у меня мест, — перешла она снова на официальный тон, — звоните, может, что и появится...

Я пожал плечами, недоумевая, куда теперь идти.

В кабинет вошла моя старая знакомая еще по Управлению культуры инструктор МК партии Нина Соловьева. Нина заглянула в сумку к Цедилиной. Только теперь я заметил, что в ней бултыхался живой карп, — а та, обрадовавшись появлению Соловьевой, тут же перепоручила меня ей:

— Это товарищ Перельман. Слышала, наверное, историю. Посмотри, может, что-нибудь ему подберешь.

Соловьева сказала, что историю мою слышала и что может сейчас же позвонить Мише Борисову в "Московский комсомолец".

— Ты его не знаешь? — обратилась она ко мне. — Очень хороший парень, живой, демократичный — только вчера просил подослать сотрудника в отдел фельетонов.

"Круг замкнулся!" — улыбнулся я про себя и сказал, что Борисову, пожалуй, звонить не стоит, поскольку у нас с ним еще раньше не сложились отношения...

— Ну, смотри! — удивленно взглянула на меня Соловьева. "Ишь ты, — прочитал я у нее в глазах, — полгода без работы ходит, а говорит еще о каких-то несложившихся отношениях".

В одной из новелл Кафка пишет о самоощущении человека, превратившегося в одно прекрасное утро в насекомое. Меня потрясла фантазия Кафки. Но даже в мыслях я не мог влезть в шкуру его героя. Теперь я начинал верить, что подобные ощущения вполне возможны. Оказываясь по утрам в стенах МК, я определенно начинал чувствовать себя футбольным мячом (если можно тараканом, то отчего же нельзя мячом!), который гоняют по разным кабинетам, но никак не могут загнать в ворота.

## НИКИТА ИВАНОВИЧ И ДРУГИЕ

Не знаю, сколько бы продолжался этот чиновничий футбол, если бы не сработала теория вероятности. Она уже не впервые приходила мне на помощь в трудную минуту. В одном из таких же кабинетов МК судьба столкнула меня с оригинальной личностью по фамилии Фенин, который, проявив необыкновенную находчивость, положил конец моим мытарствам.

Фенин был рыжий, с большими залысинами, быстрый в движениях, и с первой же минуты встретивший меня совсем не так, как его коллеги.

— Ты что пишешь? Нет, ты посмотри, что здесь написано! — стучал он пальцем по бумаге, лежавшей перед ним на столе. — Это черт знает что!

По его бессвязным, нечленораздельным восклицаниям трудно было понять, что в действительности вызвало у него такую бурную реакцию.

Лежавшая перед ним бумага была моим письмом на имя первого секретаря обкома Демичева, в котором я кратко, но сколько мог впечатляюще, излагал ситуацию, в которой находился уже почти полгода. Все эти полгода я тщетно ищу работу. Меня никуда не берут, поскольку имею выговор от КПК. А выговор не могут снять, потому что нигде не работаю. Получается заколдованный круг, из которого я не вижу выхода.

— Это же надо! — возмущался Фенин, — В каком положении человек.

Я понял, что мощная шрапнель, обрушившаяся на мою голову, относится вовсе не ко мне, а, наоборот, к моему положению. Он был первый, кто во мне увидел живого человека, а не просто жалобщика, обивающего пороги кабинетов. Он хотел помочь, но абсолютно не знал как.

— Нет, ты войди в мое положение, — вдруг подскочил он вместе с письмом ко мне. — Секретарь обкома пишет: "Товарищу Фенину!" А что должен Фенин делать: помогать тебе или слать к едреной матери, — этого ведь не пишет. Допустим, стану я тебе помогать, а какой-нибудь гусь, вроде твоего Миши Борисова, возьмет и позвонит секретарю — мол, давит ваш Фенин на меня, велит какого-то Перельмана с выговорешником брать. Тот, конечно: подать сюда Тяпкина-Ляпкина — "Это кто тебе, Фенин, давал указание такую активность проявлять? Да надо посмотреть, товарищи, — зрелый ли этот, растудыть его, Фенин". Вот я спрашиваю, нужна ли, брат, нам с тобой такая ситуация? Нет, не нужна, поверь мне, не нужна!

Фенин снова уселся за стол и стал усердно чесать пальцем свой рыжий, золотушный затылок. "Философ-перестраховщик", — подумал я, но он вдруг оживился и воскликнул:

— А ты знаешь, есть идея! Вот ругают: "аппаратчики", "аппаратчики" — до такой мысли сам Талейран не додумался бы! Гениально! — Хлопнул он себя по большому золотушному лбу. — Нам ведь что с тобой надо? Нам надо, чтобы секретарь обкома товарищ Демичев заставил инструктора агитпропа Фенина устраивать тебя на работу. Так или не так?

— Ну так, — без особого энтузиазма согласился я, не понимая, что за гениальная идея пришла к Фенину.

— А ведь ты из нашего разговора уже убедился, что Фенин — перестраховщик и без особого указания не намерен ударить палец о палец. Так или не так?

— Допустим, — согласился я, — меня уже начал интересовать ход его мыслей, который был явно не тривиален.

200

— Ну как, догадываешься? — встал он из-за стола, весело потирая плотные рыжие ладони. — Не догадываешься? Эх ты, Ваня, а я-то думал, что передо мной головастый мужик. В общем, так: еще недели две потерпи, а потом пиши на меня Демичеву кляузу — что хочешь, то и пиши, что Фенин — чиновник, волокитчик, зарвавшийся бюрократ, что, я без куска хлеба сижу, а он, подлец, палец о палец не хочет ударить, чтобы мне помочь, и ваше, Петр Нилович, указание выполнить...

Теперь кое о чем я уже начал догадываться. Но лишь спустя две недели, когда, выполнив этот совет, я был вызван в МК, то уже до конца понял, что за ход придумал этот рыжий, простодушный русак Фенин.

Перед ним, как и в тот раз, лежало мое письмо на имя Демичева, но уже второе письмо и уже с другой резолюцией.

— Читай-ка! — победно протянул он мне мою же бумагу. — Читай!

В левом верхнем углу крупными буквами было написано: "Гов. Фенину", — и дальше шли какие-то мелкие и едва разборчивые слова, точно Демичев специально хотел, чтобы написанное им было трудно прочитать. Но Фенин, по-видимому, отлично разбирающий почерк начальства, тут же продекламировал: "Разберитесь и, в случае необходимости, окажите содействие".

— Во, брат, не какой-то там инструктор агитпропа Фенин, сам секретарь обкома требует, чтобы тебя немедленно устроили на работу...

— Где требует, где немедленно? — скептически протянул я.

— А Фенин на что? Фенин кто? Исполнитель! Как скажут, так и сделает. Ну ведь может он легонько поднажать, а? Толковать слова начальства тоже надо уметь. Ты Мишку Житомирского не знаешь? Вот тоже, хоть лопни, не берут никуда и все, а парень — загляденье, так мы с ним такую комбинацию провернули — будет время расскажу, со смеху умрешь. — Фенин молча потер ладони. — Конечно, работу дадим не в "Правде" и не в "Совинформбюро". Но в одно место я уже позвонил. Новая газета открывается. Какая? Очень великолепная областная газета "За рулем автомобиля" — орган московского областного автотреста. Поедешь на Фурманский переулок, дом не помню какой, разыщешь редактора Болотникова Никиту Ивановича и скажешь: "Я, Никита Иванович, от Фенина", а дальше все пойдет само собой.

201



Из МК я поехал прямо на Фурманный.

Внешне Никита Иванович, работавший раньше редактором Истринской районной газеты, оказался весьма колоритной личностью с бритой, похожей на кофейник головой и таким же длинным, напоминающим ручку кофейника, красным носом — типичный руководитель районного масштаба: председатель райпотребсоюза, начальник райфо или нечто в том же духе. Говорил он в нос, с дребезжащим прононсом, по-видимому, из-за не удаленных в детстве аденоидов. Сидел в небольшой, заставленной столами редакционной комнате, окруженный со всех сторон, как петух цыплятами, еще тремя, только что взятыми на работу молоденькими сотрудниками. При моем появлении все трое с удовольствием оторвались от столов и стали с интересом наблюдать за развитием событий возле редакторского стола.

Никита Иванович долго читал мою автобиографию и личный листок по учету кадров, которые всегда были у меня наготове. И наконец своим дребезжащим голосом изрек:

— Виктор Борисович! Все бы у вас неплохо, но, не скрою, одно обстоятельство приводит меня в смущение. Я имею в виду выговор от Комитета партийного контроля при ЦК КПСС. Как бы кое-кто повыше не прицепился к этому обстоятельству и от страха — извините за вульгаризм — не наложил в штаны! В общем, я, конечно, доложу начальству...

Трое сотрудников, бросив писать, неотрывно следили за нашим диалогом.

— Лев Борисович, Илья Сергеевич, товарищ Якимов, работа продолжается, — обвел их недовольным взглядом Никита Иванович и вышел из комнаты. Я последовал за ним. И следом вылетели все трое сотрудников.

В коридоре по очереди они протянули мне руки:

— Якимов — ответственный секретарь этой мощной газеты! — Якимов был в узеньком пиджачке, тощий, с папироской в зубах и лицом алкоголика, что никак не соответствовало его интеллигентной и чуть насмешливой речи.

— Овсянников Левон, — протянул руку следующий, с быстрыми, стреляющими по сторонам глазами. — Шофер первого класса. Газетчик по зову сердца... Пока я разглядывал третьего, он успел шепнуть мне, что шеф — сволочь страшная, стукач и прочее, "но ничего — обломаем..."

— Илюша, — наконец неуверенно подал руку третий, сов-

сем еще ребенок, курчавый, с полными детскими губками, про которого я в первую же минуту подумал, что ему нет семнадцати...

— А у Илюши мама в "Московской правде" работает заведующей отделом писем, — дурашливо гаркнулевой. — Илюша у нас в гранках родился, и вообще он начинающее дарование.

Не успел я познакомиться со своими будущими коллегами, как в коридоре снова появился Никита Иванович и сказал, что меня просит войти управляющий трестом товарищ Чернявский.

Разговор с Чернявским был куда более определенным, чем с Никитой Ивановичем.

— Выговор от КПК имеется? — сухо спросил он, заглянув в мою анкету. — Не знаю, не знаю, будем в отношении вас советоваться. Позвоните завтра.

Назавтра Чернявский уехал в область, а Никита Иванович сказал, что он без управляющего ничего сказать не может. ("Высекут еще ни за что ни про что") И вообще Фенин несколько переоценил эффект, ожидаемый от его комбинации. Мое устройство в газету "За рулем автомобиля" продолжалось еще битых две недели, и, прежде чем занять свое место за маленьким столом, расположенным левее от главного стола Никиты Ивановича, мне еще несколько раз пришлось ездить в МК, пока Фенин, чувствовавший за спиной резолюцию начальства, не приказал стальным голосом в трубку Чернявскому: "Есть прямое указание Петра Ниловича, ясно или нет? С понедельника обязываем его (то есть меня) на работу взять!"

Стоял дивный май, и наша компания во главе с Якимычем, в узеньком пиджачке и чинариком в зубах, и замыкаемая розовощеки и гордым, что и он теперь в рядах газетчиков, Илюшей, выходила со двора дома № 8 в Фурманном переулке.

Здесь, в самом углу двора, располагалась контора Чернявского, управляющая жизнью шоферской братии Подмосковья — таксистами, механиками, диспетчерами, кондукторами и Бог весть еще кем, а на втором этаже в двенадцатиметровой комнатухе располагался главный политический орган этой конторы — газета "За рулем автомобиля".

Каждый говорил и думал о своем: Якимыч о том, где бы ему в эту духоту проглотить кружечку пивка. Левон вдруг внес предложение — податься в "Нарву" и выпить по стопке

по случаю выхода первых номеров газеты "За рулем автомобиля". Розовощекий Илюша, покраснев, как вареный рак, вдруг спросил меня робеющим голосом, неужели сам Шверник объявил мне выговор и я своими глазами видел его.

— Да, видел, — улыбнулся я, имел такое счастье.

— Глаз в глаз? — все еще никак не мог поверить Илюша. — Если бы ты только знал, как я тебе завидую! Представляешь, Левон, иду с девочкой, журналист, газетчик, а в партбилете выговор от КПК, от самого Шверника, да я бы с ума от счастья сошел.

А у меня были свои мысли — что теперь я, возможно, и не пропаду.

— Сколько у нас людей-то в подчинении? — спрашиваю я у Якимыча.

— Тысяч пять негров! — смеется он. — Целая армия...

Вечером я захлеб рассказывал Кленову о своей новой фирме. Возвратившись из Коноши в Москву, он устроился инспектором по кадрам в Московской областной конторе Главлесбумсбыта. Кленов остался Кленовым, и когда он встречал своих бывших сокурсников, то сообщал им, что работает начальником отдела кадров самого Главлесбумсбыта. Мне такого никогда не добиться. Но и я, как было всем доложено, устроился не на табачной фабрике "Ява", а в главной шоферской газете Московской области. Все, что на четырех колесах, все в моем распоряжении, не говоря о том, что трест выдал каждому из нас по черному удостоверению общественного ревизора. Так что если мы попадали в Рузу или в Можайск, то могли бесплатно ездить на всех видах транспорта. Впрочем, все виды транспорта — это только автобус. Таксисты наши удостоверения не принимали, а когда Левон сподобился не взять билета на электричку, то был за милую душу оштрафован. Денег, правда, не заплатил, но в редакцию шли одна за другой повестки из суда. Никита Иванович не уставая мучил Левона укорами: "Лев Борисович, с судебными инстанциями шутки плохи, будете тянуть — последние портки снимут, не вякнете!"

К каждому из сотрудников у Никиты Ивановича был свой подход. Больше всех доставалось Илюше Меленевскому. Он оказался непревзойденным графоманом, если это слово вообще было применимо к недоучившемуся 17-летнему Илюше.

За полдня он был способен написать сразу три очерка, а так

как наша безгонорарная газета вечно испытывала голод по материалам, то все его творения шли в набор, хотя и вызывали нарекания Никиты

Ивановича.

— Илья Сергеевич! — говорил он. — Вы пишете много, но слишком увлекаетесь штампами. Надо все-таки головой думать, а не тем местом, на котором сидите. Пишете: "В автобус вошла девочка со щечками, как красный помидор". Я пропустил только потому, что править не было времени, но на будущее прошу со штампами быть поаккуратнее.

В будущем ничего не менялось, и Никита Иванович тем же меланхоличным голосом продолжал распекать Илюшу:

— Илья Сергеевич, и чего вам дались эти овощи? Пишете: "Рядом с водителем такси сидел мальчик. Голова его была чем-то похожа на огурец". Строго говоря, ни одна детская голова на огурец не бывает похожа, хотя бы потому, что у детей растут волосы, а огурец — существо безволосое... вроде нашего с вами эпинштейна...

Уроки Никиты Ивановича Меленевскому впрок не шли. Ко всему прочему Илюша обладал потрясающей способностью перевирать все факты. За факты Никите Ивановичу мылил шею лично Чернявский, и он не раз мне плакался в жилетку по поводу своих мук с Илюшей и его творениями.

— Между нами говоря, Виктор Борисович, из Меленевского, возможно, и выйдет толк, только неизвестно, при жизни ли нашего поколения. А пока не материалы, а сопли, извините за выражение. И главное, выгнать — не выгонишь. Во-первых, комсомолец, а во-вторых, мама — член редколлегии "Московской правды". Мимо этого факта так просто не пройдешь.

У меня Никита Иванович тоже нашел слабое место, хоть и не переставал подчеркивать, что по профессиональному уровню мои статьи на десять голов выше очерков Меленевского. Главные претензии Никиты Ивановича касались распределения светотеней в моих материалах.

— Виктор Борисович! — сказал редактор на второй день после моего прихода. — Очень уж мрачные тона в нашей критической корреспонденции о Егорьевском автохозяйстве. Какая-то помойка, а не советское предприятие. Критика — вещь полезная, но надо знать меру. А это прямо для "Голоса Америки".

К таким вещам Никита Иванович был непримирим и, в от-  
205

личие от очерков Меленевского, не допускал никаких компромиссов.

— Виктор Борисович, это для Би-Би-Си, прошу переделать, — и он решительно препровождал мое творение со своего стола на мой.

Вообще такого хладнокровного зануды, как наш Никита Иванович, по-моему не знал мир. И к тому же еще такого потрясающего лодыря. Позже, когда Якимов ушел и я стал ответственным секретарем, то почувствовал это на своей шкуре, и с такой силой, что однажды не выдержал и высказал Никите Ивановичу все, что накопилось на душе.

В летние дни Никита Иванович вообще не хотел работать. В три-четыре часа дня он снимал с гвоздика свою соломенную шляпу и преспокойно сматывал удочки, заставляя меня до ночи торчать в типографии и подписывать газету, то есть выполнять его прямые обязанности. И если я пытался отпроситься пораньше, он обычно долго мне выговаривал, сравнивал ответственного секретаря с капитаном на мостике... и кончал обычно одной и той же фразой: "Виктор Борисович, следующий раз прошу планировать свое личное время так, чтобы не ставить под угрозу график выхода газеты..."

Так вот после одного из таких выговоров я вспылел и на всю редакцию матерно выругал редактора.

Никита Иванович и глазом не повел.

— А у вас, Виктор Борисович, тоже есть недостатки!

Больше всего редактор любил, чтобы мы организовывали среди шоферов новые коммунистические почины. Такие материалы он обычно распорядился ставить на первую полосу. Подписывал их, причмокивая от удовольствия губами, и даже не обращал внимания на штампы. Эту слабость Никиты Ивановича первым раскусил Илюша и без особого труда стал находить охотников выступать на первой полосе с творческими начинаниями. Больше всего их оказалось среди люберецких таксистов. Не без вмешательства Илюши весь люберецкий таксопарк первым включился в соревнование за досрочное выполнение семилетки. Илюша по этому поводу написал целую полосу, а Никита Иванович ее беспрекословно подписал, заметив при этом: "Они хоть и публика ушлая, но кашу с ними варить можно".

Слабость Никиты Ивановича к новым починам однажды привела к тому, что чуть не подорвалась вся газета.

206

Среди люберецких таксистов Илюша сумел выискать такого новатора, равного которому не знали автомобилисты страны. Это был сорокалетний одессит, водитель первого класса Борис Абрамович Карпиловский. Он без колебаний дал Илюше карт-бланш на любые материалы, нужные редакции, за его подписью.



Илюша не замедлил этим воспользоваться. И вот когда в депо "Москва-Сортировочная" началось движение за коммунистический труд, то первым в Люберцах разведчиком будущего стал человек нового коммунистического сознания (иначе Илюша его и не называл в своих очерках) — Борис Карпиловский. Он был первым последователем Валентины Гагановой и заявил со страниц газеты, что берет на себя обязательство вытянуть сразу три отстающих бригады.

Ко всему прочему это был просто обаятельный человек, неиссякаемый источник анекдотов и веселья, за что мы все его любили, звали между собой Бобом Карпиловским.

Портрет Карпиловского, внешне похожего на молодого Утесова из кинофильма "Веселые ребята", не сходил с первой полосы, пока однажды Чернявскому не позвонили из Люберецкого горотдела милиции и не сообщили, что в автобазе города Люберцы начато уголовное дело против группы таксистов во главе с бригадиром коммунистического труда Карпиловским.

Даже в мошенничестве Боба Карпиловского угадывался почерк одессита. В "образцовое коммунистическое обслуживание" Боб внес элемент частной инициативы. Именно к этому обстоятельству и не осталась равнодушной милиция.

Боб вступил в тайное соглашение с несколькими персональными шоферами министров. Согласно этому соглашению, они, то есть персональные водители, в определенные дни заболели и уходили на бюллетень. По случайности дни болезней совпадали с днями прибытия их шефов-министров во Внуковский или Шереметьевский аэропорты. Сойдя с трапа авиалайнера и не видя своего водителя, могущественный шеф начинал беспомощно смотреть по сторонам, выискивая, кто бы мог его выручить и подвезти домой. В этот момент, откуда ни возьмись, и выплывала импозантная фигура Боба Карпиловского. Он услужливо подхватывал министерские саквояжи да плюс еще с великолепными одесскими хохмами отвозил попавшего в беду министра домой.

Он лично вносил багаж в апартаменты своего пассажира, и нередко случалось, что очарованный министр тут же предлагал Карпиловскому место своего личного шофера — настолько Боб был обаятелен в пути. В ответ неизменно следовал отказ Боба. Он был честным человеком, и в лучшем случае, что мог себе позволить, — это показать государственным людям, как должен работать цивилизованный водитель, за что

государственные люди не могли отказать себе в удовольствии щедро вознаградить такого водителя. Он в свою очередь кое-что выделял и их персональным шоферам.

Так или примерно так выглядели показания обвиняемого Карпиловского следователю ОБХСС. Впрочем, остапбендеровская деятельность ничуть не мешала Бобу брать высокие обязательства, перевыполнять план по пассажирам и пассажирокилометрам, так же, как новаторская натура Боба не помешала милиции начать против него уголовное дело.

— С тобой. Илюша, как с фальшивой монетой, лучше не связываться, — горестным голосом комментировал Никита Иванович головомойку, полученную от Чернявского за историю с Карпиловским. — Ну, теперь твой вонючий Боб уж не вылезет, органы покажут ему такие почины, что своих не узнает. Крапивой по заду таких дельцов надо, простите за грубость...

Если бы Никита Иванович, потерявший в эти минуты объективность, знал, как он далек от истины в своих мрачных прогнозах относительно нашего любимца!

Спустя несколько лет судьба снова свела меня с Бобом Карпиловским, и произошло это при следующих обстоятельствах. Поздно вечером у Савеловского вокзала я, вероятно, в течение получаса тщетно пытался остановить такси. Был двадцатиградусный мороз. Жена, находившаяся в то время в положении, преотвратно себя чувствовала, а мимо нас сновали свободные машины, и ни одна не удосуживалась остановиться.

Переписав номера нескольких машин, я наутро написал письмо начальнику Управления пассажирского автотранспорта Москвы. Письмо это, спущенное в таксопарки, как и следовало ожидать, не принесло никакой пользы. Отовсюду шли нечленораздельные отписки — тому-то по вашей жалобе поставили на вид, тому-то строго указали... И только один ответ поразил меня своей деловитой обстоятельностью.

"Многоуважаемый Виктор Борисович! — читал я. — Работ-

208

ники такого-то таксомоторного парка на общем собрании всего коллектива обсудили Вашу жалобу и единодушно признали, что вопрос о нарушениях на линии Вами поставлен правильно и своевременно".

Если бы в канцелярской переписке мог бы существовать жанр поэзии, то это произведение было именно этого жанра. Сообщалось, что после моего письма решено еще выше поднять ответственность каждого

труженика таксопарка, укрепить товарищескую взаимопомощь и во всю ширь развернуть соревнование за коммунистический труд. В заключение следовала подпись — я не верил глазам! — "С коммунистическим приветом, заместитель директора таксопарка Борис Карпиловский".

## НАДО ЖИТЬ

Я позволил себе вспомнить эту анекдотическую историю явно в нарушение логики. Да и занимает меня несколько иной вопрос: какие силы, несмотря ни на что, помогают человеку оставаться самим собой. Нет, не применительно к Бобу Карпиловскому, а применительно к себе занимает меня этот вопрос. Думаю о трудных днях после окончания института, когда в должности бухгалтера-ревизора разъезжал я по районным газеткам, воображая себя невесть какой шишкой; о 57 годе, когда, обрета положение, вдруг лишился всего и тем не менее всегда пребывал в прекрасном настроении. И если мать пыталась по обыкновению вспомнить недобрым словом Юридический институт (с неизменным рефреном: слушался бы ее, никогда бы ничего не произошло!) — я бывал искренне возмущен. Мать просто не понимает, какое положение я занимаю в своей областной газете "За рулем автомобиля".

Выше я назвал себя и себе подобных романтиками. Если это так, то откуда берется этот романтизм?

Отчего при всех перипетиях жизни я умудрился не падать духом, и я строю воздушные замки, и у меня отличное настроение. Конечно же, молодость! Конечно, надежды! Но те же черты нахожу в себе и сейчас, когда за плечами — лучшие полжизни. И сколько таких, как я, встречались мне! Хотите, называйте их романтиками, хотите, как-то еще, дело ведь не в словах. Об одних я уже писал, о других еще речь впереди, но все они возвращают меня к вопросу: что же выделяет их среди других?

209

В 1936 году в статье "Национализм и еврейство" Фейхтвангер писал: "С признаками еврейства обстоит так же, как с еврейским Богом, чье имя непроизносимо и который, несмотря на свою "неизобразимость", существует активнее, чем наглядно изображаемые боги других человеческих групп. Еврейство — не расовая общность. Еврейство — это духовная общность, общий духовный облик. Это согласие и взаимопонимание всех принадлежащих к этой группе consensus omnium в

важнейших вопросах. Это согласованность трехтысячелетней традиции в том, что хорошо и что плохо, что счастье и что несчастье, что достойно стремления и что достойно отвращения, согласованность в элементарных воззрениях о Боге и человечности".

Так считает Фейхтвангер. Но, перенося национализм из области чувств в сферу логики и рассудка, он сам впадает в противоречие, так как оказывается неспособным ответить на главный вопрос: почему еврейская духовная позиция сумела сохраниться в течение тысячелетий? Иначе говоря, в чем источник духовной силы еврейства, которое при отсутствии территориальной, расовой, языковой общности, при отсутствии общности образа жизни оказалось способным выжить как нация.

Чувства побуждают обратиться к библейской истории, столь ярко представленной не знающими страха вождями, дальновидными правителями. К ним восходят многие черты еврейского народа, но судить по преданиям о живом еврейском характере можно с той же степенью достоверности, с какой выводите из образа Ильи Муромца, скажем, того же Митю Карамазова или солженицынского Ивана Денисовича.

По-видимому, следует искать этот характер в типических российских обстоятельствах. А что это значит для евреев? Это значит: национальные унижения, неравноправие, надежды и крушения — все это испокон веков было присуще российской действительности. Я имею в виду не святую поэтичную Русь Тютчева и Блока, а Россию Шолома-Алейхема, с чертой оседлости, с одесской биржей, с егупецкими маклерами и городовыми и с вечно неунывающим веселым страдальцем Менахем-Мендлом из Касриловки.

В предисловии к советскому изданию собраний сочинений Шолома-Алейхема сказано, что Менахем-Мендл олицетворяет собой "конвульсивные усилия мелкого буржуа приспособить-

210

ся к капитализму, который его давит... — претенциозный классово-экономический подход к проблеме, не дающий ничего ни уму, ни сердцу. Вот что писал сам Шолом-Алейхем в 1909 году в канун праздника Ханука: "Менахем-Мендл — не герой романа и вообще личность невыдуманная. Это человек обыденный, заурядный, с которым автор лично и близко знаком. Он вместе с ним прошел лет двадцать жизненного пути. Встретившись в 1882 году на одесской малой бирже, мы потом рука об руку проделали все семь кругов ада на бирже в Егупце, "шли" с ним вместе в Петербург и Варшаву, пережили множество кризисов, кидались от одной

профессии к другой, но — увы! — нигде счастья так и не нашли и вынуждены были в конце концов по примеру многих эмигрировать в Америку... Там, говорят, евреи живут неплохо".

Лишь по литературе я знаю о малой одесской бирже, егупецких сватах и маклерах. И при множестве своих неудач лишен был счастливой возможности писать и плакаться в жилетку "дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейне-Шендл".

Но как это ни странно, Менахем-Мендл и я — это одно и то же лицо, хотя он провинциальный мечтатель николаевской России, а я журналист эпохи научно-технической революции. Бессмысленно перечислять, что нас роднит. Это надо чувствовать, как чувствовать себя Менахем-Мендлом. Вот уж кто живой пример гегелевского отрицания отрицания, пример того, как философская абстракция воплощается в живом человеческом характере. Менахем-Мендл отрицает Менахем-Мендла. Ради утверждения себя в лучшем качестве, для лучшей жизни прошел он все семь кругов ада.

Так что же все-таки отличает еврея от нееврея?

Великолепный афоризм приводит Фейхтвангер, принадлежащий рабби Гилелю: "Что ты не хочешь, чтобы делали тебе, не делай другому!"

Но как сказал бы Менахем-Мендл, одними афоризмами сыт не будешь, даже если они принадлежат такому мудрому человеку, как рабби Гилель. Худо — плохо, но надо еще делать дело и кормить семью, и рожать детей, и надеяться на лучшее. Может быть, не все надежды сбудутся, но надеяться надо. В общем, у Менахем-Мендла свой девиз — "надо жить и не падать духом". И это все. И это главное.

... Он отправился искать счастья в Америку, а я, сделав-

211

шись ответственным секретарем газеты "За рулем автомобиля", подал заявление о снятии партийного выговора. Объявляли мне его пять минут, а снимали больше года, инстанция за инстанцией, и везде задавали один и тот же глубокомысленный вопрос: "Как же это вы так, товарищ Перельман, умудрились разрушить честную семью рабочего Иванова? Надо же думать, когда пишете!"

Секретарь Бауманского райкома партии в своей назидательной речи так увлекся, что я, грешным делом, подумал, как бы все это не кончилось трагически и меня все-таки не исключили из партии. Но "бес", как это часто случалось у Менахем-Мендла, сменился "госом", и кто-то из присутствующих задал вопрос:



— Ну а как сейчас, пишете фельетоны?  
— Нет, сейчас уже не пишу...  
— Научили! — засмеялся секретарь райкома и сказал:  
— Что ж, товарищи, по-моему, он кое-что осознал, есть предложение  
— выговор снять.

В тот миг мне действительно казалось, что кое-что я осознал. Совсем не обязательно всю жизнь ходить по канату. Можно ведь просто жить. Просто работать. И просто зарабатывать деньги. Так зарождалась в голове новая философия, новое отрицание.

Впереди вырисовывалась вполне разумная и обеспеченная жизнь. Но я слишком плохо знал сидящего во мне Менахем-Мендла, который мог превратиться в кого угодно, но только не переставал быть самим собой.

## AQUA PURA

Начиная с 60-го по 68-й год я, будучи корреспондентом журнала "Советские профсоюзы", налетал тысячи, а может быть, и десятки тысяч километров, и если бы служил в авиации, то, возможно, уже получил бы право на пенсию. Но я профессиональный журналист, и самолет был для меня не целью, а только средством, помогавшим, как говорил Сент-Экзюпери, "вырваться из города, от счетоводов и письмоводителей, увидеть человеческий труд и человеческие заботы". Самолет, который за каких-нибудь два часа доставлял меня из районов вечной мерзлоты в районы лазурного Черноморья и из которого я мог наблюдать очертания земного шара с той же пья-

212

нящей легкостью, с какой, развалившись в мягком кресле салона, любоваться ножками бортпроводницы, — становился для меня инструментом познания, своего рода субстратом пространства. И так было много лет.

Но теперь, когда пишу эту книгу, в моем сознании произошла "смена декораций". Все, что было в реальной жизни, все — от бортпроводниц до политических деятелей, с кем меня так часто сталкивала жизнь, — сохранилось лишь на киноплёнке, запечатлевшей прошлое. Невидимая и неосязаемая, не занимающая и микрона пространства, эта лента сегодня для меня — единственная мера ощущений, единственная мера бытия. Все прочее — передвижение по квартире, по улицам, мои отношения с друзьями — существует лишь в связи с ней. Теперь я отчетливо знаю, что

пространственный мир, сколь бы он ни был богат красками, — это всего лишь распиленный в поперечнике ствол непрестанно растущего дерева, лишь паспортная фотография жизни, верная для данного мгновения, но мало чего стоящая спустя одну-две секунды.

Зато ушедший в прошлое мир продолжает жить за кадром и постоянно дает о себе знать.

Совсем недавно жена позвала меня к телефону;

— Виктор Борисович! Здравствуйте! Кто говорит? Неужели не узнали, Виктор Борисович? Ай-яй-яй, загордились, оторвались от старых друзей...

Я, разумеется, уже давно понял, кто говорит, и ломал комедию ради любопытства.

— Да, автор " Дела Тихомировых", молодой, но уже достаточно маститый писатель, — а ныне журналист и литератор всесоюзного масштаба!

Время способно состарить человека, исполосовать его лицо морщинами, но ему не подвластны интонации голоса, манера говорить, возможно, оттого, что ему не подвластен характер.

— Здравствуй, Витенька, здравствуй, дорогой! — наконец раскрывает свое инкогнито мой бывший соавтор Толя — ныне доктор исторических наук, профессор Анатолий Алексеевич Безуглов.

В отличие от меня. Толя сделал большие успехи на научном поприще. Он уже много лет работает в Институте права Академии наук СССР, проявив недюжинные способности именно в той области, где был так жестоко осмеян профессором Кравчуком. Толя с блеском защитил кандидатскую диссертацию,

213

а совсем недавно — докторскую: "Государственно-правовое положение советского депутата".

После защиты его тепло поздравил сам член-корреспондент Академии наук СССР профессор Чхиквадзе, чья принципиальная борьба с безродными космополитами не была не замечена, он уже много лет возглавляет Институт права Академии наук СССР.

На защите все называли Толю ученым, не отрывающимся от практики. В своей диссертации молодой ученый широко использовал материалы эксперимента в селе Конаково Калининской области. Там часть функций исполкома сельсовета была передана сессии сельсовета и благодаря этому роль народных избранников еще более возросла. Цель Толиного звонка ко

мне состояла в том, чтобы осветить этот эксперимент на страницах "Литературной газеты".

На банкете говорили, что Толя не только ученый, но к тому же и талантливый литератор. Перу доктора наук Безуглова принадлежит много литературных работ и даже два романа. "Ну, товарищи, товарищи, это уж слишком!" — скромно останавливал таких Толя.

Выступавшие в этом месте действительно утратили чувство меры, так как, во-первых, не два романа, а две повести, а во-вторых, не перу Безуглова, а его соавтора, одного из советских писателей-детективистов.

После дела Великовского Толя утратил ко мне интерес как к соавтору, но не утратил тяги к соавторству как к форме творческого содружества. И вот на моем месте появился другой литератор. Он пишет, Безуглов пробивает написанное.

Теперь научная респектабельность не позволяла Толе произносить вслух циничную формулу "бензин ваш, машина наша". Распределение ролей молчаливо подразумевалось, и выступавшие на защите, чье настроение подогревалось хорошим отношением к Толе шефа и предстоящим банкетом, конечно, не знали да и не могли знать этих нюансов его творчества. Они прочили Толе будущее академика и крупного писателя одновременно.

Голоса прошлого слышу не только по телефону. На Ново-  
214

Песчаной, на троллейбусной остановке меня окликнула импозантная и почти уже совсем седая женщина в каракулевом манто. С трудом узнаю Нелю Крылову, лицо ее излучает довольство и благополучие:

— Живу, Витька, неплохо, второй раз замуж вышла, защитилась. Кто муж? Один очень симпатичный человек...

Мы хотели обменяться телефонами, но подошел ее троллейбус, и, оглянувшись, она лишь успела помахать мне с подножки пальчиками.

В "Вечерней Москве" я наткнулся на некролог: "Администрация, партком и местный комитет Института патентной экспертизы с глубоким прискорбием сообщают, что после кратковременной и тяжелой болезни скончался ученый секретарь института, член КПСС с 1932 года Абрам Семенович Великовский".

Жизнь есть жизнь. Одни умирают, другие продолжают жить и здравствовать.

Не так давно в журнале "Молодой коммунист" я увидел статью помощника секретаря Президиума Верховного Совета СССР Александра

Жаркова. Статья называлась "Слуга народа". Путь, пройденный автором от поэтического салона сестричек Крыловых до высшего органа государственной власти, несмотря на написанный по дороге донос, не изменил поэтических пристрастий автора. Он так же, как когда-то в молодости, цитирует Маяковского: "А что если я — народа водитель и одновременно — народа слуга".

Голоса прошлого помогают лучше понять пространственный мир. Происходит переоценка ценностей. И многие реалии, составлявшие некогда смысл жизни, оказываются всего-навсего призраками, но не настолько безобидными, чтобы просто взять и забыть их как нечто несуществующее.

Как-то много лет назад сидели мы в пивном баре Московского дома журналиста, я и мой старый знакомый — сотрудник Центрального телевидения Гриша Фрумкин. О чем говорили, не помню, но в конце поспорили по поводу, казалось бы, очевидной вещи. Будучи в душе кристально честным парнем, Гриша вдруг начал высказывать мысли, мягко говоря, сомнительные — что он видит свой профессиональный долг лишь в том, чтобы хорошо писать, и что ему безразлично, кто и во имя каких идеалов использует его материалы...

215

— Пойми, — говорил он, — я скорняк, я ювелир, я должен быть хорошим мастером, но что получится, если скорняки начнут делать шапки только для прогрессивных людей...

Я говорил, что никогда с этим не соглашусь. В те дни я отбывал ссылку в своей шоферской газете. Но думаю, что не подписался бы под ними и позже, когда вновь вышел на всесоюзную арену, сделавшись заместителем редактора отдела экономики журнала "Советские профсоюзы".

Это было в феврале 60 года. Друзья поздравляли, говорили, что я сделал гигантский скачок, и мне самому казалось, что это так, и, может быть, поэтому моральный аспект этого "гигантского скачка" меня вообще не занимал. Хорошая должность, хорошая зарплата, перспектива ездить по стране. Что же еще, философствовал я, нужно "бедному еврею"?

Но подсознательно во мне все же жила успокоительная мысль, что я иду не куда-нибудь, а в центральный рабочий журнал и меня ждет не только неплохая жизнь, но и живая, интересная работа.

Конечно, я шел не в "Новый мир" и даже не в "Огонек".

Наш профсоюзный орган не печатал очерков, не иллюстрировался. В скучной красной обложке он вообще не вызывал желания открыть его. Но

его новый редактор Константин Кириллович Омельченко говорил, что его самого тошнит от этой серости и он сделает все от него зависящее, чтобы поднять журнал. Мы не просто должны описывать факты, а предлагать читателю глубокие концепции жизни. В глубине и правде — залог нашего успеха, нашей популярности в глазах читателя.

До войны Константин Кириллович заведовал сектором газет ЦК КПСС. Был он главным редактором "Труда", начальником Главлита, заместителем председателя Всесоюзного Общества по распространению политических и научных знаний.

Я и сейчас его вижу совершенно отчетливо, в масштабе один к одному, как, сняв по обыкновению башмаки (его мучила подагра) и опершись пятками о ковер (его обычная поза), он напутствовал меня в первую командировку.

— Товарищ Перельман! — Он всех называл по фамилиям и даже своего зама Михаила Петровича Гончарука — товарищ Гончарук. — Что интересует читателя? Завитушки? Трюкачество? Читателя интересует глубина и правда!

И как за тем же столом, изрисовав красным-красно мой пер-

216

вый очерк, он исписал все поля вопросами: "Мысль?" "Концепция?" "Неужели ради этого надо было лететь на Урал?" Я абсолютно не понимал, что от меня хотят — каких концепций, каких глубин в этой простой истории, названной мной "Обида Геннадия Ананичева".

Этот Ананичев работал на цементном заводе под Свердловском и прислал в редакцию письмо. По вине начальника цеха распалась руководимая им бригада коммунистического труда. Уже из письма, занявшего неполную страничку, все было ясно. Но Константин Кириллович, прочитав письмо, воскликнул: "Послушайте, Перельман, это же великолепное письмо! Оно дает импульс к глубинным размышлениям о самой сути коммунистического соревнования, посидите на заводе, подумайте..."

Я пробыл в командировке целую неделю, переговорил с десятками людей, но так и не почувствовал никакого импульса. Это был старый уральский завод с темными, грязными цехами и вечно мутными от цемента окнами.

Ананичев работал в шамотном цехе, и начальник цеха, чтобы не сорвать план, действительно перевел некоторых членов бригады на другие участки, и бригада перестала существовать. Ананичев оказался мягким



симпатичным парнем, и когда я появился в цехе, то не понял — был он огорчен или обрадован моему приезду.

— Вот уж не думал, что подымут такой шум, — недоумевал он, и рассказал, как нескладно получилось с бригадой — то "все делали вместе — в кино ходили, на каток, а теперь все поврозь — не пойми, что стало..."

Я сочувствовал Ананичеву, но старался следовать правде, как и напутствовал меня редактор, и привел даже свой разговор с начальником цеха. Он был расстроен страшно и, непрестанно утирая с рыхлого лица пот, говорил:

— Вы поймите, товарищ корреспондент, что насчет соревнования я все отлично понимаю и к Генке с его ребятами всей душой. Сам же для них буфет открыл. Но план же, план нас мучает...

На полях рядом с этим признанием Константин Кириллович написал: "Ханжество!" — а место, где говорилось, что начальник цеха организовал буфет, — было жирно подчеркнуто и на полях написано: "Тред-юнионизм!"

Редактор обиженно крутил в руках мое творение, будто я  
217

обманул его самые светлые надежды: "Да вы поймите, Перельман, что это просто фактология, а нужна глубина!"

Я трижды перелопатил материал, но нужной глубины так и не достиг. И мой многострадальный очерк был отдан на доработку заместителю ответственного секретаря Володе Давидовичу.

Голубоглазый, с мощной седой шевелюрой Давидович был одним из старейших сотрудников редакции. В душе он считал себя поэтом-песенником и, еще, будучи в армии, опубликовал во фронтовой газете несколько бойких частушек.

В журнале Давидович никогда не печатался, зато на него были возложены довольно ответственные, хотя и прозаические обязанности — дотягивать материалы сотрудников до кондиции.

Словом, на другой день на стол редактору была положена статья. От меня в ней не осталось и слова, зато появилась "концепция". Оказывается, добродушный толстяк — начальник цеха — проявил деляческий подход к соревнованию и ростки коммунистического труда принес в жертву узкохозяйственному интересу.

Мой заголовок "Обида Геннадия Ананичева" был заменен другим — "На положении пасынков".

В жизни мне приходилось за многое расплачиваться — за

увлекающийся характер, за неуживчивость, за критиканский дух. Похоже, что на этот раз я расплачивался за то, чего никогда не видел.

Так начинался мой творческий путь в журнале "Советские профсоюзы". Этот журнал существует и сегодня. Если вы углубитесь во двор №13 по улице Кирова, то обязательно упретесь в длинный желтый дом, стоящий спиной к улице Мархлевского. Это — Дом профсоюзов.

Так вот, если войдете в правый подъезд с каменным крыльцом, подниметесь на третий этаж и после этого свернете влево, то и окажетесь в коридоре журнала "Советские профсоюзы".

Справа и слева стеклянные дощечки с названиями отделов. Там, где написано "Отдел экономики и зарплаты", за письменным столом, стоящим торцом к окну, я и просидел почти десять лет.

Я написал и отредактировал сотни статей, но смысл этой работы понял гораздо позже, когда в качестве корреспондента журнала ушел в плавание, в Северную Атлантику, и напи-

218

сал об этом плавании роман-дневник с довольно странным на первый взгляд названием "Аква пура". "Aqua pure" — это дистиллированная, прозрачная, сверхчистая вода. Но если с грехом пополам можно понять ее присутствие в книге о море, то при чем тут журнал "Советские профсоюзы"?

В романе есть гротескная сатирическая глава, когда главный его герой журналист Михаил Фишер, отправившийся на плавбазе "Северодвинск" в море, вспоминает историю, очень близкую той, что произошла с моим очерком "Обида Геннадия Ананичева".

В отличие от меня, его посылают не на Урал, а на высокогорную алтайскую стройку, где долгое время ощущалась острая нехватка воды. Когда Фишер приехал на стройку, то вода уже была, на стройплощадке стояли бачки для питья, в конторках мастеров — сифоны. Был проложен водопровод и построены для рабочих душевые.

Строители угощали московского корреспондента холодной ключевой водой. Они говорили, что с ее появлением вся их жизнь стала другой и даже выросли производственные показатели.

Свой очерк Михаил Фишер назвал "Вода" и не без ощущения своей маленькой победы положил его на стол редактору. Но уже к вечеру материал был препровожден на стол секретарю редакции Володе Гуриловичу с резолюцией: "Примитив и мелкотемье!"

Гурилович избавил очерк от примитива, и рядом с горными

родниками, давшими строителям воду, появились "родники инициативы и творчества". И ключом была не только горная вода, но и энергия строителей, взявших новые обязательства. И даже холодный душ, который люди принимали после рабочего дня, у Гуриловича получил новое осмысление — этим душем общественность стройки окатывала в стенгазете лодырей, не желающих идти в ногу с коллективом.

Символ перемен, происшедших на стройке, выражал новый заголовок не "Вода", а "Вторая вода", то есть не та, что на поверхности, а та, что на глубине: сверхчистая и сверхпрозрачная, которую еще строители водопровода в древнем Риме называли "aqua pura" ее не мог углядеть мой герой с его тривиальным, поверхностным взглядом на жизнь.

Только уйдя в море, он начинает многое понимать. Оказывается, и здесь "кипят родники творчества", устраиваются

219

бесконечные собрания, принимаются соцобязательства, над которыми не устают потешаться рыбаки, выпускаются стенгазеты, где среди пышных велеречивых фраз о романтиках моря не найти и слова о реальных трудностях людей.

Аква пура — это то, чего я не сумел разглядеть в очерке о бригаде Геннадия Ананичева, но ради чего существовал, да и по сей день существует журнал "Советские профсоюзы".

## СТОЛОВЕРЧЕНИЕ

Каждый год в разгар подписной кампании издательство "Профиздат" выпускает плакаты, посвященные журналу. Они извещают читателей, что в новом году журнал познакомит их с опытом организации социалистического соревнования, привлечения масс к управлению производством, общественными комиссиями и многим другим, ради чего сотрудники редакции летали по всем параллелям и меридианам страны.

Поначалу непросто было находить в гуще заводской жизни "вторую воду". Случалось, она залегала так глубоко, что о ее существовании не подозревали даже те, кто обязан был ее добывать.

Однажды я был послан редактором на Костромской завод "Строммашина" "организовать" статью председателя завкома Владимира Чаркова. Тему ее Константин Кириллович сформулировал так: "Формы и методы контроля общественности за развитием изобретательства и рационализации".

Председатель завкома встретил меня великолепно и даже послал на вокзал машину. Но, услышав тему, посмотрел на меня так, будто я предложил на моих глазах расщепить атомное ядро или продемонстрировать сеанс телекинеза. Наконец Чарков сообразил, что заниматься столоверчением, то есть писать статью, придется мне, и послал меня в цеха. Там я, разумеется, ничего не нашел, и когда не солоно хлебавши сел в гостинице за статью, то мое занятие в некотором роде действительно напоминало столоверчение.

Не найдя реальных общественных контролеров, я начал вызывать духов — в виде контрольных постов, рейдовых бригад, советов новаторов, смело вводил в эти призрачные организации живых людей — работников завода. Они действовали, спорили с начальством, вносили предложения — словом, на третий или четвертый день моя "aqua riga" зажурчала как живая.

220

Я положил на стол председателя завкома его десятистраничную статью. Прочитав ее, он оживился и жизнерадостно воскликнул:

— А ведь работаем, черт возьми, только рассказать не умеем, — и уверенно подписал статью.

Труднодоступностью второй воды и ничем более объяснялся тот факт, что актив журнала состоял из одного-единственного автора Бориса Гольдштейна, маленького человека, чрезвычайно одаренного, но отсидевшего пять лет по пятьдесят восьмой статье и не имевшего возможности нигде устроиться.

Омельченко, лично знавший мать Гольдштейна, работавшую когда-то в "Правде", относился к нему благожелательно и доверял едва ли не самые трудные задания. Ему приходилось выполнять такие сеансы столоверчения, перед которыми бледнел мой контроль общественности на "Строммаишне"...

Однажды Константин Кириллович вызвал Бориса и сказал:

— Послушайте, Гольдштейн, нам нужен хороший очерк о ликвидации противоположности между умственным и физическим трудом. Поезжайте в Горький на автомобильный завод, полазьте по цехам. Это будет просто чудесно, если мы напечатаем такой очерк.

Борис неделю не вылезал с завода, но не мог найти и следов того, зачем приехал. Дело его было совсем плохо, но неожиданно он встретил в сборочном цехе пожилого слесаря-ударника по фамилии Жуков. Слесарь стоял, склонившись над верстаком, с карандашом за ухом и чертежиком в

руках, и этот его вид навел Бориса на ошеломляющую мысль. Он подошел к рабочему и робко поинтересовался, читает ли он чертежи.

— Ну, а как же, — ответил тот. — У нас все их читают, без этого нельзя.

— А не бывает ли так, — продолжал Борис, почувствовав, что набрел на золотую жилу, — что вы вносите поправки в эти чертежи?

— Почему нет, бывает, вот здесь хоть, — показал он на чертежик, — думаем сточить резец на конус.

Рабочий поправляет чертежи инженера, значит он является его соавтором, а раз так, то, следовательно, приобщается к умственному труду. Таким был ход мыслей Бориса, и через несколько дней он положил очерк на стол Омельченко.

Однако история этим не кончилась. Константина Кирилло-  
221

вича смущало одно обстоятельство — почему автором материала о рабочем, приобщившемся к умственному труду, должен быть заезжий журналист Гольдштейн. Не логичнее ли, чтобы он выступил в соавторстве с каким-нибудь хорошим рабочим, знающим суть дела, но не умеющим изложить свои мысли на бумаге? Почему бы Гольдштейну не выступить в соавторстве с бригадиром бригады, что вырастила передового слесаря Жукова? Давидович тотчас согласился с Константином Кирилловичем, он вообще не имел обыкновения с ним спорить, и у Гольдштейна появился соавтор — бригадир бригады слесарей Жуков.

Но очерк этот, как больная мозоль, не давал покоя Константину Кирилловичу. Читая его в верстке, он снова собрал секретариат и, вопрошающе глядя на Давидовича, сказал:

— Очень хороший материал, глубокий, чувствуется знание жизни, но, положив руку на сердце, при чем тут Гольдштейн? Рабочий пишет о рабочем. Это же чудесно!

— Но он же автор, — не выдержал и робко возразил Володя.

— Кто? — удивился Константин Кириллович.

— Гольдштейн.

— Поймите, товарищ Давидович, я же об этом не говорю, — поморщился редактор, — автор, не автор. Я имею в виду интересы читателя, Гольдштейну компенсируем на гонораре.

Фамилия Гольдштейна была снята, и это был, действительно, очерк рабочего о рабочем. И вообще все было бы чудесно, если бы бригадир бригады слесарей после выхода журнала не написал в редакцию



обиженное письмо. Он никогда такой ерунды не говорил и сказать не мог, чтобы Петька Жуков был умнее технолога, и требует, чтобы за это фантазерство кому надо всыпали.

Впрочем, все это была редакционная кухня, мало кому известная. "Советские профсоюзы" платили хороший гонорар, и к нам постоянно шли внештатники, предлагавшие свои услуги. Если они выезжали в командировку, то Константин Кириллович сам таких инструктировал и всякий раз не забывал упомянуть, что читателя интересуют глубина и правда. Внештатник согласно кивал головой, говорил, что он сам всегда стремится писать глубоко и правдиво, не подозревая, конечно, ни о второй воде, ни о телекинезе, которым придется заниматься, чтобы ее добыть. Кончалось тем, что материал шел на доработку Давидовичу и чаще всего летел в корзину. При

222

Омельченко напечататься в "Советских профсоюзах" было труднее, чем в "Новом мире".

Поднять журнал ему так и не удалось, хотя он с фанатичным самозабвением просиживал над ним по двенадцать часов в сутки. В те дни, когда носили верстку, он вообще не обедал и лишь время от времени открывал боковой ящик стола и отщипывал от черствой горбушки маленькие ломтики.

На стадии верстки, когда переделывать материалы было уже поздно, его более всего волновали заголовки. Как всегда, начиналось с вызова заместителя ответственного секретаря;

— Товарищ Давидович, когда кончится это трюкачество? — на лице редактора появлялось выражение неизгладимого страдания.

— А в чем дело, Константин Кириллович? (Когда Володя волновался, он не выговаривал "р" и произносил "Кихилович".)

— Товарищ Гончарук, он спрашивает меня, в чем дело, — поворачивался он к своему заму (в такие дни зам с утра уже был в кабинете у главного). — Что это за заголовок для серьезной статьи председателя Молдавского Совета профсоюзов — "Правофланговые"? А мы кто с вами или вот товарищ Гончарук — левофланговые?

— Но так обычно говосят, — ест редактора своими голубыми глазами Володя.

— Говорят, Давидович, что кур доят! Нужен хороший серьезный заголовок, выражающий суть соревнования за коммунистический труд. Идите и подумайте.

Через полчаса или час мощная седая голова Володи появляется снова в дверях.

— Ну как?

— "Пионеры будущего", Константин Кихилович!

— "Пионеры будущего"? — медленно и осторожно повторяет редактор, будто сапер, ищущий тайно подложенную мину. — Как, товарищ Гончарук? — Гончарук предпочитает с ответом не спешить, и лицо Константина Кирилловича, осененное новой идеей, мгновенно просветляется: — Знаете, друзья, есть один хороший анекдот. У егупецкого еврея родился сын, и он ужасно мучился, какой записать ему год рождения. Пошел посоветоваться к ребе: "Хоть убейте, ребе, не знаю, что делать. Записать прошлым годом — так он загремит в армию вместе со Шмулем, с кем же останусь я? Записать будущим —

223

так у Песи может родиться еще сын — возьмут сразу двоих. Записать на два года вперед — мальчика забреют совсем ребенком, тоже, ребе, не хочется". Ребе его слушал, слушал и говорит: "Послушайте, любезный, вы перебрали все варианты, но об одном забыли — а что если записать как есть?!"

— Чудесный анекдот! — смеется Гончарук. Володя тоже улыбается.

— Так почему бы, — продолжал Омельченко с тем же осененным лицом, — нам не озаглавить статью просто и ясно, как записано в решениях четвертого пленума ВЦСПС: "Развивать соревнование за коммунистический труд". Как, товарищ Гончарук?

— Хороший, мобилизующий заголовок, — говорит замредактора.

— А что? Просто и ясно, — улыбается счастливой улыбкой Давидович.

Наконец-то, кажется, кончились его муки. Но праздновал он преждевременно. Наутро редактор снова вызывал его и устраивал очередной разнос за заголовок к статье о постоянно действующих совещаниях на Горьковском автозаводе.

— "Хозяева производства!" — возмущался Омельченко. Вы меня до инфаркта доведете с этими вашими мудреватými кудрейками. О чем идет речь, товарищ Гончарук?

— Об участии масс в управлении производством

— Так и пишите это! Почему нельзя выразить мысль точно? Статья шла по моему отделу, и я попробовал вступить с Константином Кирилловичем в спор. Я сказал, что читателю вряд ли понравится, если мы

все будем давать в лоб. Редактор посмотрел на меня взглядом, в котором легко было прочесть нечто близкое к жалости.

— Послушайте, Перельман, сколько вам лет? — спросил он.

— 31, — ответил я.

— Вот когда вам будет столько, сколько мне, вы поймете, что главный наш читатель сидит не там, — показал он пальцем на пол, — а там! — вскинул он его вверх. — И там не будут вчитываться в наши шарады "хозяева, не хозяева". Там должны открыть оглавление и сразу все увидеть: понимаем мы свои задачи или нет.

Будучи человеком увлекающимся, редактор и на этот раз увлекся до того, что даже в ВЦСПС, руководителей которого никак нельзя было упрекнуть в симпатиях к журналистским шародам, стали поговаривать: "что-то журнал стал суховат".

224

Впрочем, сняли Константина Кирилловича не за то, что он засушил журнал, а за интриги и склоки. Этого в ВЦСПС не могли терпеть, поскольку там вообще не любили никакого шума по своему ведомству.

Омельченко даже не сняли. Просто он подал заявление с просьбой освободить его по собственному желанию. Он сделал этот демарш, чтобы укрепить свое положение и разделаться с недругами, а секретарь ВЦСПС Татьяна Николаевна Николаева взяла и подписала заявление.

По своему характеру Константин Кириллович был не только темпераментным человеком, но и бойцом.

В Главлите он не ужился с одним из секретарей ЦК и обратился с жалобой к Молотову и Кагановичу.

С этого и начался его закат. Во Всесоюзном Обществе по распространению политических и научных знаний он написал письмо по поводу бездеятельности его президиума и предложил распустить общество. Президиум не распустили, зато Омельченко спровадили в журнал "Советские профсоюзы".

В нем было-то всего 35 сотрудников, но ко дню моего прихода доброй половине было предложено подыскать себе работу. Вскоре и я чуть не оказался среди них. Через месяц после того как я пришел в журнал, меня вызвал редактор и сказал:

— Поверьте, Перельман, что мне очень нелегко, но что-то у нас с вами не получается. — Он долго говорил о моем неумении разрабатывать тему и давать читателю новые концепции и, дождавшись, пока выйдет из кабинета Гончарук (своему заму он не доверял с первого дня), сказал: —

А во всем, Перельман, вините свой язык. Что вы вчера сказали человеку Гончарука Давидовичу?

Я и сейчас не знаю, почему голубоглазый и наивный, как ребенок, Володя Давидович был зловеще охарактеризован как человек Гончарука и что за ужасную фразу я ему сказал накануне. Но за год совместной работы с Омельченко я успел пережить еще одно падение и еще один взлет, и, когда в начале 61 года Константина Кирилловича проводили на пенсию, я уже был редактором отдела экономики.

Проводы Константина Кирилловича являли картину довольно печальную. Татьяна Николаевна, приехавшая по этому случаю в редакцию, решила одновременно представить и нового редактора, бывшего ответственного секретаря газеты "Труд" Андрея Дмитриевича Блинова.

225

Процедура передачи власти происходила на общем собрании сотрудников. Блинов расположился в стороне на стуле, положив руки на колени и с интересом нас разглядывая.

Константин Кириллович сидел за своим письменным столом. Держался он великолепно, пытался шутить то с Давидовичем, сидевшим от него по правую руку, то с расположившейся рядом с ним и, как всегда, исполненной достоинства Татьяной Николаевной.

Поистине судьба играет человеком. Один из наших неудавшихся авторов, бывший работник Главлита рассказывал, что в его бытность фамилия Омельченко наводила ужас на всех, вплоть до министров. Бывало, зайдешь, вспоминал он, к Константину Кирилловичу ночью. При нем Главлит работал в основном по ночам. Стоит на огромном ковре, сняв ботинки, и диктует стенографистке: "Секретарю ЦК КПСС, председателю Совнаркома товарищу Сталину. Докладываю, что в нижеперечисленных изданиях, выпущенных такими-то министерствами, допущено разглашение государственной тайны. Вношу предложение: министра такого-то с работы снять и привлечь к уголовной ответственности. Дело такого-то передать на рассмотрение Комитета партийного контроля при ЦК КПСС..." По словам нашего автора, Сталин любил Омельченко и на его представлениях чаще всего писал "согласен".

И вот теперь какая-то никому не известная Николаева снимала некогда могущественного аппаратчика и любимца самого Сталина.

Татьяна Николаевна прочитала нам длинное и обстоятельное решение ВЦСПС о плохой работе журнала и сообщила, что Константин

Кириллович подал заявление с просьбой отпустить его на пенсию.

— Мы тут посоветовались и не стали возражать, — сказала Татьяна Николаевна, — у вас, товарищи, будет новый редактор — человек молодой, энергичный, к тому же писатель.

Татьяна Николаевна кокетливо поправила волосы, засмеялась и взглянула на нового редактора. Тот тоже улыбнулся своим широким с маленькими щелками глаз лицом. И все мы, сидящие в кабинете, тоже неизвестно чему заулыбались. Лишь Омельченко сидел прямой и неподвижный, и в его больших глазах таилась безысходная грусть.

С тех пор я потерял его из виду, и лишь однажды — прошло лет пять — мы с Кленовым встретили его на улице Горького.

226

Его маститую фигуру в черном с каракулевым воротником пальто и в такой же каракулевой высоким пирожком шапке я увидел еще издали. Но не одеянием и даже не отсутствующим, отрешенным взглядом он резко выделялся среди прохожих, а тем, что шел и что-то беззвучно шептал себе под нос.

— Посмотри, Омельченко! — ткнул я в бок Кленова. — Что он лепечет?

— Передовую о коммунистическом труде, — засмеялся Кленов, — наша цель состоит в том, чтобы еще шире развернуть движение разведчиков будущего.

Больше я его не видел и даже не знаю, жив ли он. Но в памяти он таким и остался — призраком в каракулевом пирожке, шагающим среди живого уличного люда и что-то шепчущим себе под нос.

Похоже, что отстраненный от жизни, перекочевав из пространственного мира во временной, он не очень-то уютно себя в нем чувствовал.

Временной мир — это мир философский. Он ничего не забирает, ничего не дает. В нем можно жить лишь прошлым. А прошлое Константина Кирилловича и ему подобных — это несуществующая глубина и правда, мертвая и неосязаемая "aqua pura". Будучи не в состоянии ее представить, Константин Кириллович, возможно, пытался вызвать ее такими же призрачными, как она, словами.

Трагическая ситуация — убедиться в старости, что ничего в жизни тобой не создано, кроме призраков!

В свою бытность редактором Омельченко любил вспоминать о Лазаре Моисеевиче Кагановиче, под чьим руководством ему пришлось много лет



работать. С особым восторгом редактор отзывался об энергии "железного наркома", его умении руководить людьми.

Впервые о Лазаре Моисеевиче я услышал из его уст, когда бился над очерком об Ананичеве.

Я выполнял указания редактора одно за другим, а материал ему не нравился.

— Но ведь сделано все, что вы сказали! — не выдержал я.

Омельченко снисходительно улыбнулся:

— Однажды, Перельман, я то же самое заметил Лазарю Моисеевичу. Так, знаете, что он ответил? "Омельченко, если бы я хотел, чтобы вы сделали то, что я сказал, я бы сделал это сам. Вы должны сделать лучше!"

227

Все это я вспомнил в один прекрасный день, когда шел по Фрунзенской набережной и увидел живого Кагановича. Мучимый одышкой, не очень опрятно одетый, он медленно плелся по тротуару, осторожно обходя крутившихся под ногами ребятишек. Видно, боялся, чтобы не сбили с ног.

Прохожие бесцеремонно обгоняли Лазаря Моисеевича, не подозревая, что эта толстая, едва передвигающаяся развалина — живые останки "железного наркома" — верного друга и соратника "великого Сталина".

Было что-то общее между ним, плетущимся по Фрунзенской набережной, и лепечущим себе под нос Константином Кирилловичем Омельченко.

Кто о них теперь помнит? Кому они нужны? Что оставили, уйдя во временной мир? Призрачная жизнь, сколь бы значительной она ни казалась, в старости жестоко мстит за себя.

## СКОРНЯК ПОНЕВОЛЕ

Новый редактор являл собой полную противоположность Омельченко. Внешне Константин Кириллович был сама респектабельность с его седыми бровями и плотным серебряным бобриком над квадратным лбом. И даже его расшнурованные ботинки, вечно стоявшие рядом на ковре, были колоритной деталью, дополнявшей его облик.

Андрей Дмитриевич был сама русская простота, круглый, светлый, с широкой до ушей улыбкой. В облике Блинова не было ничего писательского. Он в первый день собрал нас, заведующих отделами, и,

усадив вокруг себя (сам вышел из-за редакторского стола и сел на обычный стул), сказал:

— Ну что, ребята, будем делать журнал?

После Омельченко такое обращение прозвучало, как залп "Авроры".

— Ну, ей-Богу, сердцу больно, когда держишь в руках эту сухотку, — темпераментно тряс Андрей Дмитриевич последний номер, подписанный Омельченко.

— Совершенно верно, Андрей Дмитриевич, — просиял Володя Давидович. На его счету это был уже третий редактор, и каждый вселял в него новые надежды.

Блинов рубил полным кулаком по воздуху и говорил о том, что профсоюзы — это самая массовая организация рабочего класса и наш журналистский долг — показать всю красо-

228

ту и обаяние рабочего человека. Нам нужна не только профсоюзная статья, но и заметки журналиста, и писательский очерк, и даже хорошая рабочая песня!

— Святые слова! — снова поддержал Володя Давидович, в сиявшем лице которого я прочел нездоровое желание протолкнуть что-нибудь свое.

Вскоре в журнале стали один за другим появляться собратья Андрея Дмитриевича по перу. Хотя и не очень известные, но, по словам редактора, душевно привязанные к рабочей теме. Они звали Блинова по-свойски Андрей. Входя в кабинет, они на моих глазах по-братски целовались с ним.

— Вы не знакомы? — расплывался в улыбке Андрей Дмитриевич. — Это наш редактор отдела экономики Виктор Борисович. — Фамилию мою он не называл. — А это рабочий писатель Михаил Тихомиров, автор книги "Генерал Лукач".

Тихомиров — маленький лысеющий человек, обнявшись с Блиновым, подходил к его столу.

— Ну что, Мишенька, что ты нам сделаешь? Передовую?

— погоди, Андрюша, давай посидим, перетолкуем это дело.

— Только смотри, Миша, чтоб на хорошем русском языке, а то напишешь на каком-нибудь "китайском".

Через неделю Тихомиров принес передовицу. Положи я это произведение на стол Омельченко, его хватил бы инфаркт.

Передовая начиналась так; "Кто все же открыл Америку? Америго Веспуччи, Эрик Рыжий или Христофор Колумб?" Оказывается, "Рождение

нового человека после Октября" Михаил Тихомиров сравнивал ни больше ни меньше, как с открытием Америки. Такого трюкача Омельченко не подпустил бы на три пушечных выстрела. Но Андрею Дмитриевичу статья понравилась, и она сразу же пошла в набор, если не считать маленького инцидента все с тем же Давидовичем. Он дал статье самый живой из всех заголовков, какие когда-либо предлагал Омельченко: "Всегда в разведке".

Андрей Дмитриевич саркастически усмехнулся;

— Что, кроме вашей разведки, Владимир Соломонович, в русском языке слов нет?

И, зачеркнув выстраданный в боях с Омельченко Володин заголовок, написал; "Будущее шагает с нами". Вскоре вернулся из командировки Борис Гольдштейн. Он привез статью дважды Героя Социалистического Труда Алексея Улесова "Чем красив человек".

229

Улесова Борис знал давно, писал за него не впервые. Были в этой статье и ссылки на фадеевский "Разгром", и разговор о духовном облике советского рабочего и о его святой обязанности неустанно бороться с пережитками прошлого — пьянством, хулиганством и прочим.

Вслед за Борисом в редакции появился сам Улесов. Он оказался очень скромным на вид человеком, почти таким же стеснительным, как маленький Гольдштейн, который привез его в редакцию. Я дал Улесову статью. Он напялил очки и, закончив чтение, долго выводил в конце свою подпись: Алексей Улесов.

— Все правильно, так их и надо!

— Кого их? — переспросил я.

— Тунеядцев, пьянчужек, кого же еще? Верно говорю, Борис, или нет?

Позже я узнал, что Алексей Александрович — автор более пятидесяти статей и более десятка книг о коммунистическом воспитании. Одно из своих произведений он подарил лично Никите Сергеевичу Хрущеву и вскоре после этого был принят в Союз журналистов СССР.

Новый редактор от статьи Улесова был в восторге:

— Замечательная штука! Таких бы материалов нам побольше, и, главное, чувствуется русский рабочий. Молодец, Алексей Александрович!

У меня язык не повернулся омрачить настроение редактора, и я не стал говорить, как готовилась статья, в конце концов, это внутриотдельская кухня. Но когда журнал вышел в свет и Андрей Дмитриевич утверждал гонорарную разметку, он пригласил меня к себе и спросил:

— Виктор Борисович, а кто такой Гольдштейн?

Я ответил, что это старый наш автор и отличный журналист.

— А Лившиц? А Грузд?

Я объяснил, что это тоже журналисты, которых я привлек для организации статей рабочих.

— А что, наши рабочие обеднели на мысли, не могут обойтись без Гольдштейна и Лившица?

На том и кончился наш разговор, но пройдет еще время, прежде чем я пойму, что, в отличие от догматика и сухаря Омельченко, новый редактор, встреченный нами с таким восторгом, окажется отпетым антисемитом. Правда, уже не таким циничным, как Бутов и Ликовенков, не сталинского, а,

230

скорее, хрущевского типа — юдофобом-романтиком, чья квасная любовь к русскому народу и к русскому рабочему классу всегда сопровождалась неприязнью к евреям.

Незадолго до отъезда в Израиль я случайно оказался в Московском доме журналиста. Спустился, как бывало, в пивной бар. Взял кружку пива с черными присоленными сухариками. Сел за мраморный столик и тотчас оказался в прошлом, среди не смолкавших ни на минуту голосов: "Старик, только что столкнул четыреста строк. Устал, как лошадь!" Или: "Читал тебя, лапонька, в "Труде", отличную выдала штуку". Или: "Лечу завтра утром в Сибирь, за неделю должен выдать лист!"

Верил ли я в то, что писал? Честно говоря, я не слишком мучил себя этим вопросом. Сама постановка его была беспредметной, потому что у меня не было выбора.

К тому же с моим пятым пунктом не так-то просто было найти другую работу, да и что могла она дать. Так что, в чем-то Гриша Фрумкин был определенно прав. Я был всего-навсего скорняк, но с одной существенной оговоркой — скорняк поневоле.

Во мне как бы жили два человека. Как профессионал, поставленный в определенные условия, как система, работающая в заданном режиме, я не мог стать никем иным. Но я был еще и живой человек с определенными взглядами на жизнь. Я был еще и еврей с бродильными генами и неунывающим, веселым характером Менахем-Мендла. Вот так мы и сосуществовали в этом тандеме. Один не покладая рук работал, летал по стране, ходил на совещания в ВЦСПС и руководил ведущим отделом в журнале. Другой... Другой улыбался и все, что ни делал первый, считал суетой сует, мало чего стоящей рядом с этой иронией и улыбкой.

Мне кажется, что уже тогда во мне зрело новое отрицание, и эта ирония предвещала день, когда сидящий во мне критикан взбунтуется и я снова стану самим собой. Вспомнив о назначении журнала защищать человека, я вырвусь из мира призраков и напишу статью о реальной жизненной драме 20-летней Нади Харченко, доведенной ее грузинским окружением до попытки самоубийства. Об этой истории, едва не кончившейся для меня трагично, я еще буду писать, а пока о том, что ей предшествовало. А предшествовали ей обычные редакционные будни. Каждый, полагал я, добывает хлеб как умеет. Моей пашней был журнал "Советские профсоюзы".

231

Когда я оказывался в интеллектуальных компаниях и сообщал, где работаю, на лицах появлялись странные улыбки. Наверное, хлеб инженера или физика был более приятен, чем профсоюзного журналиста, информирующего читателя о том, чего нет в природе, — тем не менее, это был все-таки тоже хлеб и тоже труд. И поскольку я им обязан был заниматься, то старался найти в нем какие-то безусловные ценности. Такой ценностью стал мой отдел экономики, точнее, появившиеся в нем люди и царившая в нем обстановка.

Чем дальше, тем меньше вмешивался Андрей Дмитриевич в нашу жизнь. Не без влияния ВЦСПС он довольно скоро утратил свой романтизм и иллюзии, касающиеся журнала. И если еще недавно на полях статей профсоюзных работников писал: "Серятина, тошнит! Что за язык?", то теперь уже на полях многих очерков мы читали: "Пустые байки! Где профсоюзы, где опыт?"

Каждую свободную минуту Андрей Дмитриевич отдавал новому своему роману "Иначе жить нельзя".

В романе шла речь о трагедии молодого рабочего, оказавшегося из-за пристрастия к "зеленому змию" вне родного коллектива. Идею романа горячо поддерживал Кочетов, и Андрей Дмитриевич спешил к назначенному сроку сдать свое произведение. Благодаря этому он дал мне возможность все решать самому, даже подбирать кадры, следя лишь за их фамилиями, и взял двух выпускников журналистского факультета МГУ — Петрова и Родина. Петров, похожий на боксера-тяжеловеса с неизменной улыбкой и открытым русским лицом, сибиряк. Родин — замкнутый, сутуловатый москвич — впрочем, все это внешне, а внутренне оба имели то принципиальное сходство, что не были испорчены жизнью и к тому же оба любили и понимали юмор.



Мне было немногим более тридцати, но рядом с ними я чувствовал себя пожилым человеком и ловил себя на желании воспитать их в своем духе — в ироничном, лишенном ханжества духе человека, который хоть и умеет писать глубокие и аналитические статьи о соревновании, тем не менее, знает им цену, как и многому тому, чем вынужден заниматься в жизни.

В нашей комнате трудно было услышать фразу без юмора, мы одинаково любили шутку и одинаково ненавидели глупость и ханжество.

Позже Блинов говорил, что Перельман испортил хороших

232

ребят. Еще позже, перед уходом из журнала, он разоткровенничался с Петровым;

— Посмотри, Коля, на меня и на себя, — сказал он, — оба мы светлые, широкие, русские, а что ты нашел в этом Перельмане, хоть убей, не пойму!

По-видимому, писательское видение, о котором так любил говорить Андрей Дмитриевич, не помогало ему понять отношений, сложившихся между нами. С точки зрения Блинова, я, возможно, и выглядел человеком, отравляющим своим бродильным еврейским духом хороших честных ребят.

Но на самом-то деле их воспитывала сама действительность. Моя же роль была куда более скромной — я просто старался показывать им ее такой, какой она была. Я считал, что юмор и ирония были единственным способом видения жизни, о которой мы писали на страницах журнала, и потому хотел, чтобы они смотрели на эту жизнь не тусклым взором партийных ханжей и бюрократов, а иным, веселым и понимающим взглядом. Впрочем, этот юмор был тоже своего рода уходом от действительности. Она выдвигала свои реальные проблемы, она наступала на пятки, и не было в том гражданской смелости, чтобы, видя эту действительность и ее проблемы, тихонько потешаться над ней, не пытаясь ее изменить.

Подсознательно я это никогда не переставал чувствовать. И даже в годы, казалось бы, наибольшего своего успеха. Процветающий, великолепно зарабатывающий, имеющий в журнале все, что нужно человеку для благополучной жизни, я все же оставался решительно недовольным собой. Чем больше было благополучие, тем больше внутреннего, неосознанного чувства — что живу не так, как должен.

По-видимому, новое отрицание набирало силы, и сидящая во мне мина замедленного действия, как некогда в деле Великовского, снова

ждала своего часа. Но когда осенью 61 года я выехал в город Рустави проверять письмо некоей Харченко, пытавшейся покончить жизнь самоубийством, я меньше всего подозревал, что момент взрыва совсем уже близок. Так же, как я не почувствовал его приближения и второй раз, когда летом 67 года ушел в плавание в Северную Атлантику.

233

## СНОВА БУНТ

Письмо Нади Харченко застало меня в Тбилиси. Я занимался распространением журнала. Жил в отличной интуристовской гостинице "Сакартвело" и пребывал в самом что ни на есть безоблачном настроении. Письмо это было мне переслано из Москвы заведующим отделом писем и консультаций Комечем. Он извинился, что вторгается в мои планы, и просил, если выкрою время, выехать в Рустави и проверить письмо одной девицы, пытавшейся свести счеты с жизнью.

От Тбилиси до Рустави какой-нибудь час езды, и когда на следующее утро я сел в автобус, то к обеду уже рассчитывал быть обратно. Однако не вернулся ни к обеду, ни к ужину, ни на завтра. Просидел в Рустави безвылазно восемь дней, и когда летел обратно в Москву, то в голову уже ничто не лезло, кроме дела Харченко.

Под влиянием слов Комеча, а может быть, и собственного воображения, я ожидал встретить нервическую особу, и эта особа, полагал я, тут же насыдет на меня со своими истерическими жалобами и будет требовать, чтобы журнал немедленно вмешался. Подобная перспектива меня определенно не вдохновляла. Но Харченко оказалась лет девятнадцати девочкой, встретившей меня в больничном бумазейном халате. Была она очень общительна и спокойна и ни одной чертой своей не напоминала тот театральный персонаж, что засел в моей голове перед выездом в Рустави. (Позже я узнал, что и письмо-то писала не она, а ее тетка). Мы вышли на лестничную площадку, и она рассказала мне все, что произошло.

Это была, в сущности, обычная житейская история со всеми ее атрибутами, ранним замужеством и ранним разводом, происшедшим из-за того, что негде было жить. Присутствовал в ней даже несостоявшийся герой-любовник — Надин начальник Важа Шенгелая, допекавший ее бесконечными придиранками за ее неуступчивость. Необычной разве была сама Харченко, интуитивно понравившаяся мне с первой минуты. Была в ней какая-то внутренняя чистота без всякой игры, без всякой

назойливости. И все же, когда я выходил из больницы, я еще далеко не был уверен, что буду писать.

Все решила встреча с ее лечащим врачом Давидашвили. Я называю точно все фамилии, поскольку материалы дела до сих пор хранятся у меня.

234

Так вот я стал выяснять у Давидашвили, в каком состоянии доставили Харченко после ее попытки самоубийства.

— Какое самоубийство? О чем вы? — удивленно переспросила Давидашвили. — У нее просто заболевание желудка — гастрит с повышенной секрецией. И в подтверждение показала историю болезни Харченко, где действительно черным по белому был записан диагноз: "Обострение хронического гастрита".

— Но вы же не станете отрицать, что она выпила ацетон? — не отступал я. — У нее же была сорок температура.

— Слушайте, вы видели, как она пила ацетон? — с раздражением перебила меня Давидашвили. — Я тоже нет!

Это было уже свинство, варварство...

Из больницы я поехал в прокуратуру, откуда в день отравления приезжал к Наде следователь Джапаридзе.

— Отравление? — удивился он. — Кто вам сказал? Да она, если хотите, мне даже улыбалась.

Я испытывал, верно, то же, что и несколько лет назад, когда Тарасов показал мне составленную им справку по делу Великовского. И моя реакция была такой же, совсем не проистекающей из моих интересов: в деле Великовского — каяться и признавать ошибки, в деле Харченко — сделать вид, что ничего не произошло: гастрит, так гастрит, Харченко-то осталась жива. Какой-то внутренний голос мне подсказывал, чтобы я не связывался, что это Грузия, что я все равно ничего не добьюсь, а только наживу неприятности. Но уехать уже не мог.

Со следующего дня я приступил к методической проверке фактов. Напрасно в парткоме и завкоме Закавказского металлургического завода, где работала Харченко, меня пытались убедить, какой у них хороший коллектив. Стоит ли, чтобы из-за какой-то истерички пало пятно на все передовое предприятие? Но меня интересовали только факты. Я переговорил с десятками людей. Они рассказали, как профком центральной лаборатории, где Надя была лаборанткой, из года в год отказывал ей в жилье, как изо дня в день подводил ее к трагедии Шенгелая, как на глазах у подруг она выпила пузырек ацетона и потеряла сознание, а

работники скорой помощи по странной "рассеянности" забыли послать рвотную массу на судебно-химическую экспертизу.

Я вернулся в Москву и за одну ночь написал статью, вышедшую, впрочем, под довольно тривиальным заголовком "Люди с каменным сердцем".

235

Статья была напечатана в третьем номере журнала за 1961 год. Бой из-за нее разгорелся еще на редколлегии, когда обсуждался номер. Заведующий культмассовым отделом ВЦСПС Сиснев заявил, что материал слишком мрачен, что он даст оружие нашим врагам за рубежом.

— Не знаю, как вам это объяснить, но мне партийное чутье подсказывает, что мы должны воздержаться, — говорил Сиснев. Он так и сказал: "партийное чутье", и я хорошо запомнил эти слова: безошибочный классовый инстинкт, всегда объединяющий недругов моих материалов.

В статье моей была не просто злость фельетониста, возмущенного увиденной несправедливостью. Я обрушивался против громких слов и призрачных ценностей, прикрываясь которыми руководители завода пытались творить произвол. И оттого, что мне самому годами приходилось воскуривать фимиам этим псевдоистинам, оттого, что я слишком долго проходил мимо живых фактов жизни, — я, наверно, писал злее обычного.

Вскоре после выхода журнала пошли одобряющие письма читателей. Единственно, кто набравши в рот воды молчал, были власти Грузии.

Окольными путями до меня доходили слухи, что в Рустави работает комиссия грузинского ЦК КПСС. Члены комиссии вызывают Харченко и упорно пытаются установить, не являюсь ли я ее родственником и не получил ли от нее взятку.

Назревала борьба, и из нее журнал вряд ли выйдет победителем, если не заручится серьезной поддержкой. Таковую поддержку мог оказать только один человек, никого и ничего не боявшийся Аджубей, тогдашний редактор "Известий".

Через несколько дней в "Известиях" была опубликована колонка от коллективного корреспондента журнала "Советские профсоюзы", лаконично озаглавленная "Это случилось в Рустави" и задававшая вопрос — до каких же пор намерена молчать Грузия.

После выхода "Известий" я обрел спокойствие, полагая, что вряд ли кто-нибудь решится конфликтовать с зятем Хрущева. Но так же, как и позже, в "Литературной газете" (где я уповал на помощь друга Брежнева министра внутренних дел Щелокова), я недооценивал такого важного

фактора, как классовая самозащита партийной бюрократии.

На выступление "Известий" Грузия откликнулась тотчас

236

же — состоялось внеочередное заседание ЦК партии республики. Статья Перельмана "Люди с каменным сердцем" была подвергнута сокрушительному разгрому, а первый секретарь ЦК Мжаванадзе направил письмо в три адреса — первому секретарю ЦК КПСС Хрущеву, председателю ВЦСПС Гришину и главному редактору газеты "Известия" Аджубею.\*

Надо мной нависло новое дело Великовского, но грозившее куда более зловещим исходом. Наутро после заседания ЦК Грузии я отправился к Аджубею на прием.

Помощник обещал доложить о моем приходе, но в эту минуту Алексей Иванович уже в пальто вышел из кабинета сам и направился к лифту. Я последовал за ним, и мы вдвоем оказались в спускавшейся вниз кабине.

После 55 года, когда я видел Аджубея на вечере в ЦДРИ, он сильно располнел и обрюзг. Но он явно желал в моих глазах сохранить ореол демократа, которым наделила его молва. Он любезно подал мне руку и сообщил, что только что говорил по телефону с Мжаванадзе.

— Ну и что же? — спросил я.

— А! — махнул рукой Алексей Иванович. — Я ему прямо сказал: "Василий Павлович, я вас просто не понимаю!"

Лифт остановился, и вслед за Алексеем Ивановичем я вышел на улицу. О чем говорить дальше, не знал и зачем-то спросил у Аджубея, что делать с письмами, идущими в журнал.

— Может быть, принести вам в редакцию? — спросил я.

— Пожалуй! — рассеянно ответил Алексей Иванович и сел в черный ЗИМ.

Через несколько дней меня и Блинова вызвал к себе заведующий сектором профсоюзов ЦК партии Федотов.

Федотов начал разговор изысканно вежливо и даже по-дружески.

— Ну что, друзья, скажете? — перед ним лежало письмо Мжаванадзе на имя Хрущева. — И как вообще вы могли дойти до жизни такой? — кивнул он на письмо.

— На наш взгляд, мы правы, — неуверенно начал Блинов.

— Так-так... — саркастически улыбнулся Федотов, и его жесткие черты лица стали еще жестче, — вы правы, а Централь-



\* Известно, что с острой критикой "Известий" на заседании ЦК КП Грузии выступил Эдуард Шеварднадзе, который сказал прямо, что под угрозу поставлена сама дружба русского и грузинского народов.

237

ный Комитет партии Грузии и Василий Павлович Мжаванадзе ошибаются.

— Но у меня все факты по этому делу, — мягко возразил я.

— У него есть факты, слышали? — снова усмехнулся Федотов, на миг мне показалось, что само слово "факты" вызвало у него прилив раздражения. — Да у нас есть факты в сто раз похлеще ваших, и что отсюда следует? Вы член партии? — вдруг он испытующе посмотрел на меня и, услышав вопреки своим ожиданиям утвердительный ответ, сказал: — Не чувствуется, говорю вам прямо!

Я хотел еще что-то добавить, но он прервал меня:

— Есть факты и фактики, а есть политика партии. Или она для вас не существует, товарищ Перельман? — неожиданно вспомнил он мою фамилию.

На этом беседа закончилась. И аудиенция тоже. Все теперь зависело, какую позицию займет Виктор Васильевич Гришин.

Я часто наблюдал, как строг был Гришин к недостаткам в профсоюзной работе. Вряд ли ему придутся по душе порядки, царящие в Рустави. Да и что бы там ни говорили, а ведь защищать человека — это главное дело профсоюзов. Так или примерно так пытался я себя успокоить. Но дело тянулось уже полгода, а развязка все не наступала. На этот раз я переживал вместе с женой. Так получилось, что женился я в разгар событий, и именно в день свадьбы из Тбилиси позвонил наш сотрудник, находившийся там в командировке, и порадовал меня вестью о только что принятом решении ЦК партии Грузии.

— Даже здесь у тебя все не как у людей, — успела шепнуть мне мать, пока я говорил по телефону. — Исключат из партии, тогда будешь знать.

— Жених где? Жениха нет! — кричали из комнаты гости.

А я, глядя на это счастливое застолье и на свою будущую жену, не подозревавшую еще, что за счастье ей привалило, ругал себя последними словами за то, что ухитрился испортить такой день.

Из партии меня не исключили. С работы не сняли и даже не объявили выговора. Помогло стечение обстоятельств и еще, пожалуй, незыблемые законы аппаратной жизни. Что касается моих упований на председателя ВЦСПС, то вот как все было.

Грузинское дело решили обсуждать вместе с отчетом Блинова на

Новый редактор отчитывался впервые, он вышел на трибуну и, неуверенно переступая с ноги на ногу, сказал, что в такой ответственной аудитории он никогда не выступал и, если что будет нескладно, то он просит членов президиума и Виктора Васильевича не взыскать.

Члены президиума, как всегда, сидели за столом на сцене. Считалось, что каждое такое заседание — это школа для аппарата.

Виктор Васильевич сидел в центре, и, хотя слова Андрея Дмитриевича были встречены в зале одобрительными улыбками, на лице председателя не шевельнулся ни один мускул. Между тем Блинов подчеркнул, что свое важнейшее назначение журнал видит в активной пропаганде опыта профсоюзных организаций, рассказал о сделанном и закончил тем, что в работе журнала есть и недостатки. Об этом, в частности, свидетельствует руставская статья товарища Перельмана.

После Блинова слово взял зав. культмассовым отделом Сиснев и вспомнил все сказанное им когда-то на редколлегии.

— Мне, Виктор Васильевич, партийное чутье и подсказало, что мы идем не туда с этой статьей, — неожиданно повернулся он к Гришину.

Председатель откашлялся и, никак не выразив своего отношения к услышанному, наконец поднялся сам. Положив руки в карманы пиджака и чуть опустив голову — это была его любимая поза, — он не спеша прошелся вдоль сцены. Но начал не с журнала, а с крупных задач, которые предстоит решать профессиональным союзам.

— В свете этих задач, — говорил Виктор Васильевич, — журнал еще не нашел своего места в общенародной борьбе за семилетку и — что самое тревожное — позволяет себе печатать не только неправильные статьи — я абсолютно не согласен с вами, товарищ Блинов, вы, очевидно, плохо поняли, о чем речь. Речь о политически вредном выступлении, направленном против основы основ социалистического общества. По-видимому, редакция и автор статьи товарищ Перельман не отдают себе отчета в том, что значит дружба народов в современных условиях, а может быть, она им и не дорога — это еще надо посмотреть, товарищи.

Я уже понял, какую защиту получу от председателя ВЦСПС, а также понял, что отчет Блинова и все последующие выступления — это лишь увертюра к речи Виктора Васильевича Гришина.

Из зала я вышел совершенно разбитый. Гришин говорил около часа, но если бы меня попросили хотя бы примерно повторить сказанное, то я бы вряд ли мог это сделать. Единственное, что мне запомнилось, — это как председатель возмущался темой статьи. Неужели нашему журналу не о чем писать?

Неужели мало насущных проблем выдвигает соревнование? Неужели утратили свое значение ленинские принципы гласности соревнования? Или нас уже не волнует состояние общественного контроля и работа производственных совещаний?

Кажется, это было единственное место, где я едва сдержал улыбку. Круг замкнулся. Откуда ушел, туда и пришел: все к той же призрачной "aqua riga", возведенной на недосыгаемый пьедестал теперь уже самим председателем ВЦСПС.

Вопрос о персональной ответственности автора статьи был передан на рассмотрение секретариата ВЦСПС и, возможно, меня бы снова уволили, если бы накануне выхода статьи тот же секретариат не утвердил меня в должности редактора отдела экономики. Снимать меня после этого значило расписаться в неумении подбирать кадры. А это было уже слишком. Поэтому мое персональное дело было спущено на тормозах. Секретариат ВЦСПС поручил его рассмотреть партийному собранию редакции. Собрание мне строго указало на допущенную ошибку.

Так что в письме в ЦК КПСС Татьяна Николаевна могла сообщить, что автор статьи "Люди с каменным сердцем" привлечен к партийной ответственности. В общем, все кончилось благополучно. И жена, уже начавшая понимать, что за счастье к ней приплыло, чувствовала себя на седьмом небе. Стоял великолепный июль, и она строила планы, где и как мы проведем свой отпуск.

Наутро после собрания позвонила мать. Она, как всегда, была в курсе моих дел и считала своим долгом подвести итог грузинской истории.

— Так, значит, никакого взыскания? — шумно выражала она восторг в трубку. — И знаешь, что я тебе скажу, Блинов все-таки порядочный человек. Другой мог прямо утопить тебя. И Николаева тоже хорошо себя показала, правда?

— И Виктор Васильевич, — иронизировал я.

240

— А что, и Виктор Васильевич?\* Ну, знаешь, — у тебя с твоим характером все плохие. Всегда хочешь быть умнее всех, а оказываешься в дураках. Тебе уже 36-й год.

Я свернул разговор и положил трубку. Надо было прыгать от радости, а я ничего не ощущал, кроме усталости и безразличия.

"В чем-то, — думал я, — мать действительно права". То защищал еврея Великовского от русской Ивановой, то защищал русскую Харченко от грузина Шенгелая и в обоих случаях оказывался "дураком". Наше государство явно не нуждалось в таких еврейских правдоискателях. Казалось бы, я все это понимал. Оставалось только сделать выводы, и я начинал уже их делать.

Но так же, как у Менахем-Мендла, всякий раз появлялось что-то такое, что заражало меня новой идеей и мешало вернуться в тихую и благополучную Касриловку. И когда летом 67 года я отправился на рыболовецком судне в Северную Атлантику, то, очевидно, переживал нечто близкое тому, что ощущал Менахем-Мендл, перебираясь из Одессы в окрыливший его надеждами Егупец.

Менахем-Мендл писал из Егупца восторженные письма своей дорогой и благочестивой супруге Шейне-Шейндл, а я слал радиogramмы своей жене и дочери из Северной Атлантики: "Идем мимо Норд—Капа. Вышли в Северное море, шторм восемь баллов, подходим к острову Ньюфаундленд. Взяли курс на Банку Джорджес к берегам Америки".

Вопрос о моем плавании решался на секретариате ЦК КПСС, и секретариат вынес довольно странное решение. Мне разрешался выход в море, но... без захода в иностранные порты.

Самое замечательное, что это решение подписали почти все члены Политбюро: Сулов, Пospelов, Пономарев, Микоян... Политическое значение этого акта ни для кого не составляло сомнения. Но что значило это "без захода в иностранные порты" никто не понимал. Новый редактор журнала В.П. Никитин сказал: "Ах, ах, какое горе, поставишь капитану бутылку — и

---

\* Конец В.В.Гришина хорошо известен. С приходом к власти Горбачева он первым был снят с должности и выведен из состава Политбюро. По непроверенным данным, от этой черной неблагодарности В.В. даже всплакнул, в ответ на что новый генсек попытался его успокоить:

— Вам, Виктор Васильевич, надо не плакать, а радоваться. Ведь вас следовало отдать под суд, а мы вас только увольняем на пенсию.

вся проблема!" Но когда наша плавбаза приблизилась к Нью-Йорку, все

вдруг неожиданно осложнилось. Флагман М.П. Сойкес, с которым я завел разговор о прогулке в Нью-Йорк, окинул меня таким взглядом, что все дальнейшие вопросы оказались ненужными;

— Хочешь мне передачи в тюрьму носить, да? Этого хочешь? — И неожиданно улыбнувшись в густые усы, добавил: — А, может, напишешь товарищу Суслову? А? Может, они возьмут и передумают?

Уже в море я узнал, что на языке спецотделов полученная мной виза называется "виза №2", и рыбакам, отправляющимся на промысел, ее обычно оформляют портовые кадровики в течение двух-трех дней. Но в море я не хотел ни о чем вспоминать. Часами я мог стоять, припав лбом к иллюминатору, и наблюдать за темной бушующей стихией. "Люди бывают трех родов, — писал Анахарсис, — те, кто жив, те, кто мертв, и те, кто плавает в море". Мне казалось, что в море я увижу то, что никогда не смог бы увидеть на берегу.

Ночью я видел диатомовое цветение водорослей и в туманной дымке зарево огней Манхэттена. На Флемишкапе и большой ньюфаундлендской банке работал вместе с матросами в трюме. Мы перегружали на плавбазы двухпудовые ящики мерлузы и хека. Был в заливе Мен, на Браун Банке и даже в широтах, где промыслял меч-рыбу хемингуэевский старик — саляо.

Но чем больше я находился в море, тем сильнее было ощущение, что берег цепко держит меня в руках. Это звучит парадоксально, но именно в море я вдруг по-настоящему увидел берег. Нет, не оттого, что отдалился от суеты буден, как любят утверждать юные романисты, а оттого, что вся береговая жизнь с ее нелепыми законами была теперь перед глазами, на маленьком пятачке судна.

Возможно, не имей я позади Юридического института, 56 года, дела Великовского, не будь я много раз унижен этой жестокой и нелепой жизнью на берегу, меня мог бы ослепить ночной фитопланктон и дивные закаты на Банке Джорджес. И тогда, возможно, я не увидел бы этого суетного пятачка, этого оторвавшегося куска суши. Но позади была целая жизнь, научившая меня кое в чем разбираться, и на судне еще зримее, чем на берегу, предстало то, от чего я жаждал вырваться.

Позже жена говорила, что из плавания я вернулся боль-

242

ной и некоммуникабельный. К этому требуется уточнение: я вернулся с четырьмя общими тетрадами своих океанических дневников. Дома я, вероятно, был действительно невыносимым.



"Ничем не интересуешься, кроме своих бумажек, — говорила жена. — Как так можно жить?" А я сидел за столом и лихорадочно писал. Я чувствовал себя переполненным резервуаром, не могущим существовать, не отдавая внешнему миру содержимого.

Я писал по вечерам и воскресеньям, вместо того, чтобы уходить с семьей на лыжах, писал весь отпуск, уехав на полтора месяца в Дом творчества журналистов. Писал даже в рабочее время, забросив дела в отделе и вызывая недовольство редактора.

Не только домашние, но и некоторые из друзей говорили, что, вернувшись из плавания, я немного тронулся. Но если в моем поведении и было что-то, лишённое здравого смысла, то совсем не то, в чем меня обвиняли.

Шизофренической была беззаботность, проявляемая мной в отношении будущей рукописи, увидит она свет или не увидит — меня это совершенно не занимало. И только когда я кончил и перечитал написанное, то понял, что никогда и ни при каких обстоятельствах моя книга не будет издана.

И не потому, что она очерняла действительность, как позже мне писали из редакций, а потому, что она показывала ее такой, как она есть. А надо было кое-что добавить, кое-что из области, где я еще недавно себя чувствовал как рыба в воде.

### **...И СНОВА ИЛЛЮЗИИ**

Весной 1968 года в моей жизни свершилось чудо. Из малоизвестного ведомственного журнала "Советские профсоюзы" я перешел в "Литературную газету" на должность заведующего отделом информации. Казалось, сама судьба решила воздать мне должное и за годы, проведенные в стенах одного из самых скучных и непопулярных изданий, одарила меня работой, о которой мог мечтать любой из моих московских коллег.

К тому времени я уже разуверился, что в России может наступить свобода, и научился мечтать применительно к реаль-

ной жизни. Но и в мечтах я не мог отказаться от того, что считал в своей жизни главным, — от работы творческой, требующей полной самоотдачи и единственно способной принести удовлетворение. Если не творчество, а только ремесло или, скажем, только деньги, то ради чего тогда писать?

Отчего, например, не переквалифицироваться в снабженца или директора магазина? По крайней мере, честнее.

В "Литературную газету" я перешел за один день. Без отдела кадров, без проверки и даже без заполнения анкеты с ее неизменным "пятым пунктом". И это тоже выглядело как чудо. Утром, с трудом пробравшись сквозь ряды машин, стоявших у парадного "Литгазеты", я с едва теплившейся надеждой вошел в большой и шумный вестибюль. Вечером я выходил на улицу руководителем ведущего отдела самого популярного издания в стране. Вот уже более года эта газета издавалась на 16 полосах и завоевала симпатии сотен тысяч читателей. По средам, в день ее выхода, многие из них уже с утра караулили "Литатурку" у газетных киосков. Казалось, для нее не было запретных тем. И честно говоря, от одной мысли, что и я могу попасть в этот мир, у меня захватывало дух.

Заведующим отделом информации я стал по конкурсу. Для каждого, кто знаком с жизнью советских газет, это звучит фантастически. Но о "Литгазете" тех дней ходило много легенд. Говорили, например, что первый зам главного редактора Сырокомский устраивает планерки в лесу, подле своей дачи в Переделкино. Пекут на костре картошку и предлагают новые темы. Говорили, что первый зам, в прошлом помощник секретаря Московского горкома партии Егорычева, получил от ЦК карт-бланш — принимать в газету любого, кого посчитает нужным. И даже евреев. И в том же кафе Московского дома журналиста, где все это обсуждалось и комментировалось, я узнал, что "Литатурка" срочно ищет заведующего отделом информации. За полгода сменилось двое или трое заведующих, и сейчас Сырокомский будто объявил, что возьмет того, у кого в голове будут стоящие идеи.

Так вот, в один из тех дней я и решился заявиться к Сырокомскому. Плотный, короткорукий, он молча и испытующе смотрел на меня из-под линз очков, пока я рассказывал ему, кто я. А когда кончил, он возмущенно, точно я оскорбил в нем самое святое, пожал плечами:

— Но какое вы имеете отношение к литературе? Что вас

244

связывает с писательскими кругами? Да вы знаете, что ставите на карту жизнь? Представляете, если провалитесь? Какая у вас зарплата? 260? Лишитесь всего. А в том, что провалитесь, я уверен на девяносто девять процентов.

Я сидел, уставившись в одну точку, и чувствовал, как ладони становятся влажными.

— Ну, вот что, у нас демократия. Принесите ваши соображения, каким вы видите отдел информации. У меня уже тут лежит пачка макулатуры...

Прочитав на другой день мой проспект (этот другой день и стал для меня моим решающим), Сырокомский снова все так же зло посмотрел на меня и тем же прощупывающим меня голосом сказал:

— Сто восемьдесят!

— Что сто восемьдесят? — не понял я.

— Сто восемьдесят вместо двухсот шестидесяти!

— Согласен! — сказал я.

Через час меня принял главный редактор Александр Борисович Чаковский. Он сидел в громадном своем кабинете с сигарой в зубах и, когда мы с Сырокомским вошли, быстро приподнялся над письменным столом, и широко, будто я своим приходом доставил ему ни с чем не сравнимое удовольствие, улыбнулся. И в течение всего разговора не переставал дымить сигарой и улыбаться. Держался совершенно свободно, острил, словно специально задался целью покорить меня своей широтой и обаянием.

Пройдет неделя-другая, и я буду иметь счастье едва ли не каждый день встречаться с Чаковским. Тогда, мы, разумеется, лучше узнаем друг друга. Я еще не раз буду возвращаться к этой любопытной и безусловно не тривиальной фигуре, пользующейся огромным авторитетом в руководящих кругах партии. Но тогда, захваченный событиями, я не был расположен утруждать себя мыслями о том, что скрывается за этой нервно улыбающейся маской с сигарой в зубах.

— Мне говорили, что вы сознательно пошли на понижение зарплаты, — начал Чаковский, — это, как говорится, факт, который не может нас не радовать. Он свидетельствует о вашем глубоком интересе к газете...

Чаковский говорил низким, шепелявящим басом, и на его лице, подобно нервному тикю, то и дело появлялась гримаса. Оно словно бы ощеривалось, но благодаря сигаре тотчас же

245

снова обретало вполне интеллигентный, респектабельный облик.

— Ну, что я могу добавить — в добрый путь! Хотелось бы только, чтобы вы имели в виду, что литературная политика — дело чрезвычайно тонкое и щепетильное. Тут, как говорится, десять раз отмерь и один раз отрежь. И мерить надо точно, чуть не туда — и не оберешься, как говорится, на свою голову.

Больше, кажется, я ничего не услышал. Да и занимал меня не столько

смысл сказанного им, сколько тот факт, что, вчера еще неизвестный профсоюзный журналист, я вышел на переднюю линию литературы и журналистики. И теперь на равных беседовал с Александром Чаковским, сувереном советской идеологии, как его называли некоторые газеты на Западе, человеком, близким к Брежневу и Суслову.

Удивительна все-таки наша способность глядеть на мир и всякий раз в нем видеть то, что тебе хочется видеть, а вовсе не то, что существует на самом деле. В день моей первой встречи с Чаковским я уже много слышал, что представляет собой эта фигура. Но теперь попросту не хотелось об этом думать. Кое-что сомнительное появлялось и на страницах "Литгазеты", но я и это не хотел замечать.

И видел ее такой, какой хотел видеть. И, выйдя из кабинета Чаковского, я, как никогда ранее, вдруг почувствовал себя личностью, способной свободно решать свою судьбу. Да, я еврей, с типичной еврейской фамилией и в общем еврейской судьбой. Но если чувствуешь свое "я", если веришь в свою личность, то разве еврейство способно помешать тебе?

С тех пор прошло немало времени, и теперь у меня все чаще появляется потребность объяснить себе и другим противоречия моей жизни. Мне кажется, что эти противоречия в самой природе человеческой личности. Не случайно Л.Толстой всегда видел в человеке глубинное и поверхностное "я" и изображал двойную жизнь человека. С одной стороны, жизнь внешнюю, неподлинную, исполненную лжи и мишуры, и другую жизнь — внутреннюю, подлинную, в которой человек стоит перед первореальностями, перед глубиной жизни.

Придя в "Литературную газету", поднявшись на вершину своей журналистской карьеры, я на самом деле еще дальше шагнул в ту иллюзорную, исполненную лжи жизнь, когда человеку лишь кажется, что он обретает свободу. На самом же деле он находится в рабстве, хотя часто не замечает своего

246

рабства, а иногда даже любит его. Понадобились годы. Потребовалось постигнуть всю условность этой внешней жизни, чтобы в конце концов все же прийти к первореальностям.

И вспоминается мне уже другой весенний вечер семьдесят второго года, когда я так же, как тогда, выходил из "Литературной газеты". Все было так же — шум вечерних улиц, скопление машин у входа в редакцию, и так же над массивным шестиэтажным домом на Цветном бульваре, 30,

горела неоновая реклама.

В этот вечер за свое желание уехать в Израиль я был уволен с работы, исключен из партии, объявлен сионистом и антисоветчиком. И так же, как тогда я в один день все обрел, теперь я в один день все потерял, все, что у меня было, — положение, имя, карьеру. О, это была не радость, а скорее, горечь свободы; в тот вечер, когда меня изничтожали мои же товарищи, я вдруг понял, что оставаться в рабстве было легче, что свобода — это трудная вещь, но она — то единственное, ради чего стоит жить.

## САМАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ГАЗЕТА

Почти четыре года проработал я в "Литературной газете", но, сколько ни пытаюсь хотя бы приблизительно определить момент своего внутреннего перелома, мне не удастся это сделать. Вероятно, оттого, что такого момента в общепринятом временном понимании вообще не существовало. Все происходило исподволь — я приходил в редакцию, писал статьи и репортажи, участвовал в заседаниях редколлегии и планерках — так шла жизнь. И только теперь, препарируя эти будничные факты, я начинаю вспоминать детали и события, которые по-своему оставляли во мне след уже в первые дни моей работы в газете.

В чем-то эти дни были незабываемо прекрасны. Утром я с радостью просыпался и с радостью ждал каждого нового дня, потому что во мне жила надежда, точнее, много надежд и много иллюзий.

Отдел информации, куда в первый день меня привел ответственный секретарь газеты Горбунов, был расположен на четвертом этаже. Он занимал огромную длинную комнату, но в день моего прихода эта, подобная залу, уставленная столами комната пустовала. Бывший заведующий отделом Гурвич-

247

Ишимов был болен, одна их сотрудниц уже полгода находилась в декретном отпуске, всех прочих я должен был набрать сам — словом, эта пустая комната в моих глазах была подобна чистому листу бумаги. Все возможно и все открыто. Я мог принимать кого угодно и писать о чем угодно. Лишь бы это было свежо и интересно. Так, по крайней мере, сказал первый зам главного редактора Сырокомский, когда брал меня на работу.

И вот я сижу в огромной пустой комнате отдела информации. Широкие окна выходят на Садовое кольцо — этот самый центр Москвы. Город грохочет, гудит. Но я не слышу этого грохота. Меня вообще на свете



ничто не занимает. Я думаю над новой информационной полосой. Какую придумать шапку, чтобы было броско и интересно. Может быть, взять Маяковского: "Из реки по имени "факт"?"

Напротив отдела информации — кабинеты Чаковского и Сырокомского. Чуть правее сидят два других зама — Тертерян и Кривицкий, и я без конца слышу голоса секретарш, вызывающих сотрудников к начальству: того-то к Сыру, того-то — к Теру, а этого уже четыре раза спрашивал Чак.

Даже во сне невозможно было представить, чтобы главного редактора "Правды" Зимянина сотрудники называли каким-то "Зимом", а главного редактора "Известий" Толкунова — Толкуном. Это возможно было только в "Литературной газете", где я вдруг оказался в атмосфере, не знакомой ни одной из московских редакций.

В отсутствие Чаковского, который по полгода сидит на даче и пишет свою многотомную "Блокаду", всеми делами управляет Сырокомский. Он берет на работу, увольняет, председательствует на планерках и редколлегиях.

Тер ведет раздел внутренней жизни в газете. Он самый старый из всех замов, маленький, с седым бобриком волос. Говорят, что он и самый умный их всех замов, сумел пережить четырех главных редакторов, заплатив, впрочем, за это двумя или тремя инфарктами. Тер — остряк и циник, его замечания мгновенно превращаются в афоризмы и еще долго гуляют по редакции. Все они почти об одном и том же — какая драматическая участь постигнет любого из сотрудников, кто утратит осторожность и здравый смысл.

— Мой молодой друг, — произнес он однажды целый монолог перед одним из сотрудников, — если вы напечатаете эту

248

вещицу, то вам останется жить ровно столько, сколько потребуется машинистке, чтобы напечатать приказ о вашем увольнении!

Другой зам, Евгений Алексеевич Кривицкий, начисто лишен чувства юмора. Он — тугодум, и прежде чем сказать свое мнение о материале, долго сидит, уставившись в него неподвижным взглядом. Седой, голубоглазый, с юношеским почти лицом, он даже внешне — полная противоположность Теру, чем-то похожему на пучеглазого лягушонка.

В прошлом Евгений Алексеевич был редактором Волгоградской областной газеты, затем сотрудником отдела пропаганды ЦК КПСС и наконец замом Чаковского по литературе.

Самое удивительное качество Кривицкого было непревзойденное умение молчать. Молчать, когда с ним спорят сотрудники (делая, однако, все по-своему). Молчать, когда его изничтожает Чаковский. Впрочем, на официальных совещаниях Александр Борисович обычно знал меру и, улыбаясь, даже обращался за советами к Кривицкому:

— Ну, а что скажет Евгений Алексеевич? Он, как говорится, у нас комиссар.

Мой непосредственный начальник — ответственный секретарь газеты Валерий Аркадьевич Горбунов, в газете его зовут просто Валерий. Злые языки мне в первые же дни поведали, что никакой он не Горбунов, а Гиндельман, принявший фамилию жены и обретший благодаря этому возможность занять вполне респектабельную должность ответственного секретаря "Литературной газеты" и позже стать главным автором материалов о сидящих в Вене возвращенцах из Израиля и главным обличителем "земли обетованной", как он любил называть в своих репортажах Израиль.

Под Горбуновым и его замами находились отделы "Литературки", добрую половину которых возглавляли евреи. Это был один из самых загадочных феноменов, поразивших мое воображение, когда я пришел в "Литературную газету". В "Правде", "Труде", "Сельской жизни", да почти во всех центральных газетах, евреев можно было сосчитать по пальцам.

В "Литгазете" евреем был главный редактор Чаковский и ответственный секретарь Гиндельман, отдел экономики возглавлял еврей Павел Вельтман (он же Волин), отдел науки — еврей Ривин (он же Михайлов), отделом искусств руководил еврей Галантер (он же Галанов), даже самый крупный раздел русской литературы возглавлял еврей Миша Синельников.

249

Итак, лучшую в стране газету доверили делать евреям, и я не мог не радоваться этому чуду. Что значит этот загадочный филосемитизм?

Я хотел верить в лучшее, и если в редакции случалось что-то такое, что не соответствовало моим представлениям о "Литературке", я тут же пытался найти этому объяснение. То, что я попал в самую умную, самую демократичную и самую еврейскую газету в стране, в моих глазах искупало все.

**В "ЧЕРНОМ СПИСКЕ"**

Я размышлял, как перестроить отдел информации. О чем ему писать? Что должно стать для него главным? И я сам себе отвечал: "Главное — это, разумеется, писатель, но не чиновник от литературы, не функционер Союза писателей, а писатель как творческая личность, созидающая духовные ценности.

На первой полосе я решил рассказать о творческой лаборатории Семена Кирсанова, о Михаиле Светлове и Викторе Борисовиче Шкловском. И тотчас послал к Кирсанову и Шкловскому корреспондентов. К последнему поехал Давид Маркиш, он хорошо знал Шкловского и буквально на следующий день принес интересное интервью. Затем пришел репортаж о Кирсанове, его я сам доделывал и переписывал.

Почти каждый день я сидел до полуночи, правил, выдумывал заголовки и рубрики и меньше всего ожидал разговора, на который вызвал меня Сырокомский. Вначале я даже не понял, о чем речь. Он смотрел на меня все тем же прощупывающим взглядом из-под линз очков и неожиданно сказал:

— Виктор Борисович, вы коммунист и, я надеюсь, правильно поймете то, что я вам сейчас скажу. Так вот, возьмите лист бумаги и запишите фамилии писателей, чьи произведения не рекомендовано упоминать: Солженицын, Владимов, Антокольский, Сарнов, Войнович, Аксенов, Копелев, Ахмадулина, Конецкий...

И, перечислив фамилий тридцать, Сырокомский добавил:

— Вы, разумеется, понимаете, что это никакой не "черный список", как пытается трубить западная пропаганда. Просто эти лица подписывали письма в защиту Гинзбурга и Галанскова, и компетентные органы решили временно их не упоминать. Это первое. И второе. Как у вас дела с подбором людей? Вы заведующий отделом и, естественно, можете брать кого хоти-

250

те, но у меня к вам просьба. Берите кого хотите, — русских, азербайджанцев, киргизов, чукчей, эвенков. Но это должны быть люди коренных национальностей. Надеюсь, я ясно выражаюсь. Мы не можем превращать редакцию в рассадник антисемитизма.

Это был, кажется, первый разговор, который меня неприятно резанул, но я вспомнил последние слова Сырокомского, что редакцию нельзя превращать в рассадник антисемитизма, и подумал, что он в чем-то прав. Что касается "черного списка", то ведь сам Сырокомский сказал, что это

временно. К тому же, слава Богу, в этом списке не было ни Кирсанова, ни Светлова, ни Шкловского. Не откладывая в долгий ящик, я решил тотчас же отправиться к Кривицкому и выяснить судьбу первых моих материалов, которые уже несколько дней лежали у заместителя главного редактора. Когда я вошел и спросил, как дела с Кирсановым, он ничего не ответил. Сидел молча, уставившись в мой материал, будто пытался отыскать в нем нечто такое, чего в нем не было и не могло быть.

Это молчание продолжалось несколько минут, после чего Кривицкий, тщательно подбирая слова, сказал:

— Понимаете, Виктор Борисович, это сделано очень примитивно. Процесс писательского творения необыкновенно сложен. Ну, а что Семен Кирсанов? Сидит, смотрит в окно своего дома и пишет стихи. Упрощенно все это...

Я пытался возражать, и снова последовало долгое молчание, пока в кабинет к нему не зашел заместитель ответственного секретаря Чернецкий.

Леня Чернецкий был одной из самых колоритнейших фигур в редакции. Низенький, горбун и, несмотря на это, страстный обожатель женщин... Говорили, что он когда-то подавал большие надежды и даже окончил Литературный институт, но, в отличие от многих своих сверстников, так и не стал писателем, застряв в секретариате "Литературной газеты" и так же, как Тер, пережив многих ее редакторов.

Увидев Чернецкого, Евгений Алексеевич необыкновенно обрадовался, его каменное лицо оживилось:

— Леонид Герасимович, вот вы-то нам как раз и нужны. Вы читали репортаж о Кирсанове.

— Читал, Евгений Алексеевич.

— Ну, и что скажете?

— Откровенно? — улыбнулся Чернецкий.

— Разумеется, откровенно, — улыбнулся в ответ вдруг оживившийся Кривицкий.

251

— Если откровенно, материал мне не понравился. Город вдохновляет писателя. Экая невидаль. Сплошные трюизмы.

— Вот видите, Виктор Борисович, мы ведь с Леонидом Герасимовичем не стоваривались.

— Ну, а как Шкловский? — решил я уже испить чашу до конца.

— Что Шкловский? Шкловский — отличный писатель, — продолжал

улыбаться Чернецкий, ища ответной улыбки у заместителя главного редактора. — Только почему о Шкловском должен писать Маркиш, что, у нас нет других журналистов?

— Дело тут не в Маркише, — прервал его Кривицкий, — дело в линии, которую должен избрать новый отдел информации. Можно, конечно, все материалы делать о Кирсанове, Шкловском, Светлове. Но где будет у нас с вами литературная жизнь страны, встречи с читателями? Где, наконец, современные авторы? Возьмите Георгия Мокеевича Маркова или Кожевникова, или, наконец, Франца Таурина, да сколько у нас интересных писателей!

— Почему-то совершенно не хотим давать Грибачева, Первенцева, Бабаевского! — воспламенился вдруг Чернецкий.

— В общем, так, Леонид Герасимович, — примирительно закончил Кривицкий. — Прошу вас взять шефство над отделом информации. Помогите Виктору Борисовичу правильно подобрать писателей и авторов...

## ДЕБЮТ

Чернецкий пригласил меня в свой небольшой кабинет — такие кабинеты в газете были почти у всех, и над каждым висела табличка с фамилией, именем, отчеством. В этом своем кабинете Чернецкий выглядел уже совсем не так, как у Кривицкого. Он сидел, барственно развалившись в кресле, и даже горб в этой его позе не так выделялся.

— Ну что, мой друг, довольно витать в небесах. Пора браться за дело. Какая у вас рубрика ко всей полосе?

— Маяковский: "Из реки по имени "факт".

— Бросьте, мой друг, все эти горы и реки. Все гениальное просто. Почему бы не назвать полосу так: "Литературная жизнь страны"? Понятно каждому читателю и учитывается мнение редактората. Кстати, вы слышали, что группа писателей едет на теплоходе в Горький? Будут встречаться с рабо-

252

чим классом... По-моему, прекрасная и очень нужная тема. Пошлите Галю Долматовскую.

Галя Долматовская, дочь поэта Долматовского и приемная дочь секретаря Союза кинематографистов Караганова, была первой из сотрудниц, пришедших в новый отдел. Перед тем как она появилась, меня



вызвал Горбунов-Гиндельман и сказал:

— Я хотел тебя предупредить об одной неприятной штуке. Дело в том, что к тебе переводят Долматовскую. Она перебивала у нас во всех отделах и не могла нигде ужиться — страшная лентяйка и интриганка. Советую не брать. Разумеется, это между нами, я ничего тебе не говорил, и ты ничего не знаешь.

Но не брать Долматовскую я уже не мог. Когда через час я встретил ее у Сыра, все было предрешиено. Она сидела, закинув ногу на ногу, и, дымя в лицо Сыру длинной сигаретой, скандалила, заявляя, что никогда в жизни не будет работать в информации, поскольку является профессиональным кинокритиком. На всю эту истерическую шрапнель слов Сыр коротко ответил:

— Будете! Других мест у меня для вас нет!

Когда она вышла, он попросил меня на несколько секунд задержаться и сказал:

— Все знаю, но другого выхода нет, советую вам ее использовать на сто процентов. Нет, не в этом смысле, — вдруг расхохотался он, — в этом смысле там ничего нет, мне ребята говорили. Но у нее хорошие связи с писателями, понимаете, она хорошая добытчица.

— Говорят, с ней невозможно работать, — пытался возразить я.

— Говорят, что кур доят, — окинул меня хмурым взглядом Сырокомский. — Будет бездельничать — выкинем.

Всех писателей Долматовская называла только по имени. Маргариту Алигер — тетей Ритой, Василя Быкова — Васькой, Вознесенского — Андрюшей, Семена Шуртакова — Семкой. Из Горького она вернулась полная впечатлений и долго, с множеством сочных деталей живописала мне, кто напился в первый вечер, а кто не просыхал до самого конца. Она так живо и долго рассказывала, что я, грешным делом, стал надеяться, что и в материале появится хоть какая-то божья искра. Но была это обычная казенная статья, пустая и напыщенная, где через каждую строчку говорилось о святом долге писателя крепить свя-

253

зи с рабочим классом и вся поездка на теплоходе, где одни напились в первый день, а другие не просыхали до конца, должна была иллюстрировать плодотворность этих писательских связей с народом. Все, кто побывал на Горьковском ГАЗе и "Красном Сормове", теперь были полны творческих планов и задумок.

Так появился первый репортаж на моей новой полосе, о которой я

столько мечтал. Затем откуда-то сверху пришло интервью с драматургом Афанасием Салынским, который долго говорил о своих творческих командировках, показывая, как они помогают ему создавать все лучшее, что идет из его вещей на московских сценах. На подверстку шел материал Наума Мара — репортера №1. Он писал о грандиозной встрече писателей с моряками-черноморцами. И все это шло под бледно-голубой шапкой "Литературная жизнь страны".

Удрученный, я сидел за своим столом у окна и, перечитывая материал за материалом, не находил ничего, что бы могло задеть читателя. Напротив, забросив нога на ногу, Галя битый час болтала по телефону с каким-то Женечкой, кажется, это был Евтушенко. Неожиданно дверь отворилась и появилась короткопалая фигура Сырокомского. Лицо его сияло:

— Хочу поздравить отдел информации. Только что звонил секретарь Союза писателей Марков и похвалил полосу "Литературная жизнь страны". Советую так держать курс и дальше.

В буфете на шестом этаже все меня поздравляли с удачным стартом. Подошел Толя Рубинов, любимец Сырокомского, и сказал, что Сыр обо мне очень высокого мнения. На очередной летучке в четверг полоса была отмечена в числе лучших материалов.

И лишь сам я испытывал чувство двойственное. С одной стороны, радовался, что отдел мой признали и, следовательно, признали меня; с другой стороны — не совсем понимал, за что. Кое-что после летучки разъяснил мне писатель Евгений Сазонов из "Клуба 12 стульев". Сазонов был псевдоним, под которым печатался недавно перешедший из "Комсомолки" литсотрудник отдела юмора Резников. Внешне он был вылитая копия Швейка. Говорил заикаясь и любого из собеседников называл не иначе, как "товарищ".

— Поздравляю, товарищ, — широко улыбаясь, подошел он ко мне после летучки. — Интересуетесь, за что вас признали? А сами не догадываетесь, товарищ? Налицо правильный

254

подбор кадров, образцы которого нам показал наш старший товарищ Виталий Александрович Сырокомский.

Из объяснения Резникова я понял, что решающую роль в моем успехе сыграл отнюдь не мой организаторский талант, о котором говорили на летучке, а просто случай. Не далее как за месяц до моего прихода райком партии развернул кампанию против процветающей в районе текуности

кадров. В доклад секретаря райкома попала и "Литературка", которая меняла уже третьего заведующего отделом информации.

— Теперь, надеюсь, вам ясно, что вы и есть тот незаменимый товарищ, который нам нужен сейчас больше всего.

## ЛИТЕРАТУРНЫЙ РЕПОРТЕР

Но Сазонов был прав только частично, ибо в том, что новый отдел завоевал признание руководства, были и мои личные заслуги. С первых же дней я проявил "партийную зрелость", гибкость, не спорил с руководством, когда оно высказывало вполне здравые идеи о необходимости крепить связь писателей с жизнью. Руководство, разумеется, не могло подозревать, что тот, каким я предстал с первых дней, был совсем не я, а мой двойник, облик которого нередко заставляла меня принимать жизнь.

Но тот настоящий "я", тот вечно бунтующий Менахем-Мендл, который сидел во мне с рождения, обычно долго не выдерживал. Я много раз замечал в себе эту странность — что бунтовать я начинал не тогда, когда мне было плохо, а когда по всем нормам жизни я чего-то достигал и мог вполне почивать на лаврах.

Так было и в "Литературке". Получив признание и завоевав прочное место, я очень скоро после прихода в газету предложил создать новый отдел — "Литературный репортер".

Теперь даже внешне все выглядело иначе. Вместо серой и ни о чем не говорящей шапки "Литературная жизнь страны" в центре полосы появились две огромные буквы — "ЛР" — "Литературный репортер", так сказать, персонифицированный отдел информации, взявший на себя миссию рассказывать о писательском творчестве. "ЛР" — в гостях у писателя", "ЛР" ведет репортаж", "ЛР" берет интервью"...

После выхода полосы сияющий Сазонов встретил меня в коридоре и радостно пожал мне руку:

255

— Поздравляю от всей души, товарищ, теперь, кажется, что-то есть.

Мой непосредственный куратор Чернецкий предпочел дипломатически отмолчаться. Тогда я спросил:

— Ну, как?

Он, важно прижавшись горбом к спинке кресла, таинственно улыбнулся и сказал:

— Все суета сует, поживем — увидим.

Маленький Тер, встретив меня в коридоре, прошамкал губами и затем заметил:

— Ну как, мой молодой друг, дерзаем? Читал, читал... А Чаковский, кстати, видел?

Зам по литературе Евгений Алексеевич Кривицкий по обыкновению долго молчал, уставившись в полосу, словно решая сложнейшую математическую задачу, и наконец произнес:

— Честно говоря, этот ваш "ЛР" не вызывает у меня особого восхищения. То ли дело — "Литературная жизнь страны", — вдруг просветленно улыбнулся Евгений Алексеевич, — все ясно, главное ясно, чего хотим.

Я спорил с Кривицким, спорил со всеми, кто противился моей идее. И, как всегда, моя бескомпромиссность не знала границ. Если я до полуночи сидел в редакции, то был уверен, что и каждый в моем отделе должен сидеть до полуночи. Когда Сыр мне говорил — можете брать и увольнять кого сочтете нужным, то я и это принимал за чистую монету.

В свои тридцать девять лет я в чем-то сохранил легкое верие ребенка и довольно скоро начал за это расплачиваться.

Началось с Долматовской, которая и на самом деле оказалась редкой бездельницей и интриганкой. С утра она приходила в отдел, оставляла на столе сумку и исчезала до вечера. Но когда я пошел к Сыру, чтобы он убрал ее (как мне было обещано), он вместо этого послал меня к секретарю парторганизации Олегу Николаевичу Прудкову. Прудков, занимавший должность редактора иностранного отдела, встретил меня необыкновенно радушно, долго расспрашивал, как идут у меня дела, а когда я перешел к вопросу о Долматовской, то на его красивом, холеном лице появилась понимающая улыбка:

— Я с вами абсолютно согласен, Виктор Борисович, — сказал он слегка грассируя, — но ведь она еще очень молодая. Сколько ей лет? Уволить человека недолго, надо помочь ему. Так ведь, если мы хотим с вами придерживаться ленинских принципов работы с людьми.

256

— Но при чем тут ленинские принципы, если она бездельница?

Лишь на какое-то мгновение на лице его появилась тень недовольства, и тотчас оно обрело прежний, исполненный обаяния облик. Он нежно мне улыбнулся и сказал, что берется поговорить с Долматовской сам и что, как секретарь партийной организации, он просто иначе поступить не может.

Выслушивая этот монолог, я менее всего подозревал, в каких отношениях с Долматовской находится этот улыбающийся и изящно грациозный Прудков, в лице которого я, сам того не подозревая, обрел личного врага. Так было всегда в моей жизни — я довольно трудно сходился с людьми и куда быстрее обрастал недругами. В "Литературке" в их числе довольно скоро оказался горбун Чернецкий. Он называл меня не иначе как "дружище". Но это неизменное "дружище" сопровождалось резиновой улыбкой, говорившей о нашей психологической несовместимости. Мне казалось, что его раздражало во мне все и более всего мои бесконечные предложения и моя бьющая через край энергия. И маленького Тера во мне тоже что-то шокировало. Он всякий раз не упускал случая напомнить, откуда я пришел в "Литературную газету", упорно не желая запомнить названия моего бывшего журнала. Он называл его не "Советские профсоюзы", а "Профсоюзы СССР".

Уже вскоре после прихода в "Литературку" я заметил, что превыше всего здесь ценилась в людях интеллигентность. Об этом говорили и на летучках, и между собой. Наиболее уважаемыми считались сотрудники с интеллигентным стилем и интеллигентным подходом к теме. И, напротив, любое проявление неинтеллигентности предавалось остракизму. Но не так-то просто было понять, что за свод нравственных норм скрывался за этой постоянно возносимой в газете интеллигентностью.

На другой день после выхода в свет "Литературного репортера" мне было предложено представить Чернецкому список писателей, к которым "ЛР" намерен пойти в гости. В список этот, помню, вошли Твардовский, Паустовский, Симонов, Катаев, Леонид Леонов, Федор Абрамов.

Горбун прочел список и поименно начал разбирать представленных кандидатов.

— Значит, Твардовский, так-с, а знаете ли, дружище, что Твардовский вообще не изволит разговаривать с нашим Александром Борисовичем? Не принимает он нас, Паустовский?

257

Давайте старика оставим в покое. Ему спокойнее и нам спокойнее. Понимаете, нужны писатели действующие. Каверин? Только через труп Александра Борисовича. Слыхали о каверинском письме к Федину по поводу Солженицына? Нет? А зря! Самиздат надо читать. Называет он там Федина душителем русской литературы, а он, Вениамин Каверин, спаситель...

Симонова тоже выбрасываю, Чак с ним не контактирует. С



остальными идите к Евгению Алексеевичу, он все-таки зам по литературе, — заговорщически подмигнул мне горбун и вернул список.

От всего списка осталось трое — Леонид Леонов, Катаев и Федор Абрамов. Леонова Кривицкий тут же вычеркнул:

— Сложный старик, Виктор Борисович, подождем...

— Катаев, Катаев... — продолжал он мучительно размышлять вслух.

— "Белеет парус одинокий", — решил я помочь ему, — помните, Евгений Алексеевич, какая чудесная книга?

Вошел Тер и, перегнувшись через спину Кривицкого, молча заглянул в список:

— "Трава забвения"? Катаев? — выразительно продекламировал он название последнего катаевского романа.

— "Трава забвения", — мучительно морщил лоб Кривицкий и, вдруг улыбнувшись светлой мальчишеской улыбкой, решительно отложил список. — И с ним подождем! Верно, Артур Сергеевич? — взглянул он на Тера.

— Абсолютно! — прошамкал губами Тер. — Вы же знаете, Евгений Алексеевич, мою точку зрения. Вычеркнуть всегда лучше, чем вписать. От этого с инфарктом миокарда еще никто не слег.

А я был рад, что оставили хоть Абрамова. Федор Абрамов был новомирцем, настоящим крестьянским писателем, вечно странствующим по северной России и прогремевшим своим романом "Две зимы и три лета", в котором во всей красе показал сталинскую деревню.

Накануне выхода репортажа о Федоре Абрамове, находящемся проездом в Москве, его пригласили в редакцию, чтобы сделать фото. Фоторепортер Нисневич долго крутил перед юпитером его тощую кряжистую фигуру, заставлял то вставать, то садиться, пока наконец не нашел для него интеллектуальной позы за огромным письменным столом Чака. Снимок был так и назван: "Федор Абрамов за рабочим столом".

258

Перед уходом Абрамов подошел ко мне и, стеснительно улыбаясь, сказал:

— Знаете, мне про вашу газету такие страсти порассказали. Страшные, говорят, нравы. А я вот смотрю на вас, вроде порядочный человек. Я о чем хотел вас попросить — чтоб, не дай Бог, в мою речь не вписали чего. Вычеркнут — ладно, чужое впишут — беда...

Я вспомнил, что репортаж уже прочел Кривицкий, полоса была сверстана и, пожав на прощание Абрамову руку, сказал;

— Никакие у нас не страшные нравы, убедитесь завтра сами, когда прочтете о себе статью.

Но статьи о себе он так и не прочел. Когда наутро я вошел к Кривицкому и увидел висящую над его столом полосу, то ни репортажа, ни многострадального снимка "Федор Абрамов за рабочим столом" не нашел.

Возмущенный, я попытался выяснить, в чем дело. Но Евгений Алексеевич резко оборвал меня:

— Виктор Борисович, редколлегия знает что делает! Вошел горбун и, как-то боком ко мне приблизившись, негромко сказал:

— Беспольный спор, слышали, дружище, что Анатолий Кузнецов сбежал? Нет? А зря, западные радиостанции надо слушать. Теперь он у нас господин Анатолий...

— Но при чем тут Абрамов, какая связь?

— Все со всем связано, — загадочно улыбнулся горбун.

В тот день я себя чувствовал так, словно сам совершил нечто непорядочное и даже мерзкое. Я хотел тут же написать Абрамову, объяснить. Однако что я мог написать, разве только повторить за горбуном, что все со всем связано? Но ради этого не стоило тратить бумагу.

## НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ АССОЦИАЦИИ

В одной из своих статей Виктор Шкловский писал, что Булгарин не травил Пушкина, он просто давал ему руководящие указания. Партия и ее Центральный Комитет также давали писателям лишь руководящие указания. Каждые две недели Чаковский, а в его отсутствие Сырокомский отправлялись в ЦК на совещание руководителей идеологических учреждений

259

страны. С докладами и сообщениями на этих совещаниях обычно выступал секретарь ЦК по пропаганде Демичев или один из его замов.

Желая подчеркнуть особую миссию партии, считавшей себя не вправе оставлять писателей вне поля своего зрения, они часто ссылались на Ленина и его статью "Партийная организация и партийная литература" и не забывали даже упомянуть то место в статье, где Ленин прямо выступал против голого командования литературой со стороны партии. Но это не мешало им тут же давать прямые указания, кого издавать и кого не

издавать, что печатать и что не печатать, — более того, давать директивы, как писать, о чем писать, чтобы написанное и изданное соответствовало идеологической линии партии. Впрочем, "директивы" — возможно, не совсем то слово. На этих совещаниях обычно говорили: "ЦК партии советует", "ЦК партии рекомендует", чтобы даже внешне не создавалось впечатления, что партия, игнорируя ленинские указания, командует интеллигенцией. Но руководители идеологических учреждений великолепно знали, какие для них наступят последствия, если они позволят себе не прислушаться к этим товарищеским советам и рекомендациям. В официальной печати все это называлось "ленинской заботой партии о литературе и искусстве".

Более других эту "заботу" чувствовал на себе журнал "Новый мир", который к концу шестидесятых годов остался единственным оплотом русской либеральной мысли. Главный редактор журнала Александр Твардовский упорно не желал прислушиваться к советам товарищей из ЦК. Это вызывало все большее недовольство партийных аппаратчиков, и журналу приходилось претерпевать все более изощренные препоны цензуры. Цензура обязана была изымать здесь не только прямую крамолу. Контролю подлежало даже то, что не поддавалось прочтению. Политически вредным могло быть признано любое произведение, даже и не относящееся к жизни СССР (а например, о дореволюционной царской России или гитлеровской Германии), но которое, по мнению цензора, способно навести читателя на нежелательные мысли о режиме. В предписании цензуре было так и сказано — "устанавливать неуправляемые ассоциации", очерняющие в глазах читателя советскую действительность.

В отличие от "Нового мира" к "Литературной газете" ру-  
260

ководители ЦК относились в высшей степени благожелательно — курировал "Литературку" лично Суслов, и газета считала своим долгом оправдать доверие ЦК.

В этой обстановке я и входил в жизнь газеты, точнее ее литературных отделов, или, как говорили здесь, "первой тетрадки".

Ведущими в первой тетрадке были два отдела: русской литературы и литературы народов СССР. Первым, как я уже писал, руководил еврей Миша Синельников. Он был маленький, как гном, с мощным орлиным носом, и, кажется, ничего более несообразного в человеческом облике вообще нельзя было придумать.

У Миши было три главных предмета гордости — его русская жена, блондинка Алена, дочь полковника в отставке, его кот Степан, который, по Мишиным словам, был настоящим интеллектуалом. И, наконец, особый предмет Мишиной гордости — занимаемая им номенклатурная должность редактора отдела русской литературы. Эта должность давала Мише право иметь наравне с членами редколлегии большой кабинет и в своем подчинении 12 или 14 сотрудников. И каждому он, подобно Чаку, мог устроить разгон.

Но, как говорили злые языки, в глазах самого Чака наибольшим признанием пользовался не его талант администратора и даже не его способности литературного критика, а его непревзойденное умение писать реплики по поводу произведений, которые хотели срочно изничтожить в ЦК.

В ЦК громили прежде всего "Новый мир" и новомировцев, и Миша усердно выступал против таких, как Твардовский, Каверин, Василь Быков... Это была не очень чистая, но, по убеждению Миши, очень ответственная работа. Свое черное дело Миша делал по прямым указаниям отдела пропаганды ЦК и под непосредственным руководством Чака. Делал он его в большом секрете и, как правило, в последнюю ночь перед выходом газеты. Наутро появлялся в редакции невыспавшийся, с огромными синяками под глазами, но втайне гордый исполненной миссией, потому что никто в редакции не удостоивался чести писать под личным руководством Чаковского.

Единственно неприятные минуты ему доставляли объяснения с сотрудниками, в глазах которых Мишина деятельность "репликиста" не вызывала особого уважения. И он, кому только возможно, пытался объяснить, что он сам так бы никог-

261

да не написал и что последнюю фразу ему вообще вставили там, на Старой площади.

— Я думаю, умный человек поймет, — обычно заключал Миша, — что от меня тут вообще мало что зависело. Написал я, как нужно было "там".

Подвело Мишу все-таки его еврейство. Точнее, еврейство вкупе с его бонапартовским честолюбием. Подобно старику из пушкинской "Сказки о золотой рыбке", Миша, потеряв всякое чувство меры, стал настаивать, чтобы его сделали членом редколлегии. Впрочем, сам он никогда бы до подобной дерзости не дошел, если бы в один прекрасный день членом

редколлегии не сделали редактора отдела литератур народов СССР Ахияра Хакимова.

В отличие от Миши, писатель Ахияр Хакимов реплик не писал и вообще не писал ничего. Заслуга его была в другом. Он был единственный нацмен в газете, и его уникальная в условиях "Литературки" фамилия Ахияр Хакимов могла лишь украсить список членов редколлегии, публикуемый на последней странице.

После происшедшего Миша Синельников почувствовал себя настолько уязвленным, что тотчас пошел к Чаковскому и положил ему на стол заявление об уходе по собственному желанию. По словам Миши, с Чаком чуть не случился инфаркт. Но как потом рассказывали секретарши Александра Борисовича, последний воспринял Мишин демарш довольно спокойно. Он сказал для приличия:

— Михаил Хананович, право, я не знаю, газета вас очень ценит, — но особенно уговаривать Мишу не стал и в тот же вечер написал на заявлении Синельникова: "Согласен".

Потеряв свое высокое кресло, Миша утратил к себе всякий интерес сотрудников. Сам он переживал свой уход страшно, хотя и старался не показывать вида. Говорил, что все ему подстроил антисемит Кривицкий, боявшийся больше всего на свете его конкуренции, и что Алена ему уже давно говорила, чтобы он уходил на вольные хлеба. А мне почему-то было жаль Мишу — не было в редакции большего трудяги, а у Чаковского — более преданного сотрудника. Но оказалось достаточно нескольких минут, чтобы он оказался за бортом. Кажется, тогда впервые я задумался над нравами "Литгазеты", где так много говорили о демократии и так просто увольняли сотрудников. Человека вызывали к Сыру, и тот, прощупывая его из-под линз очков, тотчас переходил к делу. Не имело

262

никакого значения, что месяц-другой назад первый зам лично перевозносил этого сотрудника до небес, не имело значения, что он сам его брал на работу, — стиль беседы всегда был один и тот же.

— Что-то у нас с вами не очень клеится? — то ли вопрошал, то ли отвечал сам себе Сыр. — Скажу откровенно, редколлегия ждала от вас другого. Сколько времени вам нужно, чтобы найти место? Три недели — месяц хватит? Садитесь и пишите заявление...

Помню, как Миша обходил отдел за отделом и, забыв, что на уход напросился сам, всем без разбора жаловался на хамство руководителей редакции. И как заведующий отделом науки Володя Ривин пытался его



утешить:

— Что поделаешь, Михаил Хананович, все мы, как на судне во время шторма. Сегодня выбросило одного, завтра другого...

В чем-то в "Литературке" действительно царила демократия. На вечерах, например, все, от Чака до Сазонова, сидели за общим столом в кабинете Александра Борисовича и ухаживали за одними и теми же женщинами, и пили одну и ту же водку. В такие минуты всем все разрешалось и пьяный Сазонов мог хлопнуть по плечу самого Чака:

— Что-то, Александр Борисович, у нас с вами не клеится, во всяк-к-ком случае, редколлегия ждала от вас совсем другого.

Все хохотали, и Александр Борисович тоже смеялся — юмор Сазонова был в рамках дозволенного. О недозволенном предпочитали молчать. И только, когда Чаковский или его замы начинали зверствовать и, перестраховываясь, снимать материал за материалом, то эта сверхзапретная тема нет-нет да и выползала на свет Божий.

В отделе у Миши Синельникова был сотрудник, который досконально знал личную жизнь редактора и при случае никогда не отказывал себе в удовольствии позубоскалить по поводу того, чего бы мог лишиться Чак, если бы рискнул пропустить хорошую рецензию о ком-нибудь из новомирцев. Во-первых, кремлевки первой категории, дававшей право покупать продукты по ценам двадцатого или двадцать первого года (по данным этого сотрудника, они были в десять раз ниже существующих), во-вторых, двойного оклада перед отпуском, в-третьих, бесплатной путевки в санаторий ЦК или Совмина, в-четвертых, кремлевской больницы для себя и членов семьи, в-пя-

263

тых, бесплатной дачи в любое время года... Всего он так и не мог перечислить и заканчивал обычно анекдотом из приватной жизни Чака или Кривицкого и связанным все с той же магической "кремлевкой".

Кривицкий и его жена Нора, сотрудница Госкомитета по делам кинематографии, были бездетны, и Нора вечно стояла перед проблемой, что делать с продуктами, купленными в кремлевском распределителе. Уступать соседям по даче в Переделкино она стеснялась. Поэтому, чтобы их реализовать, ей всякий раз приходилось предпринимать сложные комбинации, о которых сотрудник из отдела Миши Синельникова знал в деталях.

Что касается жены Чака, то с ней, по его сведениям, случались неприятности иного свойства. По каким-то причинам (каким точно никто

не знал) ей иногда приходилось питаться в "городе", в связи с чем она раз или два отравилась. О каждом из этих случаев наш Зорге был также великолепно осведомлен и с вдохновением живописал, как бедняжка мучилась от того, что поела "городской колбасы". По его подсчетам, заработок Чаковского в четырнадцать раз превышал зарплату рядовых сотрудников.

Обычно "Литературная газета" выходила по средам. Но это для читателей. Фактически номер подписывался в понедельник ночью, и со вторника для редакции начиналась новая неделя. Во вторник в час дня проходила планерка, на которой председательствовал Чаковский, а если он отсутствовал (что случалось чаще всего), то всем руководил Сыр.

На планерке обычно говорили о последнем номере, как он шел, какой из отделов его задержал. Срывался он чаще всего из-за того, что в последнюю минуту звонил Чак или кто-нибудь из ЦК и требовал что-то вставить или что-то выбросить, но об этом на планерке говорить не полагалось и виновных искали в самой редакции.

В бытность Миши Синельникова Александр Борисович обычно начинал с него. Каждый раз выяснялось, что реплику Миша давал с опозданием и именно из-за него задерживался номер.

— Михаил Хананович, так работать нельзя! — раздувал в волнении сигару Чак. — Вы когда получили мои последние замечания? В десять тридцать? А когда сдали материал? Пять минут двенадцатого! На две фразы тридцать пять минут!

264

— Нет, там было не две фразы, Александр Борисович, — пытался объяснить Миша, не решаясь напомнить Чаку, как все было на самом деле.

— Ну так три! Сколько вам надо на три? Час, два? — переходил на крик Чак. — Это же безрукость.

— Виноват, — соглашался Миша, понимая бесполезность дальнейшего спора, — к следующему номеру примем меры. — Но никаких мер Миша не принимал и принять не мог, и в следующий вторник все начиналось сначала.

Когда Синельников ушел, то всем стало доставаться поровну, исключая отдел информации, он был виноват всегда и во всем. И к тому же на него чаще всего шли жалобы.

Существовал целый свод неписаных правил, как надлежало писать о самих писателях. Упомянуть их надо было строго по алфавиту, независимо от заслуг каждого. Если кто-то имел звание, то обязательно со

званием — скажем. Герой Социалистического Труда такой-то или Герой Советского Союза такой-то. Если давался портрет одного, то рядом полагалось помещать портреты остальных. Если пропускали чей-то юбилей, то грозил скандал. Если не давали некролог о смерти, то грозил еще больший скандал.

Особую ответственность отдел нес за освещение литературной жизни национальных республик. Вообще для этого существовала целая сеть собственных корреспондентов, но, поскольку почти никто из них не умел писать, заведующий корсетью Константин Багратович Серебряков всякий раз спешил во всем обвинить "Литературного репортера". Серебряков был армянин, говорил с резко выраженным сталинским акцентом и свою миссию видел в том, чтобы стоять на страже ленинской национальной политики.

— Александр Борисович, Виталий Александрович, — обращался он одновременно и к Чаку, и к Сыру, — я хочу спросить наш отдел информации, когда наконец они дадут материал нашего грузинского корреспондента Елигулашвили о встрече грузинских писателей с товарищем Мжаванадзе? Первый секретарь ЦК Грузинской республики лично принимает писателей, а мы это воспринимаем с холодным сердцем. Еще хочу сказать о материале Калантара из Еревана — о встрече молодых, — лежит, Александр Борисович. И из Эстонии лежит...

Чак согласно мотал головой, я пытался что-то сказать о качестве материалов.

265

— А вы на что! — взрывался Серебряков. — Если недостаточное качество, помогите товарищам. Это, товарищ Перельман, вам не Москва! Это национальные республики!

Речь Серебрякова не очень занимала Александра Борисовича, но, как только он слышал фамилию Мжаванадзе, или Ахундова, или еще кого-то из секретарей ЦК, лицо его становилось жестким и непримиримым.

— Черт знает что! — возмущался он, — просто какая-то политическая тупость.

## ЛИМИТ НА ПАСТЕРНАКА

День за днем я убеждался в печальной истине: все подлинное, что было в русской литературе, не имело отношения к "Литературной газете". Она жила своей жизнью, а настоящие писатели — своей. И "Литературная

газета" не замечала ни их самих, ни их творчества. Разве только "репликист" Миша Синельников время от времени напоминал читателю, что есть еще такие писатели, как Каверин, Антокольский, что есть журнал "Новый мир" и его главный редактор Твардовский, допускающие, впрочем, одну за другой идеологические ошибки.

Других не упоминали вообще, ими занимались непосредственно на Старой площади, в отделе пропаганды ЦК. К таким неупоминаемым ни печатно, ни устно относился прежде всего Александр Исаевич Солженицын.

За четыре года моей работы в "Литературной газете" он так и не переступил ни разу ее порога. Зато шли о нем всякие измышления, что сотрудничал он с власовцами, что был в немецком плену, за что и был справедливо осужден советским судом. Старый прием партийных аппаратчиков: когда невозможно было расправиться с кем-то открыто, пускалась в ход клевета.

Но оклеветанный, не допускаемый ни к одному издательству и не имеющий даже права жительства в Москве, Солженицын даже своим молчанием наводил страх на чиновников от литературы. И в "Литгазете" этот страх ощущался больше, чем где бы то ни было.

Был в нашей редакции свой собственный цензор, чью фамилию я запомнил, но имя почему-то запомнил — Жора, совсем еще юный белобрысый бородач, остряк и циник, — тип, довольно редко встречавшийся среди тупоголовых чиновни-

266

ков Главлита. Но Жора был все-таки цензором "Литературки", и потому мог себе позволить быть не таким, как все. По характеру Жора был демократ, свой парень, вечно торчал в отделе информации и резался в шахматы с нашим спецкором Гурвичем. И только в некоторые дни Жора, подобно солдату, вызванному на призывной пункт, преображался и становился тем неприступным политредактором Главлита, каким ему и подобало быть по должности. Один из таких дней случился вскоре после моего прихода в газету. Уже к вечеру пришла секретарша Горбунова-Гиндельмана и сказала, что нам с Гурвичем велено домой не уходить, мне — как заведующему отделом информации, Гурвичу — как дежурному по отделу. Вскоре стало известно, что такое же распоряжение дано редактору отдела русской литературы Синельникову и одновременно всему бюро проверки — сидеть и ждать. Ожидается появление чрезвычайно ответственного материала. Лишь в 10 или 11 вечера стало известно, что

материал наконец прибыл. С нарочным. Откуда — не спрашивали; раз с нарочным — значит, из ЦК. Но и после этого его еще час, наверное, держали в секрете. Пока из типографии не пришли гранки. Гранки решили передать на вычитку лично Синельникову. Всех остальных отпустили, И уже перед самым уходом техред Анна Ивановна под строжайшим секретом успела шепнуть мне;

— Материал о Солженицыне, только, ради Бога, не выдавайте меня!

В вестибюле я встретил Жору, он окинул меня неприступным, многозначительным взглядом, словно хотел сказать; "Бывают, мой друг, минуты, когда не дано права шутить".

Назавтра в "Литературной газете" была опубликована печально знаменитая статья "Идейная борьба и ответственность писателя", положившая начало открытой травле Солженицына. И впоследствии всегда было так; статьи о Солженицыне приходили тайно, никем не подписанные, и, минуя сотрудников, шли в печать. Впрочем, случалось, что в "Литгазету" попадали письма самого Солженицына. Заведующий отделом писем Залман Эфраимович Румер их тут же препровождал в КГБ, но тексты их еще долго ходили по редакции. Помню, как на следующий день после исключения Солженицына из Союза писателей меня зазвал к себе один из сотрудников (тот самый, что был "свежей головой", когда материал о Солженицыне шел в печать) и наизусть прочел открытое письмо Солже-

267

ницына секретариату Союза писателей РСФСР: "... Слепые поводыри слепых! Вы даже не замечаете, что бредете в сторону, противоположную той, которую объявили..."

— Здорово, а? Без дураков! — не уставал он повторять и читал дальше...

"В эту кризисную пору нашему тяжело больному обществу вы не способны предложить ничего конструктивного, ничего доброго, а только свою ненависть — бдительность, а только "держат и не пущать!"

В "Литгазете" это давно стало обычным явлением. Думали иначе, чем писали. Это раздвоение личности когда-то великолепно подметил Александр Яшин в своем рассказе "Рычаги". Но там, в яшинском рассказе, в качестве "рычагов партии" выступали полуграмотные колхозники, а здесь, в "Литературной газете", были люди интеллигентные, понимающие всю ложь окружающей их жизни.

Однажды после тяжелой недели мы ехали в редакционном автобусе на



нашу литгазетовскую дачу в Шереметьево. Дорога шла по живописному Подмосковию, все вокруг цвело, и мой сосед, один из старейших сотрудников "Литературки"\* , сказал:

— Если бы ты только знал, как осточертела эта ложь, все эти потемкинские деревни, все эти новаторы и парторги. Когда это кончится? Ты еще, может быть, увидишь небо в алмазах, а мне уже шестьдесят третий год, я уже ничего не увижу...

Через месяц или два он получил премию от редколлегии за очередной свой очерк о передовиках "Уралмаша".\*

Сколько раз я наблюдал, как правда и ложь — эти извечные антиподы человеческой души — великолепно уживались в характерах встречаемых мной людей — и тех, кто был мне симпатичен, и тех, кого я глубоко презирал.

Как-то наши юмористы из "Клуба 12 стульев" устроили в кабинете Чаковского вечер и пригласили на него популярного певца Владимира Ножкина. Ножкин был в ударе. В интимном окружении журналистов "Литературки" он одну за другой исполнял самиздатовские песни, аккомпанируя себе на гитаре. Пел о нищем солдате, отдавшем жизнь за великого Сталина, о "товарищ Парамоновой из ВЦСПС", о бесконечно присылаемых сверху начальниках. И никого не волнует, что один — жулик, другой — взяточник, третий — просто подлец... "И нам

---

\* Моим соседом по литгазетовской даче был пожилой уж в те годы фотокорреспондент Александр Узлян. Вскоре после меня он ушел из "Литгазеты" и эмигрировал в Канаду, где несколько лет тому назад умер. В.П.

268

нового начальника прислали... — шел после каждого куплета припев...

Все смеялись и аплодировали. И сидящие ближе всех к Ножкину Чак и Сыр тоже смеялись. Чак бесшумно, не выпуская изо рта сигару. Сыр во всю грудь, покатываясь от смеха на стуле. И старая лиса Тер аплодировал и плотоядно при этом хохотал, стараясь не отставать в выражении удовольствия от главного редактора и его первого зама.

То была правда, горькая и смешная, — не для народа — для них, для узкого круга. Они знали ее и делали все, чтобы она не дошла до читателя. И делали даже большее, о чем еще речь впереди.

Думаю, что в душе они понимали, что Солженицын — великий писатель и несет в своих книгах правду о России. Но, как любил говорить

Чаковский, правда — понятие партийное, и солженицынская правда могла принести только вред.

Солженицын был живым. Но газета испытывала страх и перед мертвыми. И всякий раз циник Жора, который почему-то считал, что следить за мертвыми — его первейшая задача (может быть потому, что за живыми следил лично Чаковский), не упускал случая сострить по поводу комичности ситуации.

Был случай, когда "Литературному репортеру" разрешили взять интервью у Андрея Вознесенского. По каким-то неизвестным причинам ЦК решил сделать великодушный жест в сторону "молодых". Интервью Вознесенский закончил четверостишьем Пастернака, но на всякий случай решил не упоминать фамилию автора. Он просто написал: "Как сказал поэт..." — и далее шли стихи. Уже после того, как интервью подписал Кривицкий, и мы от души поздравили Андрея, — материал действительно был блестящим, — вошел сияющий Жора и сказал, что он имеет нам кое-что сообщить насчет стихов:

— Вычеркнуть, друзья, и немедленно!

— Но отчего? — недоумевал Гурвич.

— Отчего? — обворожительно улыбался Жора. — Оттого, что лимит на Пастернака у нас уже давно кончился.

Я смотрел на сияющее Жорино лицо — он никак не мог нарадоваться собственному остроумию — и про себя думал, что, в сущности, более меткого словца тут и не подберешь. Лимиты... Они выползали на свет Божий тотчас же, как я пытался приоткрыть щель для чего-то истинно талантливого: в годовщину Бабеля ему уделили два маленьких пятидесятистрочных

269

столбца. По-видимому, еврей Бабель, подаривший миру еврея Беню Крика, по разумению официального еврея Чаковского, большего и не заслуживал. Были негласные лимиты на Багрицкого, на Светлова, а когда хотели опубликовать что-нибудь об Эренбурге, то всякий раз звонили в ЦК, чтобы посоветоваться. Впрочем, были и внелимитные литераторы — главные персонажи "человеческой комедии", ежедневно разыгрывавшейся на моих глазах. В этой "человеческой комедии" я был не просто зрителем, а почти участником Я бы даже сказал, участником, если бы не решил раз и навсегда покинуть эту сцену.

## КОМЕДИАНТЫ

Так уж повелось, что в отдел информации заходили все — и признанные, и непризнанные — кто по пути к Чаковскому, кто узнать, когда у него будут брать интервью, кто просто, чтобы дать информацию о каком-нибудь собрании в Союзе писателей. То были мгновенные встречи и затянувшиеся разговоры, но всех я их видел без выразительных поз и громких фраз, сопутствовавших им на трибуне. В своей родной "Литературке" они могли себе позволить оставаться самими собой.

Однажды в отдел зашел седой длинноногий человек с живым и простодушным лицом, чем-то похожий на нашего Сазонова из "Клуба 12 стульев", но гораздо более представительный и импозантный, чем Сазонов. Я сразу в нем узнал Сергея Михалкова, недавно удостоенного Ленинской премии за цикл стихов о дяде Степе и избранного председателем правления Московской писательской организации.

Он подал мне руку и, сильно заикаясь, (он и заикался, как наш Сазонов), сказал, что принес для нашего отдела интересный материал — свой писательский дневник за неделю — что делал, как работал, с кем встречался. Он так и озаглавил его "Неделя писателя" и просил меня тут же прочитать.

Пока я читал, позвонил Сырокомский и сказал:

— Виктор Борисович, сейчас к вам придет Михалков, надеюсь, вам не надо говорить о необходимости внимательно отнестись к его материалу. Живой писательский дневник, не так часто мы это имеем...

Но в дневнике Михалкова почти ничего не было о том, как он пишет, зато было очень много о его творческих планах, осуществить которые ему мешала занятость общественной

270

работой. То принимал друзей из ГДР, то, наоборот, друзья из ГДР приглашали его к себе. То заседание в Моссовете, то прием в Кремле. В материале было все, что должно было показать беспокойную и кипучую жизнь писателя и общественного деятеля. Было здесь даже место, когда Сергей Владимирович, несмотря на свою страшную занятость, помог одной из сотрудниц сатирического киножурнала "Фитиль" (где он был главным редактором) обменять комнату на отдельную квартиру. Когда я дошел до этого места, Михалков не выдержал и спросил:

— Ну, к-к-как, крутимся, ч-ч-черт подери?

И тут же спросил:

— К-к-когда пойдет?

Я сказал, что в этот номер можем не успеть. На простодушном лице Михалкова появилась обиженная гримаса:

— Надо успеть, ч-ч-черт подери!

(Вскоре я узнал, почему так спешил Михалков, — приближался отчет правления московской писательской организации.) И материал, конечно, дать успели.

Сергей Владимирович лично следил за его прохождением, без конца приходил в отдел, интересовался, не сократили ли чего, и всякий раз что-нибудь из отдела уносил. Слухи о патологической жадности Михалкова уже давно ходили по Москве. Рассказывали даже анекдот, что во время войны, еще в бытность Сталина, он ухитрился во время обеда в Кремле припрятать в портфель жареную курицу, но, замеченный бдительными сталинскими стражами, курицу вернул. Однако не растерялся и тотчас объяснил, что "сувенир" этот хотел взять исключительно в память о встрече с товарищем Сталиным.

Из отдела в первый раз он унес новенький календарь, который хозчасть только что раздала сотрудникам, затем еще что-то. В последний свой приход увидел на моем столе бутылку конторского клея. Простодушно улыбнулся и сказал:

— Смотрите, ребятки, к-к-клей, и какой чудесный, мне как раз надо клеить доклад!

И тотчас стал засовывать бутылку в портфель. Кто-то из нас не выдержал и сказал:

— А зачем он вам? Попросите секретаршу, пусть купит.

— Секретарши все лентяйки, не допросишься! — ничуть не смутился Сергей Владимирович и, застегнув портфель, стал нежно прощаться.

271

Даже парторг МГК КПСС Московской писательской организации, бывший генерал КГБ, Аркадий Васильев не обошел своим вниманием отдел информации. На собраниях в Центральном доме литераторов он громил так называемых "подписантов" — тех, кто осмелился поднять голос в защиту Гинзбурга и Галанскова. Во время чехословацких событий он первым от имени советских писателей приветствовал вторжение советских войск в Чехословакию.

В отдел информации он пришел по чисто личному вопросу с дочуркой Груней, как он сам представил худенькое дистрофичное существо, сопровождавшее его. Вошел он бочком, чуть косолапя и в обычной своей манере пересыпая речь бесконечными прибаутками, и никак не

разобраться было — шутит он или говорит серьезно:

— Вот привел литературное пополнение — Груня Васильева. Изъявляет желание выехать с группой писателей в Орехово-Зуево, на встречу с рабочим классом. Решила идти по отцовским стопам. Трудную, говорю, дочка выбрала дорогу. Все равно свое — пойду на факультет журналистики.

Из этих словесных кренделей Аркадия Васильева вообще трудно было что-то понять, но помог Сырокомский. Он вызвал меня и, по обыкновению не стесняясь в выражениях, сказал, что эту писюху Груню Васильеву придется послать в командировку за счет "Литгазеты". Раз у папы не хватило тридцатки... (надо отдать должное Сыру, иногда он позволял себе быть искренним).

Вскоре на моем столе появился репортаж Груни Васильевой "Всегда с массами". Будь моя воля, я бы не поместил его даже в многотиражку "За рулем автомобиля", в которой я когда-то работал. Но, по указанию того же Сыра, в "Литгазете" репортажу Груни Васильевой была дана зеленая улица.

Так вот все они проходили передо мной чередой — не в парадных костюмах, в домашних халатах — вышедшие из-за кулис комедианты, которых официальная печать называла писателями-ленинцами. Были среди них и некогда талантливые. Но за мишурную славу, за сделки с совестью приходилось дорого расплачиваться — не гонораром, не жизненным благополучием, которого у них было более чем достаточно, а душевной деформацией, невидимыми и необратимыми изменениями, которые исподволь, год от года превращали их в увенчанных славой творческих импотентов.

272

Когда умер Константин Паустовский, в "Литгазете" долго думали, кому писать некролог, пока наконец не решили обратиться к председателю правления Союза писателей СССР Константину Александровичу Федину. Никто не задумался, какая в том была издевка, что Федин, затравивший некогда Пастернака, запретивший печатать солженицынский "Раковый корпус", теперь должен был сказать последнее слово об одном из самых честных и талантливых русских писателей. О Паустовском Федину сказать было явно нечего. И он написал, что тот очень любил русскую природу и обожал рыбную ловлю, и заключался великий символ в том, что он ушел из жизни в "День рыбака".

Такого не мог пропустить даже Чаковский. Федина стали убеждать,



что, мягко говоря, не этично упоминать имя Паустовского рядом с профсоюзным праздником "День рыбака". Но семидесятипятилетний Федин был неумолим. Он говорил, что связь Паустовского с "Днем рыбака" — это его личная и превосходная находка, подчеркивающая связь Паустовского с людьми труда.

Выход нашли самый неожиданный. На дачу к Федину послали подругу его юности, пенсионерку Веру Николаевну Голубеву, пришедшую в "Литературку" поработать на два месяца. В редакцию Вера Николаевна пришла поздно вечером и, что называется, на коне. Фразу насчет "Дня рыбака" Константин Александрович вычеркнул, но, как не без гордости поведала нам Голубева, сказал:

— Делаю это, Верочка, только ради тебя...

## **ПРАВДА И ЛОЖЬ "ЛИТЕРАТУРКИ"**

На партийных бюро все чаще критиковали отдел информации за то, что он уходит в сторону от главного и совершенно не освещает творчества писателей, пишущих о нашем современнике. В качестве доказательства приводилось непошедшее интервью с Федором Абрамовым, который, хотя и пишет о деревне, но далек от подлинных устремлений тружеников села.

Более всех неистовствовал на партийных бюро зав корсетью Серебряков. Он обвинял меня в искривлении ленинской национальной политики.

Надо мной явно сгущались тучи, но до конца я не понял

273

этого даже на редколлегии, собравшейся обсудить работу отдела информации. Мне первому предоставили слово, и я сказал, что так дальше работать нельзя. Отдел захлестывает поток серых материалов, но газета упорно молчит о подлинных писателях и подлинной литературе. Я чувствовал, что явно перехожу границу дозволенного, но, к моему удивлению, Чаковский, взявший первым слово, был на редкость спокоен. И, закурив сигару, он заговорил совсем не об отделе информации, а о новых задачах, которые поставил Центральный Комитет партии перед Союзом писателей, — добиться дальнейшего сближения русской и национальных культур. Это указание ЦК нашей партии отдел информации ни на минуту не должен забывать.

— А к Борису Викторовичу, — неожиданно улыбнулся Чак (он так и

не запомнил моего имени и отчества), — мы, как говорится, не можем иметь никаких претензий.

Затем слово взял Прудков. Он, по обыкновению, дружелюбно мне улыбнулся и сказал, что, к сожалению, в отделе так и не удалось наладить товарищеских отношений между сотрудниками, и что он как секретарь партбюро несет за это самую прямую ответственность.

И только Сыр с присущей ему прямолинейностью расставил точки над "і".

— Не понимаю, к чему столько слов, — сказал он, — вопрос абсолютно ясен. — И, блеснув в мою сторону линзами очков, добавил, что в интересах лучшего освещения литературной жизни страны он предлагает объединить отдел информации с отделом корреспондентской сети.

Наступило неловкое молчание, которое тут же прервал Чак.

— Я только хочу еще раз подчеркнуть, — улыбнулся он в сигарном дыму, — что к Борису Викторовичу (Виктору Борисовичу, — подсказал ему Кривицкий), да, к Виктору Борисовичу, — решил поправиться на этот раз Чак, — мы не имеем никаких претензий. Сама жизнь, как говорится, подвела нас к необходимости провести реорганизацию.

Назавтра стало известно, что заведующим объединенным отделом назначается член Союза писателей Константин Багратович Серебряков, а через неделю навсегда исчез злополучный "Литературный репортер", на месте которого вновь появилась "Литературная жизнь страны". Так все и кончилось: реформаторские мечты, бессонные ночи, — все оказалось пустым и ненужным.

274

Сразу же после редколлегии меня вызвал Сырокомский и сказал:

— Помните, как я вас предупреждал, что не удержитесь. Вы меня извините, но вы ж ни черта не умеете уживаться с людьми...

Кого он имел в виду, я так и не понял. Вслед за ним меня пригласила к себе зав отделом кадров Галя Сухарева (когда-то она была секретаршей Чака, и в газете ее звали просто Галкой) и, виновато улыбаясь, сказала:

— Послушай, Вить, что делать-то будем? Должности ведь для тебя нет.

И я бы действительно не знал, что делать, если бы в отделе науки не освободилось место специального корреспондента и заведующий отделом Володя Ривин не пригласил меня на нее.

Отдел науки был лучшим отделом "второй тетрадки", а вторая

тетрадка, освещавшая проблемы внутренней жизни, создала популярность всей "Литературной газете".

Первую тетрадку делали для ЦК, вторую — для читателей, и об этом я хочу сказать несколько слов. Тем более без этого трудно понять, почему, несмотря на пережитые унижения, я решил никуда не уходить.

На Западе "Литературную газету" называют одним из самых лживых и изощренных советских изданий. Но сказать о ней только это — значит не сказать ничего. Когда-то Николай Бердяев писал: "Чтобы понять ложь коммунизма, надо понять его правду".

Мне всегда было близко парадоксальное бердяевское мышление, помогающее понять в советской жизни многое, что до сих пор остается загадкой для Запада. Так вот, перефразируя Бердяева, вполне справедливо сказать: чтобы понять ложь "Литературной газеты", надо понять ее правду. А правда эта состояла в том, что впервые на страницах советской газеты вместо штампованных догм и истин появилось живое слово, живая полемика, живое столкновение взглядов, отрицаемое, казалось бы, всей системой советской идеологии.

Истина однозначна. Истина — это то, что рождается в стенах Центрального Комитета партии и что газеты призваны довести до сознания миллионных масс. Но вот появляется шестнадцатистраничная "Литературка", и выясняется, что истина может рождаться в споре, каких бы сложных проблем этот спор ни касался.

275

Дискуссия становится основным жанром "Литгазеты". Право на полемику имеют все: министр, адвокат, ученый, врач, — так же как дискутировать можно почти обо всем: о проблемах управления, архитектуре современного города, о любви и сексе, о будущем нашей планеты, — обо всем, что волнует человека. Чтобы делать такую газету, разумеется, требовались отборные журналисты. И Сырокомский нашел их. Среди кого? Среди евреев... Начиная с 1967 года он пошел как бы со щупом по всем московским редакциям. Его не смущали фамилии: Агранович, Рубинов, Вельтман, Румер. Его не смущало, что ни одна из центральных газет не решалась их брать и многие из них работали в заупокойных редакциях, вроде "Вечерки" или областной газеты "Ленинское знамя". Он искал выдумщиков и фантазеров, самых талантливых из всех, кто был, и сумел найти таких, ибо снял главное ограничение: "пятый пункт". И они, евреи, услышавшие вдруг невозможное: "Пишите что хотите, но только чтобы это было интересно",

сами добились невозможного — в условиях жесточайшей цензуры создали газету, которую увлеченно читали полтора миллиона советских интеллигентов.

Многие из них и сегодня работают в газете. Каждый день в половине одиннадцатого утра они входят в здание газеты и остаются в редакции до позднего вечера, до полуночи. Иные работают по 15 часов в сутки. За право работать в самой интересной газете евреям "Литературки" приходится недешево платить.

Но и сейчас для многих в СССР, даже для многих журналистов, остается загадкой: почему "Литературной газете" дозволено было то, что запрещено другим? Почему ее доверили делать еврею Чаковскому и дали ему исключительное право набирать в газету таких же евреев, как он сам?

Объяснить все это — значит объяснить ложь "Литературной газеты", а я не спешу это делать, как не спешила жизнь разрушить мои последние иллюзии, связанные с "Литературкой".

В отделе науки, спецкором которого я стал, мне уже не нужно было каждую минуту ходить к руководству и согласовывать темы и авторов. Я более не был связан с графоманами и чиновниками от литературы. Передо мной открывалось новое поле деятельности.

Темы отдела науки, не связанные с живой жизнью, меня мало занимали, но я мог писать и о другом. У меня появилась

276

возможность говорить с читателем — то, к чему я стремился столько лет и чего так и не добился в отделе информации.

Правда никогда не была для меня абстрактным понятием. Правдой было то, чем болело общество и с чем я так часто сталкивался в повседневной жизни. Вероятно, поэтому я и решил посвятить одну из первых полос проблемам здравоохранения. Говорить мне пришлось не своими устами. Журналисты "Литературки" обычно писали за других, но на фоне проблемы, которую я намеревался поднять, это обстоятельство выглядело не столь уж существенным.

Эту полосу я назвал "Кто вы, современный доктор?" — название, типичное для "Литературки", но содержание ее явно выходило за рамки заголовка. Полоса говорила не столько о докторе, сколько о больном, о простом советском больном, каких в стране было сотни тысяч, просиживающих в районных поликлиниках, валяющихся в коридорах больниц, страдающих от эпидемий и от вечной нехватки койкомест. Обо все этом "писал" профессор Виноградов. Его статья была главной на

полосе. Рядом выступали главврач Боткинской больницы Лапченко и член-корреспондент Академии медицинских наук Тареев. У них были свои темы: плохая подготовка врачебных кадров и отсутствие у врача всякой заинтересованности в работе.

Полоса получилась острой и тревожной. Когда она была уже набрана и сверстана, меня пригласил член редколлегии по разделу внутренней жизни Александр Иванович Смирнов-Черкезов — один из старых работников "Литературки". 15 лет он провел в сталинских лагерях, был человеком прямым и честным.

— Вы знаете, Виктор Борисович, — сказал он, — у вас великолепный материал. Я, по совести, сам полжизни лечусь и знаю, что все это так. Больно признавать, но так...

В новом отделе это был мой первый успех, но радость была преждевременна. В понедельник, за полчаса до подписания газеты в печать, меня вызвал к себе Тер.

— Мой молодой друг, — нервно поднялся он из-за стола, — вы мне можете ответить на один вопрос: для чего вы подготовили эту полосу?

— То есть как для чего? — переспросил я.

— Нет, вы скажите, для чего? Чтобы облить грязью советское здравоохранение и поссорить "Литературную газету" с

277

министром Петровским? Чаковский читал и был возмущен. Чернить проще всего. Это каждый дурак умеет. Вы вскройте одну проблему, но глубоко, чтобы можно было обсудить, подискутировать.

Полоса была разобрана, а Смирнову-Черкезову было указано на недостаточный контроль за подготовкой материалов отдела науки.

Вскоре вместо полосы "Кто вы, современный доктор?" появилась огромная статья все того же профессора Виноградова, и тему для нее подсказал все тот же мудрый Тер. Статья называлась "Современный врач: универсал или специалист?" Материал печатался в порядке обсуждения, хотя ничего не затрагивал и никого не критиковал.

Перед тем как подписать его, Тер снова вызвал меня и, с удовлетворением прощамкав губами, сказал:

— Вот теперь, мой молодой друг, совсем другое дело — серьезно, глубоко и, главное, видно, что хотим...

Я потерпел фиаско с медицинской полосой совсем не потому, что "Литературная газета" была против критики. Я просто нарушил правила игры, которые никогда не произносились вслух, но существовали как



непоколебимые законы деятельности редакции. Газета поднимала, казалось бы, общегосударственные проблемы, но из ее критических статей невозможно было сделать никаких практических выводов и никогда нельзя было понять, кто виноват. То есть конкретные лица назывались: пора такому-то ведомству и такому-то министру подумать о решении такой-то проблемы. И в ответ в редакцию приходили ответы от ведомств и министров, что они признают выступление "Литгазеты" полезным и своевременным и уже думают над решением указанной проблемы и даже принимают для этого такие-то меры. Но на том все и кончалось.

Как-то отдел науки подготовил проблемную полосу "Ученая степень и степень учености". Сама шапка ее говорила о порочности действующей системы присуждения ученых степеней, которая не стимулировала продвижения в науке и открывала дорогу карьеристам и дилетантам. Редакция получила сотни писем читателей. Они приветствовали выступление "Литгазеты", требовали ликвидации протекционизма и семейственности в науке, критиковали Академию наук и ее президента Келдыша. Но когда Александр Иванович Смирнов-Черкезов поехал в ЦК посоветоваться, что делать с этими письмами, какие принять меры, ему ответили:

278

— Что делать? Послать в Комитет науки и техники, пусть товарищи рассмотрят, подумают...

Дискуссию предложили свернуть.

— Самое главное — вовремя остановиться, — пошутил один из сотрудников отдела пропаганды ЦК.

Всему этому я бы даже не удивлялся — цензура для меня была давно привычной вещью, если бы Чаковский и Сырокомский не требовали все новой критики и новых дискуссий, способных вовлечь сотни и тысячи читателей.

Почти на каждой планерке находился отдел, обращаясь к которому Сырокомский говорил:

— Что вы мне подсовываете всякую сухотку, на которую мы не получим ни одного отклика? Кому нужна такая газета? Дайте что-нибудь почитать, какую-нибудь пищу для ума.

Подобные призывы вряд ли могли раздаваться в стенах "Правды" или "Известий". Это подкупало сотрудников, заставляло работать не зная отдыха и даже не замечать погромных статей против "Нового мира" и Солженицына. Но вот парадокс — в том, что, казалось бы, давало им право

гордиться своей работой, что делало их издание столь популярным среди интеллигенции, как раз и заключалась ложь "Литературной газеты".

## ГАЙД-ПАРК ПРИ СОЦИАЛИЗМЕ

Однажды в кабинете Чаковского состоялась встреча отделов науки и экономики с заместителем председателя Государственного комитета по труду и заработной плате Борисом Михайловичем Сухаревским.

Председателем этого комитета был в то время некто Волков, типичный партийный аппаратчик, имеющий весьма отдаленное представление о проблемах экономики. Фактически все дела вел Сухаревский. Говорили даже, что без него Политбюро не принимает ни одного решения, касающегося экономики и заработной платы, и что он является негласным советником самых высокопоставленных лиц в государстве.

Вот такого человека "Литературная газета" и решила пригласить для того, чтобы он сделал критический обзор ее дискуссий по экономическим вопросам. Ввиду важности гостя помимо нас, сотрудников отдела науки и экономики, присутствовали Чаковский и Сырокомский.

279

Сухаревский сразу же избрал тон, какой обычно позволяют себе ответственные работники в узком кругу, где можно все вещи называть своими именами. Газета делает нужное и полезное дело, но одна из ее дискуссий — "Инженер по горизонтали и вертикали" — вызывает у него невольное чувство протеста. Зачем писать о недостаточной оплате инженерного труда и сеять у читателя несбыточные надежды, если их невозможно осуществить?

— Поймите, друзья, у государства нет денег, нет! И далее он продолжал: — На днях меня пригласил Леонид Ильич, чтобы посоветоваться, каким категориям работников необходимо прежде всего повысить заработную плату. Я сказал, что в наиболее несправедливом положении находятся учителя. Так вы знаете, что ответил Леонид Ильич? "Насчет учителей, может быть, вы и правы, но на всех у нас сейчас нет денег и повышать зарплату будем малооплачиваемым, а учителя подождут". Так зачем же, я спрашиваю, разжигать нездоровые настроения и писать о том, чего мы не в силах выполнить?

Сухаревский кончил и окинул нас особым, не допускающим пререканий взглядом, каким он, вероятно, оглядывал своих подчиненных,

когда возвращался из высших сфер и сообщал им нечто такое, что было известно ему одному. Впрочем, казалось, что и здравый смысл на его стороне: зачем в самом деле обещать то, что невозможно выполнить?

Но мы плохо знали Чаковского. Он взял слово вслед за Сухаревским, и одной только своей репликой, чем является "Литературная газета", тотчас же вознесся на десять голов выше нашего именитого гостя. И сам Сухаревский предстал перед нами тривиальным партийным догматиком рядом с философом Александром Борисовичем Чаковским.

Так вот, после выступления Сухаревского Чак сердечно поблагодарил его от нашего имени и сказал, что только по поводу одного момента позволит себе высказать свое соображение — стоит нам или не стоит писать о зарплате инженеров. Чак закурил сигару и, одарив Сухаревского обворожительной улыбкой, которая появлялась на его лице-маске всякий раз, когда он чувствовал свое превосходство над собеседником, сказал:

— Видите ли, Борис Михайлович, вы совершенно правы, когда говорите, что мы обязаны считаться с возможностями государства, и все мы, коммунисты, обязаны выполнять обе-

280

щания, данные читателю. Но применительно к "Литературной газете" здесь есть одна чрезвычайно важная тонкость. Дело в том, что партия возложила на нас специфическую задачу, — и, погрузившись в синий сигарный дым, Чак продолжал: — Один раз в доверительной беседе, которая была у меня с помошником Леонида Ильича, он остроумно заметил: "Вы, — сказал он, — у нас не обычная газета. Вы у нас вроде Гайд-Парка при социализме..." Ну, а кто бывал в Гайд-Парке, — все так же улыбаясь, развел руками Чаковский, — тот знает, что там каждый имеет право выступить, хотя правительству совсем не обязательно выполнять все, что предлагают в Гайд-Парке. Да, Борис Михайлович, мы, как говорится, все коммунисты и понимаем, что у государства сейчас нет достаточных средств, чтобы повысить заработную плату техническим специалистам, — лицо Чаковского стало серьезным, и на нем снова появилась нервная гримаса. — Но когда мы дискутируем проблему зарплаты — это не значит, что завтра же она должна быть повышена. Важно, чтобы читатель знал, что партия думает над этой проблемой, думает, как ее решить... и улучшить благосостояние народа.

Лицо Чаковского снова расплылось в улыбке, но сидящий рядом Сырокомский зло сверкнул линзами очков в его сторону, и, когда наш гость стал прощаться, он не выдержал и при всех сказал:

— Совершенно с вами не согласен, что мы — Гайд-Парк. Чушь это! Газета выступила по стольким принципиальным вопросам, с ней считаются министры...

Чаковский ничего не ответил, и с тех пор я уже никогда не слышал из его уст слов о Гайд-Парке, но сам я уже не мог их забыть.

Странная получилась вещь: то, о чем я лишь интуитивно догадывался и не в силах был выразить, с поразительной точностью высказал сам Чаковский.

Да, это была ложь, но не примитивная, тривиальная ложь "Правды", "Труда" или "Советских профсоюзов", призывающих своих читателей развивать социалистическое соревнование и отдавать все силы очередной пятилетке. Это была ложь высшего свойства — не для масс, — для интеллигентного читателя.

Из номера в номер "Литгазета" вовлекала его в дискуссии, создавая иллюзию демократии, но это была демократия Гайд-

281

Парка, несколько не пугающая власти, зато уводящая читателя от реальных проблем советского общества. И сама личность Чаковского, администратора этого Гайд-Парка, была едва ли не самым полным и гармоничным его воплощением.

## АЛЕКСАНДР ЧАКОВСКИЙ

В наш прагматический век все подвижнее становятся нравственные критерии. И более всего это относится к советскому обществу, где уже ничто не существует как самооценność: ни ум, ни талант, ни совесть человека... Оттого и не хочу я при определении личности Чаковского пользоваться "обветшалыми" моральными категориями. Мне кажется, что в нем очень мало осталось от человека в привычном, традиционном смысле слова (разве только невыпускаемая изо рта сигара и нервный тик на лице). Он даже и внешне, со своими быстрыми машинными движениями, чем-то напоминал один из тех самых компьютеров, о которых так много писала "Литгазета", но которые все-таки выглядели жалкими и глупыми роботами рядом с Александром Борисовичем Чаковским.

Подобно компьютеру, он никогда не выдавал неправильных решений, он всегда точно знал, где, когда и о чем нужно сказать.

На партийных собраниях, где почти всегда присутствовал

представитель отдела пропаганды, он редко увлекался славословиями в адрес членов Политбюро. Но я не помню случая, чтобы он забыл упомянуть о каждодневной дружеской помощи товарищей из аппарата ЦК.

Политбюро было далеко, а товарищи из ЦК рядом, в президиуме, и компьютер Чаковский великолепно знал, сколь важно, чтобы они всегда были им довольны. Вообще к "товарищам из аппарата" Александр Борисович относился с подлинным благоговением, порой переходящим в патологический страх.

Однажды на торжественном вечере в Центральном доме литераторов, посвященном 40-летию "Литературной газеты", Чаковский решил поднять тост за коллектив редакции. "Литатурка" была награждена орденом Ленина, что, естественно, доставило Александру Борисовичу несказанную радость. В этот вечер он много выпил и, хотя сидел в окружении почти всего отдела пропаганды ЦК, позволил себе расслабиться. Он

282

стал говорить о самоотверженности и бескорыстии журналистов "Литатурки" и даже решился назвать фамилии некоторых из них: Вельтман, Агранович, Рубинов... И в этот миг, по-видимому, невидимые биотоки, исходящие от "товарищей из ЦК", дошли до Александра Борисовича, и он мастерски, как это мог делать только он один, перестроился:

— Разумеется, мы, журналисты, немало сделали, но положи руку на сердце спросим себя: смогли бы мы этого добиться, если бы каждый день, каждый час нам не помогали товарищи из отдела пропаганды?

И, забыв вдруг о своем порыве воздать должное коллективу, Александр Борисович предложил выпить за тех, благодаря кому "Литературная газета" стала любимой газетой советской интеллигенции. Зал был пьян, и никто, кажется, не заметил случившейся неловкости. Все захлопали, и товарищи из отдела пропаганды тоже захлопали, хотя и не так громко, как все остальные, но достаточно благосклонно, чтобы Александр Борисович мог подойти к одному из них и в знак дружбы "Литгазеты" и ЦК при всех с ним расцеловаться.

Чаковского невозможно было поставить в тупик, его реакция была мгновенной, и в самых щекотливых ситуациях, где, казалось, ему уже нечего было ответить, он умел так повернуть спор, что оппонент его сам вдруг оказывался в тупике. Если можно говорить о недостижимых вершинах в области демагогии, то для Александра Борисовича таких



вершин вообще не существовало.

Однажды на редколлегии произошел беспрецедентный случай, когда попытался взбунтоваться заведующий отделом рецензирования Соломон Смоляницкий. То есть это был, конечно, своеобразный бунт. Просто Смоляницкий выступил против замалчивания "Литературной газетой" "Нового мира". У "Нового мира" столько читателей, а мы, сказал Смоляницкий, без конца пишем о "Нашем современнике" и "Молодой гвардии", которых никто не читает. На редколлегии присутствовал кто-то из секретарей Союза писателей, и уже по одному этому Чаковский не мог смолчать. Однако он и не мог отрицать популярности "Нового мира" и потому повернул разговор самым неожиданным образом.

— При чем тут количество читателей, Соломон Владимирович? — сказал он. — Следуя вашей логике, можно дойти до какой угодно чуши. Например, если я вам скажу, что в "Литга-

283

зете" большее число сотрудников, чем в "Труде", слушает "Голос Америки" и "Би-би-си", что вы мне ответите? Что в нашей редакции больше антисоветчиков? Хотя ребенку ясно, что если и больше слушают, то причина совсем в другом: в "Литературной газете" просто работают интеллигентные люди, а интеллигенции всегда было присуще стремление понять жизнь в ее противоречиях, и поэтому вполне очевидно, что передачи западных радиостанций для нее прежде всего материал для анализа и более углубленного познания западной действительности.

И совсем другим был Александр Борисович на редакционных вечерах. Собирались обычно в его кабинете, и он первый поднимал тост и обязательно при этом острил. Однажды он задержался в ЦК и опоздал к началу вечера. Все уже начали пить, но севший за общий стол Александр Борисович ничуть не обиделся. Он поднялся с бокалом шампанского и сказал, что сегодняшняя вечеря явился для него откровением.

— Я уже давно убедился, что работать без главного редактора вы научились. — Александр Борисович намекал на свои полугодовые отсутствия в редакции, когда он сидел в Переделкино и писал свою нескончаемую "Блокаду". — Но сегодня я понял, что вы великолепно можете без меня отдыхать.

— Александр Борисович, как всегда, режет правду-матку, — не преминул заметить пьяный Сазонов-Резников.

— Можете считать себя уволенным, Резников! — весело крикнул Сырокомский (он на вечерах неизменно шутил о том, кого намерен

уволить).

После застолья обычно шли в зал, и Александр Борисович усаживался за рояль и исполнял "Фрейлехс". Он играл, а кругом танцевали, по-еврейски, обняв кончиками пальцев лацканы пиджаков, словно в эти минуты хотели забыть обо всем — и о Солженицыне, которого считали гениальным и, не прекращая, травили со страниц "Литгазеты", и о событиях в Чехословакии, которыми восхищались и с тех же страниц предавали анафеме, и о самом Александре Борисовиче, который сейчас так великолепно исполнял "Фрейлехс", а завтра снова превратится в грозного и неприступного Чака.

284

## ГОРЕЧЬ СВОБОДЫ

Я вовсе не хочу представить журналистов "Литературки" безнравственными служащими "Гайд-Парка", взявшими на себя миссию уводить читателей от назревших проблем России. Напротив, они искренне верили (и, думаю, по сей день верят), что честно служат своей стране. Так же, как в это верил я сам, пока Чаковский не помог мне понять, какая роль возложена партией на меня и моих коллег.

И все, что казалось несообразным, встало на свои места. И более не казалось странным, отчего "Литературной газете", единственной в стране, разрешено было принимать евреев. Ведь не нуждалась, например, в них "Правда". Для того чтобы писать о том, о чем писала "Правда", не требовалось ни особого ума, ни журналистского таланта. Но еврейский ум и талант требовались для того, чтобы уводить читателя в мир социальных иллюзий. Это была изощренная задача, требовавшая изощренного исполнения. Этим и занимались евреи "Литературки". Верили, что творят добро, и делали зло. В этом была их драма, в этом была и моя личная драма, которую я не сразу постиг. Но, постигнув, уже не мог оставаться самим собой.

Подобно всем смертным, я пытался найти в своей жизни точку опоры. Иллюзии сменялись разочарованиями и снова иллюзиями. В этом карабкании, в этом беспрестанном искании сказывался, по-видимому, мой еврейский характер с его бродильными генами Менахем-Мендла.

Казалось, в "Литературной газете" судьба приблизила меня к идеалу, но она подвела меня лишь к крушению. Взобравшись на вершину, я вдруг понял, насколько бессмысленным и бесплодным был мой путь. Вершиной оказался "Гайд-Парк при социализме", жалкая роль прислужника

партийной бюрократии. Первореальности жизни находились на других дорогах. Но чтобы выйти на них, надо было свести счеты с прошлым.

Я часто слышал вопрос: когда вы решили уехать и что именно побудило вас к этому шагу? В этих случаях обычно ссылаются на отсутствие в России свободы. Говорят о стремлении жить со своим народом. Появляется рациональная схема, в которую укладывается любая жизнь и любая судьба. Но путь от несвободы к свободе куда более сложен.

В конце концов, человек не создан для тюрьмы. Человек выходит из тюрьмы в надежде, что никогда туда не вернется.

285

Вероятно, это и есть ощущение свободы, о котором великолепно писал Сент-Экзюпери, ощущение ветра, солнца и звезд на небе — всего, что было дано человеку задолго до того, как он изобрел тюрьмы. Но ощущение свободы — это совсем не обязательно ветер, солнце и звезды на небе. В какой-то момент о них даже можно забыть вовсе. Так было со мной, когда, уволенный с работы, исключенный из партии, я в последний раз выходил из "Литературной газеты" и думал, как это все-таки прекрасно больше никогда не являться на партийные собрания, не писать о новаторах коммунистического труда, не голосовать за блок коммунистов и беспартийных.

Это были простые, будничные вещи, среди которых я жил, и простые, будничные обязанности, которые я выполнял многие годы. Я говорил себе: "Так есть и так было всегда. На что-то человек обязан закрывать глаза. Без этого невозможно прожить жизнь..." Более глубокими мыслями о нравственной сути бытия я старался себя не обременять. Так было легче. К тому же, оставаясь в рабстве, бессмысленно было его обличать.

И только решившись порвать с прошлым, я мог позволить себе размышлять о вещах, о которых старался раньше не думать, но которые как внутренний укор жили во мне самом и саднили меня изнутри.

Почему-то вспомнил день 21 августа, когда советские войска вошли в Чехословакию. Новость эту я услышал по радио в шесть утра и, оглушенный ею, не мог ничего делать, не знал, куда себя деть.

Выпив чашку кофе, я вышел на улицу. До начала работы оставалась масса времени, и, чтобы его как-то убить, зашел в парикмахерскую на Ленинградском проспекте. Жизнерадостная толстуха-парикмахерша, ловко орудуя ножницами вокруг моей головы, комментировала на пару со своей соседкой "Последние известия":

— До чего же подлые, скажу тебе, эти чехи. Русский Иван их и кормил,

и от немца спас, а они нож ему в спину, к ФРГ хотели отойти...

Вечером в редакции состоялось закрытое партсоборание. Выступал Олег Николаевич Прудков. Его землистое, одутловатое лицо ничего не выражало (рассказывали, что в последнее время на почве семейных дел у Прудкова начались запои). Он говорил, что, в связи с происками правых сил в Чехословакии, советское правительство вынуждено было принять

286

трудное решение... Это решение было продиктовано нашим интернациональным долгом перед коммунистической партией и народом братской Чехословакии. Он говорил, по обыкновению изящно грассируя, длинными, округлыми фразами. До конца я его выступление так и не мог дослушать и, сославшись на какое-то дело, ушел с собрания.

Мне казалось, что я обладаю способностью отдалять от себя неприятные вещи и неприятные мысли. Позже я понял, что и это была лишь одна из иллюзий. Жизнь сквозь причудливые стечения обстоятельств возвращала меня к тому, от чего я так стремился уйти.

Спустя более года после событий в Чехословакии я вдруг снова доподлинно увидел все, что там было в день 21 августа. Днем в мой кабинет (я сидел тогда уже на шестом этаже, и дверь из кабинета выходила в кинозал редакции) постучал завхоз и, явно испытывая неловкость, спросил, не собираюсь ли я куда-нибудь выходить. Если собираюсь, то лучше это сделать сейчас. Дело в том, что в кинозале состоится закрытый просмотр кинофильма, специально для редактората, для Чаковского, его замов и ответственного секретаря. И руководство просило, чтобы никого лишнего не было. Как и следовало ожидать, в зале оказались не только Александр Борисович и его замы — удалось посмотреть этот фильм и мне. Это была лента, снятая западными операторами, и называлась она "Дубчек в Москве".

Первые кадры показывали, как советские войска входили в Прагу, нет, не входили — вламывались в бунтующую и ощутившую ветер свободы Прагу. Затем показали Дубчека, бородатого, истерзанного, по-видимому, только что привезенного в Кремль из своего заточения в Закарпатье. Он сидел напротив Брежнева и гневно стучал кулаком по столу. А Брежнев молчал и, барабая пальцами по столу, непонимающе пожимал плечами.

Чак и его замы сидели ко мне спиной, и я не мог видеть, как они воспринимали эту картину. Впрочем, как они могли ее воспринимать, если в те дни "Литературная газета" за большие заслуги в области коммунистического воспитания трудящихся была удостоена ордена

Ленина, а незадолго до этого посол Советского Союза в Чехословакии Червоненко в своем личном докладе Брежневу отметил принципиально правильную, партийную позицию "Литературной газеты" во время событий в Чехословакии!

287

Советские танки топтали землю Чехословакии, а в "Литературной газете" жизнь шла своим чередом. После фильма я отправился домой пешком и на Маяковской, у входа в ресторан "Пекин" случайно увидел Прудкова и Долматовскую. До этого я никогда их не видел вместе. Они вышли из такси и, легко взбежав по ступенькам, скрылись в залитом светом зале ресторана. Если мне не изменяет память, это было в один из первых дней после "реорганизации" отдела информации.

Прошлое всплывало без всякой последовательности, вопреки логике и ходу времени. Вспомнил, как, будучи в плавании на Банке Джорджес, я узнал о начале Шестидневной войны. Как и полагалось в подобных случаях, помполит каждый вечер собирал экипаж на политинформацию. Он говорил теми же словами, что вещало из Москвы судовое радио, а именно, что израильские захватчики стремятся к аннексии чужих территорий и к порабощению арабских народов. Потом выходили на палубу, и я снова видел усталые, равнодушные лица матросов. Однажды один из них — на судне его звали Купо Купыч, — едва усмехнувшись, прокомментировал события на Ближнем Востоке:

— А все говорят, что еврей воевать не умеет!

Вот так я услышал о Шестидневной войне.

Позже я читал об Израиле в "Литературной газете".

О нем едва ли не каждый день писали "Правда", "Известия", "Труд", но у "Гайд-Парка при социализме" и к этой теме был свой подход.

Время от времени ответственный секретарь Горбунов-Гиндельман и фотокорреспондент Михаил Трахман выезжали в Вену, чтобы интервьюировать возвращенцев из Израиля. Выезжали, правда, не одни, а в неизменной компании человека, который подписывал вместе с ними материалы как журналист Гудков. Кто был в действительности "журналист Гудков", знали даже не все в редакции. В форме он никогда не ходил и в газете появлялся редко. Зато, по рассказам Горбунова-Гиндельмана, в Вене проявлял активность необыкновенную. Перед тем как устраивать интервью, он собирал в специальном помещении обитателей улицы Йордим,\*так называли здесь улицу, где, уповая на милость властей СССР, влачили жалкое существование возвращенцы из



Израиля. Так вот их, голодных, опустившихся, застрявших между двумя мирами,

---

\* Йордим (иврит) — жители Израиля, покинувшие страну, в данном случае — желающие вернуться в СССР.

288

и собирал "журналист Гудков" и торжественным голосом зачитывал решение советского правительства — позволить семье такой-то вернуться на Родину, в СССР. Одной из десятков других. Другим оставлялась надежда и, конечно же, "права" дать интервью корреспондентам "Литературной газеты".

Из Вены наши спецкоры возвращались всякий раз гордые исполненной миссией. В редакции о виденном предпочитали не распространяться. И лишь в ресторане Дома журналиста, куда оба любили наведываться по вечерам, позволяли себе расслабиться.

Особенно они любили рассказывать о самой Вене и венских кабаре (куда один или два раза отважились зайти). Об Израиле даже и в Доме журналиста предпочитали помалкивать. Зато в своих репортажах не жалели красок. Точнее, даже не они, а обитатели улицы Йордим, которые отработывали таким образом право вернуться обратно в Россию. Как следовало из этих репортажей, не было на нашей планете более жестокой, равнодушной и бескультурной страны, чем Израиль.

Репортажи из Вены публиковались под сенсационной шапкой "Правда о земле обетованной". На летучках всякий раз подчеркивалось, что это важные идеологические акции "Литературной газеты", и материалы неизменно признавались лучшими в номере.

Но сколько я ни размышляю о прошлом, я и сегодня не в состоянии ответить на вопрос: что впервые натолкнуло меня на мысль уехать? События в Чехословакии? Шестидневная война? "Литературка" с Чаковским и нашим главным моралистом Прудковым?

Как некогда остроумно подметил горбун Чернецкий, все со всем связано. В мире, из которого я ушел, не было чего-то более и чего-то менее отталкивающего. Одно дополняло другое. В чем-то этот мир был даже целен и гармоничен.

Это была гармония призраков, несуществующих идолов, с их феноменальной способностью превращать миллионы людей в тупых и оболваненных роботов.

И если вы большую часть жизни служили этим идолам лжи, то вам не

просто с ними расстаться. Рабство вас продолжает цепко держать даже тогда, когда разумом вы решили начать все сначала. Начинается время мучительного раздвоения и жестокой внутренней борьбы, пока не происходит последний толчок, навсегда определяющий вашу судьбу. И вы говорите

289

себе: "Более так жить невозможно, пусть будет что будет, но только не эта ничтожная рабская жизнь".

Так или примерно так было и у меня в "Литературной газете". Были мучительные колебания, был голос разума, давно говоривший, что жизнь, подобная той, что я вел, лишена всякого смысла, была, наконец, последняя капля, перевесившая чашу весов...

Эта последняя капля опять же связана с моим еврейством. Долгие годы я надеялся на лучшее, но вот наступил момент, когда я почти физически почувствовал: где бы я ни оказался, как бы в жизни ни преуспел, я все равно останусь евреем, изгоем, которому в лучшем случае уготована участь обоснователя той самой несвободы, которая давила меня всю жизнь.

Попробую объяснить, как все было, и для этого следует сказать несколько слов о моей еврейской фамилии. В отношении таких, как я, в советской печати существовал неписанный закон: еврейские фамилии журналистов не должны появляться на страницах газет. Их обладателям надлежало брать псевдонимы. Я никогда не считал, что моя фамилия на газетной полосе звучала изящнее, чем любая другая. Возможно, при других обстоятельствах я бы и сам счел нужным найти себе литературный псевдоним. Но, наверное, оттого, что еще 20 лет назад, когда я написал первый фельетон в "Труде", мне недвусмысленно предложили взять псевдоним, оттого, что всегда, когда залеживалась моя статья, я не мог не думать, что виной этому опять же моя еврейская фамилия, — от всего этого еще в годы молодости во мне родилось чувство протеста, с которым я никогда не мог справиться. Всякий раз, когда я подписывал статьи не своей фамилией, я не мог избавиться от чувства, что надо мной совершено насилие и в чем-то меня заставляют не быть самим собой.

В "Литературной газете" я был единственным из евреев, позволявших себе жить без псевдонима. У Чаковского и Сырокомского это вызывало глухое недовольство. Я нарушал и это правило игры, согласно которому евреев Гайд-Парка надлежало тщательно скрывать от глаз читателя.

И почти всегда, когда моя фамилия должна была появиться на

страницах газеты, против нее начиналась тайная война. Если я брал интервью, то по какой-то странной забывчивости верстальщиков она вдруг исчезала с полосы. А когда это сделать было невозможно, ее старались набрать мелким шриф-

290

том и перенести вниз, чтобы трудно было заметить. Ответственный секретарь Горбунов-Гиндельман делал это обычно с циничной улыбкой, словно бы нехотя и у меня самого ища понимания в создавшейся щекотливой ситуации:

— Я надеюсь, старик, ты не заподозришь меня в антисемитизме. Сам знаешь, рад бы в рай, да грехи не пускают.

Он старался говорить шутливыми полунамеками, из которых я сам должен был делать выводы.

И чем острее становился мой конфликт с руководителями газеты, тем безжалостнее изгонялась с ее страниц моя еврейская фамилия. Последний раз она появилась, когда я уже понимал, какая роль отведена "Литературной газете". Это был мой последний бунт, последний эксперимент, которым я пытался сам себе доказать, что еще не все потеряно и что если собраться с силами, то и в Гайд-Парке можно кое-что сделать.

В каком-то смысле это была одна из самых советских, самых партийных статей, которые я когда-либо писал. Разумеется, при условии, если бы партия и власти стремились выполнять свои собственные декларации.

Я отстаивал неоднократно утверждаемую со страниц "Правды" мысль, что в советском обществе все должны быть равны перед законом, даже те, кто в прошлом совершил преступление. О них и шла речь в моей статье. Точнее, это была даже не статья, а репортаж. Репортаж о "воровской сходке", на которую собрались бывшие преступники и говорили о том, что мешало им начать честную жизнь. И прежде всего они говорили о так называемом "Положении о паспортах", согласно которому люди, отбывшие наказание, лишались права возвращаться в города, где они жили раньше. Я писал об уголовниках, но имел в виду и других, кто был брошен в тюрьму за убеждения и никогда не мог вернуться домой.

По всей стране действовали так называемые "стокилометровки", которые превращали сотни тысяч людей в изгоев. Их не брали на работу. Их не прописывали по старому месту жительства, и положение их было трагичным.

Когда прочел материал Тертерян, он тотчас послал меня за визой в Министерство внутренних дел. Проблема была давно назревшей. Статистика самого министерства недвусмысленно показывала, что "Положение о паспортах" вызывает массовые рецидивы преступлений. Возможно, поэтому материал решили показать лично министру внутренних дел Щелокову, и

291

он лично завизировал его. Теперь даже вечный перестраховщик Тер мог пропустить статью со спокойной душой. Разумеется, он не мог представить, что не пройдет и нескольких дней после опубликования статьи и его пригласят в административный отдел ЦК для того, чтобы он дал объяснение по поводу провокационной статьи Перельмана "Человек вернулся".

Я до сих пор не знаю, что более возмутило замзава административным отделом ЦК КПСС Альберта Иванова, поднявшего это дело, — то ли, что "Литгазета" вышла за рамки дозволенного ей и вторглась в сферу, столь бдительно охраняемую партийными аппаратчиками, то ли, что это позволил себе не кто иной, как еврей Перельман. Вероятно, его возмутило и то, и другое. По его указанию в редакции началось расследование, как статья появилась в печати. Меня поочередно вызывали к себе то Прудков, то его заместитель кадровичка Галка Сухарева. Прудков, которому Сырокомский всегда поручал вести подобного рода дела, сидел, барственно развалившись в кресле, и с ничего не выражающим лицом допрашивал меня:

— Известно ли вам, Виктор Борисович, что в Центральном Комитете партии решили серьезно разобраться с вашей статьей? Интересно знать, кто подсказал вам идею выступить именно с этим материалом?

Галка Сухарева придерживалась, как всегда, чисто товарищеской нотки:

— Ну и наделал же ты, Витька, делов. Знаешь, как Сыр рвет и мечет? Вечно, говорит, у нас с этим Перельманом неприятности.

Неожиданно проснулся мой старый друг Серебряков и заявил, что еще в мою бытность заведующим отделом информации в моих письмах собкорам национальных республик проскальзывали провокационные нотки. Я же ловил себя на странном чувстве: у меня не было ни малейшего страха перед нависшими неприятностями, а был лишь спортивный интерес — чем могло кончиться это дело, в котором я не только прав по существу, но на моей стороне также Министерство внутренних дел.

Дело кончилось тем, что собралось закрытое заседание секретариата ЦК КПСС, на котором строго предупредили Чаковского и просто предупредили министра внутренних дел Щелокова за то, что проявил беспечность в отношении идеологически вредного выступления "Литературной газеты". Но ког-

292

да это решение обсуждалось на очередном совещании редакторов газет в ЦК партии, то выступавший по этому вопросу Альберт Иванов ни словом не обмолвился ни о Чаковском, ни о Щелокове. Почти все выступление он посвятил провокационной статье Перельмана, который пытался посеять у читателя недоверие к советской конституции и к советским законам.

Впрочем, в отношении последнего у Альберта Ивановича Иванова, очевидно, нашлись бы другие слова, если бы он хоть на миг мог представить себе, что автор статьи через некоторое время окажется в рядах сионистов и антисоветчиков, с которыми ему опять же придется бороться, но уже с применением других средств. Вероятно, по-иному вел бы себя на заседании ЦК и министр внутренних дел Щелоков, пытавшийся отстаивать статью. И уж наверняка знал бы, как ему поступить главный редактор "Литгазеты" Александр Борисович Чаковский...

Вскоре после этой истории я заболел. Но думаю, что и болезнь моя вряд ли могла остановить Чаковского. Он нашел бы способ, как от меня избавиться, не дожидаясь весны семьдесят второго года, которая принесла ему столько неприятностей.

## ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ

8 марта я еще был членом партии и специальным корреспондентом "Литературной газеты". И Алексей Иванович, швейцар Московского дома журналиста, уважительно открывал передо мной дверь. 12 марта, то есть спустя четыре дня, я стал никем...

И началось все в маленьком почтовом отделении, расположенном напротив нашего дома, в переулке Марины Расковой. Отсюда я решил послать в газету заявление и, как требовал установленный порядок, попросить характеристику для выезда на постоянное жительство в Израиль. 8 марта было пятницей, 9 и 10-е — выходные дни. 11-го мое письмо придет в редакцию.

Я столько раз все обдумал и передумал, что, казалось, уже нечего опасаться. Я знал, что после моего обращения в партбюро за



характеристикой я не проживу в газете и дня, что буду тотчас исключен из партии и надолго останусь без работы.

Я пытался представить, как мое заявление получит Пруд-

293

ков — под его руководством в газете велась антиизраильская кампания, — как он будет докладывать о случившемся Чаковскому, как Чаковский тотчас поедет в ЦК, чтобы, в свою очередь, доложить о происшедшем там, — и, сколько я ни рисовал себе этих сцен, до конца я их представить не мог. Слишком противоестественны они были для всей жизни "Литературной газеты", которой партия отвела почетную роль "Гайд-Парка при социализме".

О своих планах я никому не рассказывал и только накануне поделился со своим приятелем Кленовым, с которым встретился по этому поводу. Он долго смотрел на меня оторопевшим взглядом и без конца повторял:

— Безумство, какое безумство!

Потом начал меня уговаривать уйти из газеты, не доводя до скандала. Он пытался мне объяснить, какому риску я себя подвергаю и какие страшные последствия могут наступить.

Весь вопрос состоял в том, откуда подать заявление — из газеты, из "логова" (как я сам себе говорил), или предварительно уволиться из редакции. Последнее было, конечно, безопаснее.

Но я решил подать заявление из газеты, считая необходимым открыто порвать с ее линией. Я понимал, что в ЦК это будет расценено как политический шаг и шел на это.

Ситуация была настолько острой, что ждать приходилось всего. Меня не покидало ощущение, что если я сам приду к Прудкову, то он позже может отказаться от услышанного, и меня уволят прежде, чем я сделаю первый шаг. Поэтому я и решил послать заявление по почте с письменным уведомлением о его вручении.

Когда утром в понедельник я поднялся на пятый этаж в свой кабинет, то работать уже не мог. Сидел в кресле, уставившись в телефонный аппарат, ждал, когда, наконец, меня вызовут к начальству. По моим расчетам, заявление должно было прийти в редакцию с утренней почтой, и, конечно, Прудков тотчас пригласит меня к себе. Но телефон молчал, и я после бессонной ночи задремал в кресле.

Когда раздался звонок, со сна я даже не узнал голос секретарши Прудкова, срочно вызывавшей меня к Олегу Николаевичу. Я закурил и облегченно вздохнул — через несколько минут все кончится.

ва, которые скажу. Но события развернулись несколько неожиданно, и, как это бывает, в самый драматический момент возникла комическая ситуация.

С утренней почтой мое заявление не пришло в газету, и вызвал меня Прудков совсем не по поводу Израиля, а хотел дать какое-то партийное поручение. А мне казалось, что он лукавит и только делает вид, что не получил письма, для того, чтобы выиграть время. Поэтому я сам решил ускорить события и спросил:

— Олег Николаевич, вы получили мое заявление?

— Заявление? Какое заявление?

"Актер", — подумал я и, набрав воздуха, произнес;

— В котором прошу вас дать характеристику для выезда в Израиль.

И тут, глядя на Прудкова, я вдруг понял, что он действительно ничего не получал и ни о чем не подозревает, и вообще я не знал, что станется с ним на моих глазах. Холеное его лицо, мгновенно сделавшееся землисто-серого цвета, перекосила болезненная гримаса. Она несколько минут не сходила с его лица. Наконец он спросил:

— А вы уверены, что вас отпустят? Ведь не всех, я слышал, отпускают...

Между тем наутро меня вызвал к себе Сырокомский и сказал, что за последнее время я резко ослабил работу, стал прогуливать, материалы мои не интересны...

Я попробовал возражать, но Сыр сидел, уставившись в стол и не достаивая меня взглядом.

— Через два часа заседание редколлегии, — сказал он, — Прошу быть. Впрочем, можете не приходить. Можете уже сейчас считать себя уволенным!

Я, кажется, успел заметить, что это беззаконие — меня увольняют за желание уехать в Израиль. Сырокомский резанул меня линзами очков и, криво усмехнувшись, сказал, что он меня больше не задерживает.

Уволили меня действительно через два часа — за систематические нарушения трудовой дисциплины, за прогулы и несоответствие исполняемой должности.

Вечером должно было разбираться мое партийное дело. Самого Чаковского не было. В его огромном кабинете за длинным "т-образным" столом собрались члены партбюро — их было, кажется, человек девять

или десять. Напротив меня рас-

295

положился Серебряков. Чуть поодаль — Галка Сухарева, а подле меня — редактор отдела братских литератур Ахияр Хакимов. Все сидели с каменными, ничего не выражающими лицами. С такими же лицами, вероятно, члены особых совещаний судили в 37 году "врагов народа".

Войдя в кабинет, я пытался понять, как пойдет заседание. Неужели все они, считавшие себя элитой интеллигенции, уподобятся тривиальным крикливым демагогам и, словно по команде, начнут трубить о предательстве и измене Родине.

Но я тотчас понял, что меня ждет не обычное заседание. Начало положил Константин Серебряков. Он спросил, в какую партию я намерен вступить в Израиле. Еще перед заседанием я решил, что не позволю себе лгать ни в чем.

— В какую партию буду вступать? — переспросил я, подыскивая, по возможности, наиболее точный ответ. — Не знаю, в какую партию. Приеду, познакомлюсь со страной и тогда решу...

— Но позвольте, Виктор Борисович, в Израиле есть только одна последовательно марксистская, ленинская партия — это коммунистическая партия, значит, вы хотите порвать с марксизмом?

— Скажите, к кому из родственников вы едете? — последовал следующий вопрос.

— Я думаю, товарищи, что у Виктора Борисовича в Израиле единственный родственник — радиостанция "Голос Израиля".

Вслед за этой репликой снова пошли вопросы, один за другим, и, что было странным, в большинстве своем они вроде бы и не относились к повестке дня.

Галка Сухарева вдруг стала расспрашивать меня, над какими статьями я в последнее время работал, какую читал литературу, в каких научных учреждениях бывал. Я спокойно отвечал, не в силах уловить тайного смысла этого вдруг обуявшего ее любопытства. Ахияр Хакимов, которого вообще никогда не было слышно, спросил, сколько времени я болел и в какие газеты за это время писал.

Никто не повышал голоса, Говорили пристойно. Казалось, члены партбюро только и озабочены тем, чтобы узнать все, что им необходимо, и отпустить меня с Богом в мой Израиль.

И только когда начались прения, я стал кое-что понимать. Первым выступил Сырокомский. Он сказал, что не далее как утром, у него в

тисоветчик. Вторя антикоммунистическому, сионистскому охвостью, я заявил, что меня увольняют за мое желание уехать в Израиль, когда всем ясно, что меня увольняют за плохую работу.

В прениях выступали кратко и по-деловому. Вначале каждый мне давал характеристику. Затем вносились предложения. Об исключении из партии никто не говорил — это подразумевалось. Предложения были иного свойства, и, когда их начали вносить, я понял, что скрывалось за невинными вопросами, которыми меня забрасывали члены партбюро.

Галка Сухарева, выпрашивавшая, в каких научных учреждениях я бывал, все тем же миролюбивым голосом предложила вписать мне в характеристику, что по роду деятельности я имел доступ к государственным секретам.

— Но это же ложь, — не выдержал я.

— Ложь? — возмутился Сырокомский. — Все советские журналисты имеют доступ к государственным секретам.

Затем стали поступать следующие предложения, столь же краткие и деловые. Ахияр Хакимов, интересовавшийся, куда и какие статьи я написал во время болезни, сказал, что во время болезни полагается болеть, а я использовал больничный лист в корыстных целях. Он предложил обратиться к прокурору и от имени редакции потребовать привлечь меня к суду за... мошенничество.

— Но в чем же мошенничество? — снова не выдержал я.

— А в том, что вы не наш человек! — кажется, впервые за все заседание повысил голос Хакимов.

В тот же вечер по редакции распространился слух, что по косвенным каналам я был связан с английской разведкой. Поводом было сообщение "Би-би-си", что специальный корреспондент "Литературной газеты" возбудил ходатайство о выезде в Израиль.

В редакции в этот день со мной никто не здоровался. Никто не прощался. Люди, с которыми я работал столько лет, просто не замечали меня. Да и можно ли было их обвинить в том, что они опасались иметь дело с человеком, работавшим на английскую разведку.

Выйдя из редакции на улицу, я несколько раз подряд оглянулся. Мне все казалось, что за мной кто-то идет. Но нет, никто не шел. Москва жила своей шумной вечерней жизнью, и никому не было дела до того, что произошло в этот вечер в стенах "Литературной газеты".

Утром, впервые за много лет, я не должен был никуда спешить. Мог целый день валяться на кровати, мог сколько влезет бродить по квартире, мог уехать Бог весть куда...

После завтрака решил позвонить Кленову. Я поднял телефонную трубку и услышал треск, затем долгое, натужное гудение — казалось, кто-то тайно прокрался в мой аппарат, чтобы отныне и навсегда стать свидетелем моей жизни.

Кленов, которому я звонил, оказался вдруг очень занятым и сказал, что через несколько минут позвонит мне сам. Разговаривал он странным, смущенным тоном. Я позвонил другому своему приятелю. Он сказал, что болен, и так же, как Кленов, быстро свернул разговор. Мир, в котором я прожил столько лет, явно опасался поддерживать со мной отношения.

Я не знал, куда себя деть, и позвонил в "Профиздат", чтобы выяснить, когда будет сигнальный экземпляр моей новой книги. Но и редактора мой звонок привел в странное смущение.

— Видите ли, — сказала эта всегда симпатизирующая мне женщина, — вашу книгу час назад сняли с производства...

Я хотел тут же звонить главному редактору, но, подняв трубку и услышав уже знакомое мне натужное гудение, вдруг понял, что это бессмысленно — куда звонить, на кого жаловаться?..

В квартире стояла мертвая тишина. Телефон молчал. Он молчал день или даже два, пока, наконец, не позвонила мама.

— Как это ты решилась? — мрачно пошутил я.

— А что? Я мать! — старалась она втолковать кому-то в трубку. — Кто мне может запретить? Мать всегда имеет право звонить сыну...

Она говорила громко и решительно, как человек, уверенный в своей правоте.

## РАЗГОВОР С ЛЕОНТИЕМ КУЗЬМИЧОМ

В морозные январские сумерки авиалайнером Москва-Вена я вылетал из Москвы в Израиль. А накануне вечером прощался с Россией. Прощался довольно странным образом — из окна такси, которое чудом мне удалось схватить на улице Веснина, у входа в Министерство иностранных дел. В последний день выяснилось, что не доделана масса дел, и в ту минуту, когда взмыленный от предотъездной суеты, с кучей документов, только что полученных в МИДе, я сел в машину, я вдруг подумал, что еду в



московском такси в последний раз.

298

Завтра в шесть тридцать утра, после того как таможенники в последний раз обшарят мой багаж и я поднимусь по трапу в самолет, Россия перестанет для меня существовать. О завтрашнем дне стараюсь не думать, чтобы не лезла в голову всякая чушь по поводу того, какой еще сюрприз может преподнести мне КГБ перед отлетом в Вену. Здравомыслящая, ничего неожиданного не должно быть. Иначе зачем бы еще месяц назад пригласил меня к себе Леонтий Кузьмич и вел разговор, после которого я понял, что если власти и не считают затеянную игру проигранной, то, во всяком случае, не имеют желания продолжать ее дальше. И хотя после этого был еще один сюрприз — он относился, скорее, к области войны нервов и изменить ход событий уже не мог.

Принимал меня Леонтий Кузьмич в Колпачном переулке, в здании Московского ОВИРа. Пришел я туда совсем не для того, чтобы с ним встретиться, а для того, чтобы проводить мать, которая после долгих уговоров решила наконец вместе с отцом подать заявление о выезде.

Шел девятый месяц после моего увольнения из "Литературной газеты". Я нигде не работал, меня нигде не печатали, никто из старых знакомых со мной не поддерживал отношений.

И вот, когда мы с матерью вошли в здание ОВИРа, я узнал, что с самого утра меня разыскивает инспектор Кошелева, из уст которой я уже трижды получал отказы в ответ на свои ходатайства о выезде. Затем появилась сама Кошелева и, страшно обрадовавшись мне, сказала, что меня срочно ждут на третьем этаже. На третьем этаже меня ждал Леонтий Кузьмич.

В кругу еврейских активистов эта личность была хорошо известна, хотя никто не знал ни его фамилии, ни должности, ни чина. По сведениям одних, он был генералом и начальником еврейского отдела КГБ, по сведениям других — заместителем начальника и полковником. Леонтием Кузьмичом его звали сотрудники ОВИРа, где он появлялся всякий раз, когда обстановка требовала его личного вмешательства. В день, когда он искал меня, на Центральном телеграфе началась голодовка евреев, требовавших отпустить их в Израиль. Телеграф был местом, где бывали иностранные дипломаты и журналисты. Это обстоятельство, вероятнее всего, и заставило Леонтия Кузьмича появиться в ОВИРе.

Но зачем ему понадобился я, который сам лишь по чистой случайности не оказался на телеграфе? Можно было предполо-

жить что угодно, но только не то, что именно Леонтий Кузьмич явится "добрым гением", который принесет мне долгожданную весть о разрешении уехать, и что в его лице я встречу не ординарного сталиниста-кагебешника, уже давно ставшего главным действующим лицом Самиздата, а личность, наделенную живостью ума и фантазией, в каком-то смысле даже философа, хотя не такого, разумеется, как Александр Борисович Чаковский.

Нет, совсем не случайно я пишу об этом философе Лубянки.

Жизнь ввела меня во все сферы советского общества, и теперь, когда, порвав с прошлым, решил уехать в Израиль, я не мог не столкнуться со служителями "Архипелага".

Но что я мог о нем сказать после Солженицына? Вероятно, ничего — если бы со времен "Архипелага Гулага" остановилось время. Но оно бежит, и Россия, вступившая в эпоху научно-технической революции, совсем уже не та, что была при Сталине. И порядки в ней уже не те. И на место средневековых инквизиторов Берии и Абакумова приходят вполне респектабельные инженеры, дипломаты и комсомольские работники. Они не устают говорить, что к прошлому не будет возврата и что отныне неприкосновенность вашей личности навсегда гарантируется законом. Но все это так, пока вы согласны оставаться в рабстве. А стоит вам восстать, и вы тотчас окажетесь у входа в "Архипелаг", как оказался у его входа я, как оказывается каждый, кто мечту о свободе пытается сделать для себя реальностью.

Лицо у Леонтия Кузьмича было как у настоящего кагебешника — жесткое и ничего не выражающее, и, лишь когда я вошел, в этом стертом лице проснулось что-то живое и хитроватое, и в своем великолепно сшитом костюме Леонтий Кузьмич мне показался чем-то похожим на вылезшего из норы хорька

— Ну, что вы на меня так смотрите, Виктор Борисович, будто хотите проглотить. Расскажите лучше, как поживаете, — свернул губы трубочкой Леонтий Кузьмич. — Я молчал в надежде понять, куда он клонит, но он меньше всего был расположен спешить. — Вот вы на меня так смотрите, а я хотел вам сообщить кое-что важное. Вы же хотите уехать? — изучал меня глазами Леонтий Кузьмич. — Хотите. И боролись за это. Ну так вот, я могу вам сказать, что скоро уедете. Надеюсь, вы по-

нимаєте, что это не официально. Мы ведь ничего не решаем, мы даже не комиссия, а только подкомиссия...

Он явно лукавил, ибо я-то знал, что Леонтий Кузьмич был как раз из тех, кто решал все. Именно потому, что он не заседал ни в одной из комиссий и не участвовал в работе ни одного официального органа. И, напротив, те, кто заседал в этих комиссиях и занимал целые этажи в ОВИРе и в Министерстве внутренних дел, не решали ничего.

Одной из таких ничего не решающих была инспектор ОВИРа Кошелева, приведшая меня к Леонтию Кузьмичу.

Первый раз она мне позвонила через два месяца, после того как я сдал в ОВИР необходимые для выезда документы. У нее был звонкий девичий голос, чем-то напоминавший мне голос секретаря Свердловского райкома комсомола, поручившей мне когда-то писать письмо товарищу Сталину. Это было в пятницу вечером, когда я никак не ждал звонка из ОВИРа.

— Виктор Борисович, вы не могли бы зайти к нам в понедельник в 12 часов?..

— По какому вопросу?

— У вас, по-моему, только один вопрос — это вопрос вашего выезда! — почти пела в телефон Кошелева.

— А что, уже есть решение?

— Да, есть решение!

— Простите, и какое же? — у меня явно недоставало сил расстаться с этим голосом. До понедельника была целая вечность, а Кошелева знала все.

— Какое решение? — мягко переспросила она. — А вот придете в понедельник и все узнаете.

Узнал я все от заместителя начальника Московского ОВИРа майора Золотухина, который, в отличие от Леонтия Кузьмича, всем своим обликом стремился подчеркнуть, что он и есть тот, от которого зависело все. Он сидел, подобно изваянию, и с неменяющимся каменным лицом разговаривал с каждым, кто к нему входил.

— Так вот, отказано вам, гражданин Перельман! Почему? Будто сами не знаете, почему? Где работал в последнее время?

— Но я был журналистом и не имел ни к чему доступа!

— Так-таки и ни к чему? В институтах бывал? Бывал! На заводах бывал? Бывал! В колхозах наших бывал? Бывал! Да вы ко всей нашей жизни имели доступ.

Но тогда для Леонтия Кузьмича еще не наступило время

действовать. Он вступил в игру позже, после того как я написал свою первую статью для Запада "Размышления перед аукционом", которая открыто призывала советских евреев не платить выкупов при выезде из СССР.

Это была опасная игра, и я не мог не учитывать свои шансы. В лучшем случае, пятьдесят на пятьдесят. Пятьдесят — что пронесет, пятьдесят — что окажусь в лагерях Потьмы.

Я не знал, как колебалась чаша весов, когда "Голос Америки" и "Би-би-си" по нескольку раз в день передавали статью, но ответный ход московского КГБ не заставил себя ждать.

На площади Маяковского я встретился с московским корреспондентом "Нью-Йорк тайме" Хедриком Смитом, чтобы передать ему статью, не подозревая, что сотрудники Леонтия Кузьмича уже неотступно следили за мной.

Начать решили после того, как Смит, попрощавшись со мной, сел в машину. Все происходившее, вероятно, было похоже на сцену из ковбойского фильма. Ни о чем не подозревая, я вошел в телефонную будку, чтобы позвонить, и в этот момент кто-то сзади зажал мне рот и скрутил руки. Спустя секунду, я уже был в машине и только теперь увидел, что их было четверо. Я попробовал спросить, в чем дело, но никто из них не ответил, лишь приказали, чтобы руки я держал впереди себя на спинке сиденья. Окна были зашторены, и машина с бешеной скоростью мчалась в неизвестном направлении. Более всего меня мучило то, что ни одна живая душа не знала о случившемся. Затем машина встала, и один из четверых скрылся в желтом каменном здании. После этого кто-то скомандовал, чтобы меня вывели. Руки приказали держать за спиной, и, препроводив по темной винтовой лестнице, втокнули в пустую комнату с железной клетью вместо окна и заперли снаружи на засов.

Когда стемнело, меня перевели в другую комнату, куда следом за мной вошел человек в штатском. Он сел за стол напротив меня, но вместо того, чтобы говорить со мной, попросил соединить его с кем-то по телефону. Я понял, что он намерен связаться с начальством. Мне даже кажется, что этим начальником был не кто иной, как Леонтий Кузьмич, и, по-моему, он даже несколько раз повторил: "Да, Леонтий Кузьмич, все будет сделано, Леонтий Кузьмич". Затем с воловьим упрямством стал выуживать из меня, о чем именно я говорил со Смитом и что передал ему.

Вначале он старался казаться интеллигентом: "Какой смысл, Виктор Борисович, вам упорствовать, если мы все равно знаем, чем вы занимаетесь?" Затем перешел на крик: "Мы заставим вас заговорить, вы еще нас не знаете!" Но, не сумев ничего добиться, стал настаивать, чтобы я подписал какой-то протокол. Будь на его месте Леонтий Кузьмич, он бы, наверное, знал, как ему перестроиться, а у этого не хватило на большее фантазии, как отправить меня в камеру предварительного заключения. Затем втолкнули какую-то проститутку, которая спьяну стала выяснять со мной отношения. В полночь в КПЗ вошел охранник и, молча сунув мне паспорт, сказал, что я могу быть свободным.

Выйдя на улицу, я с удивлением обнаружил, что весь вечер провел в Краснопресненском райотделе милиции, в самом центре Москвы.

Я решил напомнить эту историю Леонтию Кузьмичу. Думал, он от всего откажется и даст понять, что не имеет к этой истории никакого отношения. Но он не собирался отказываться, а только, сложив губы трубочкой, сказал:

— Интересно вы рассуждаете, Виктор Борисович, вы что на Маяковской с девушкой гуляли? Отнюдь! Чистую антисоветчину на Запад передавали, вот что вы делали! В свое время вам бы за милую душу пять лет вкатили, а мы, как видите, не идем по этому пути. Социалистическая законность для нас не пустой звук!

История на Маяковской была только началом. И Леонтий Кузьмич тогда еще оставался в тени. Не прошло и двух недель, как он вышел на арену собственной персоной. Это было возле ливанского посольства, где мы решили устроить демонстрацию после убийства израильских спортсменов в Мюнхене. Здесь я впервые понял, что Леонтий Кузьмич меня знал раньше, чем я его, и что нужно быть очень осторожным, чтобы не попасть к нему в западню. Все происходило на его глазах, и я решил спросить, помнит ли он эту сцену. Леонтий Кузьмич словно бы ждал этого вопроса, он развел руками и сказал: "Ну, уж насчет ливанского посольства — извините-помилуйте, там вы были сами виноваты!"

Виноваты? Когда мы приблизились к ливанскому посольству, нас уже ждал кордон милиции и два или три пустых милицейских автобуса. Леонтий Кузьмич стоял в стороне с газетой в руках, будто не видя нас и не интересуясь происходя-

щим. Но это только казалось, что он нас не видел, он наблюдал за каждым нашим движением. Когда мы приблизились к дверям посольства, он



подошел к стоящему с ним рядом милицейскому полковнику и что-то ему сказал: я не слышал, что именно, но понял, что сказанное относилось ко мне. Потому что в одно мгновение полковник оказался рядом со мной и вполголоса скомандовал: "Этого берите, черного! Остальных не надо!"

В это мгновение кто-то с силой ударил меня по лицу. Все дальнейшее не поддавалось объяснению. Обо мне словно бы вдруг забыли и начали избивать всех подряд, сбивали с ног, тех, кто падал, били сапогами по лицу... А Леонтий Кузьмич все с тем же невозмутимым видом прохаживался с газетой в руках, будто не замечая сцену, разыгравшуюся в пяти шагах от него.

Вечером, когда мы выходили из вытрезвителя на Войковской, куда нас силой доставили на автобусе, я вновь увидел Леонтия Кузьмича. Он опять стоял в стороне и лишь, когда у выхода из вытрезвителя собралась довольно внушительная группа поджидавших друг друга, позволил себе к нам подойти. В этой группе был академик Андрей Дмитриевич Сахаров, также участвовавший в демонстрации и вместе со всеми доставленный в Войковский вытрезвитель.

— Ну, что вы тут, друзья, стоите? Дети, небось, ждут, жены, а они, вишь, разговорились... — приблизился Леонтий Кузьмич.

— А что, уж и постоять нельзя, Леонтий Кузьмич? — спросил кто-то из нас.

— Нет, почему же нельзя? — ответил Леонтий Кузьмич, — да только я не вижу смысла. Верно я говорю, Андрей Дмитриевич, или нет? — вдруг резко повернулся он к Сахарову...

Я думал, у Леонтия Кузьмича не будет желания все это вспоминать, а он, напротив, словно бы испытывал удовольствие от начатого разговора.

— Подумайте сами, Виктор Борисович, — вы, например, посол дружественного нам государства Ливана и каждый день слышите от руководителей Советского Союза выражение симпатий к вашей стране. И вдруг в один прекрасный вечер подходите к окну и видите толпу лиц еврейской национальности, намеревающихся побить вам окна...

— Но, Леонтий Кузьмич, существует же конституция?

— Экий вы, Виктор Борисович, чуть что — сразу высокие

304

слова: конституция, демократия. Будто бы я против конституции. Весь вопрос: как ее использовать. Эдак ведь мы с вами дойдем до того, что, опираясь на советскую конституцию, начнем наших врагов поддерживать. Кстати, Виктор Борисович, кто был тогда у вас заводилой? — в стертом

лице Леонтия Кузьмича вновь проснулось что-то хитроватое, и он опять стал похож на хорька. — Вы же не станете утверждать, что демонстрации вспыхивают сами собой. Кто-то же был... И, между прочим, заводилу мы вполне могли бы привлечь к уголовной ответственности, эдак лет на шесть. Да уж ладно, дело прошлое...

Свой следующий сюрприз Леонтий Кузьмич преподнес мне в день открытия очередной сессии Верховного Совета СССР. Я проснулся, как обычно, в семь, но когда снял трубку, чтобы проверить часы, обнаружил, что телефон выключен. Все выглядело довольно странно, но, когда, позавтракав, я спустился вниз за газетой, то еще не подозревал, что обратно уже не поднимусь.

Как только я достал из почтового ящика газету, ко мне подошли трое в штатском:

— Виктор Борисович! Вот вы-то как раз нам и нужны. Не могли бы вы проехать минут на десять в райотдел милиции, хотят там с вами побеседовать.

— Но, позвольте, я в домашних туфлях!

— А ничего, Виктор Борисович, в машину сядете и не замкнете...

Эту сцену я рассказываю Леонтию Кузьмичу во всех подробностях, и он весело и бесшумно смеется:

— Вот, сукины дети! Так и взяли в тапочках! Ну, хоть не простудились, Виктор Борисович?

От этого бурного проявления сочувствия у меня пропадает всякое желание говорить дальше.

... Я лежал в пропитанной хлоркой камере и думал о том, в каком идиотском мире я живу. Человек, как пешка: хотят — посадят, хотят — выпустят... На голых нарах, в пропитанной хлоркой камере невозможно было уснуть, а когда я не сплю, то обычно в голову лезут фантазии и всякие альтернативы: что бы могло случиться в жизни, поступи я не так, а эдак. В сущности, этой камеры могло бы тоже не быть, если бы все вернулось назад. И не было бы этой собачьей жизни, и этой мучительной неизвестности, а было бы все, как раньше, благополучно и безоблачно.

305

В эту ночь я почти физически почувствовал необратимость времени и жизни: как бы моя жизнь ни повернулась, я никогда не пожалею о сделанном, ибо обрел уже нечто такое, без чего не смогу существовать. В последнее время я не уставал себе говорить, что превыше всего для меня свобода. Но только в эту ночь, в тюрьме, кажется, впервые понял, что она

такое. Понял, во всяком случае, главное, что свобода не вовне, а внутри нас. И потому можно валяться в пропитанной хлоркой камере и быть свободным, а можно занимать пост главного редактора "Литературной газеты" и оставаться рабом.

Леонтию Кузьмичу я, разумеется, ничего подобного объяснить не могу и, скорее, по инерции продолжаю:

— А как же, Леонтий Кузьмич, уголовно-процессуальный кодекс? Сажать без предъявления обвинения не полагается?..

— Не полагается, — соглашается Леонтий Кузьмич и, чуть улыбнувшись, продолжает: — Мало ли что в жизни не полагается. Вот вы, сколько статей в буржуазную прессу написали? Полагается это или не полагается?

Я молчу, и Леонтий Кузьмич, вдруг снова оживившись, говорит:

— Да что это мы с вами все про это? Я ведь пригласил вас, чтобы сообщить приятную весть. Хотим, Виктор Борисович, отпустить вас в Израиль. Так что на телеграф вам идти не к чему. Ваш вопрос решен.

Он внимательно наблюдает за мной и улыбается какой-то странной осторожной улыбкой.

— С другой стороны, может быть, вам и есть смысл туда сходить — объяснить товарищам, что их глупое сидение ни к чему не приведет. Авторитет у вас большой, ваши товарищи вам верят.

В этот момент я впервые почувствовал, что у меня действительно есть разрешение, и власти, проиграв войну, хотят сорвать с меня последнюю плату. Любопытно, когда именно у них не выдержали нервы?

Как-то утром жена пригласила меня к телефону, и голос на великолепном английском языке сказал, что со мной хочет говорить сенатор Хампфри, бывший вице-президент Соединенных Штатов Америки. Оказалось, что он находился в Москве и встречался с Косыгиным, а через несколько дней в американской печати появились сообщения, что по просьбе сенатора Хампфри советское правительство решило дать мне разреше-

306

ние на выезд. Не думаю, чтобы это было так, потому что с Хампфри я говорил уже после встречи с Леонтием Кузьмичем, и сообщения в западной печати лишь подтвердили, что он не лгал.

Между тем Леонтий Кузьмич перешел к главному, после чего я, кажется, понял, отчего этот полковник или генерал КГБ решил вдруг предстать передо мной в лице доброго гения.

— Я знаю, вы умный человек, — продолжал мой собеседник. Та же странная осторожная улыбка теперь не сходила с его лица. — А с умными людьми всегда приятно иметь дело. Вот вы скоро уедете в Израиль, займете там определенное положение, и, знаете, мы совсем не против, чтобы вы заняли там положение, — словно обнюхивая меня, продолжал Леонтий Кузьмич... — Мы даже, если хотите, Виктор Борисович... — Он не кончил фразу, по-видимому, учуяв в моем лице нечто такое, что вдруг сделало бессмысленным то, что он говорил прежде. И уже другим, обиженным, как мне показалось, голосом сказал: — Конечно, это дело личное...

— Что, дело личное, Леонтий Кузьмич? — мгновенно спросил я.

— А ничего, Виктор Борисович, абсолютно ничего, — свернул губы трубочкой Леонтий Кузьмич. — Просто я хотел сказать, что у каждого в жизни свой путь. У нас — свой, а у вас — свой. Помните, как реагировали прохожие в тот раз у ливанского посольства? Помните или нет?

Я отлично помнил то, о чем говорил Леонтий Кузьмич. Собственно, это были даже не прохожие, а толпа зевак, собравшихся на скандал. Я видел, как один, выскочив из пивной, что была тут же за углом, стал дергать собравшихся за рукава и с каким-то веселым азартом покрикивать: "Товарищи, кого лупцуют? Еврейчиков, да кто ж такие?"

— Сионисты, кто такие, — ответили из толпы.

— Да, откуда они сюда попали-то, на Самотеку?

— Из Израиля, откуда ж еще.

Позже я часто вспоминал этот диалог, услышанный мной в центре Москвы в век индустриальной революции.

— Люди были вами очень возмущены, — продолжал Леонтий Кузьмич, а ведь это были не сотрудники госбезопасности и, скорее всего, даже не коммунисты, а обычные советские люди. Они просто не понимали, чего вы хотите. И в России вас никогда не поймут.

307

В этом он был действительно прав. Потому я и решил уехать. Мне было легче. У меня была своя страна и свой путь в жизни. Но те, кто остался? Кто готов был идти на все, чтобы разбудить Россию? Знали ли они, что нужно России? Что нужно толпе, глазевшей, как "лупцевали еврейчиков" возле ливанского посольства? Что нужно толстухе-парикмахерше, возмущавшейся подлыми чехами, которых кормил "русский Иван"? Конечно, Россия не только они, но они — прежде всего Россия, миллионы советских тружеников, о которых с такой гордостью

говорил Леонтий Кузьмич. Он-то знал, что нужно России. Так же как знали те, кто управлял страной из цековских и совминовских кабинетов. И не было ничего удивительного в том, что они знали Россию. Сколько бы ни называли их советской аристократией, они вышли из рабоче-крестьянской гущи, были детьми той самой кухарки, которую Ленин мечтал научить управлять государством, но научил лишь править себе подобными.

Расстались мы с Леонтием Кузьмичом вполне корректно. В заключение он снова повторил мне, что вопрос обо мне решен и лишь, когда прощались, на секунду задержал мою руку в своей мягкой руке и сказал:

— Ну, уж лично вам на телеграфе теперь делать нечего.

Вечером у меня собрались друзья. Пили за мое разрешение и за то, чтобы скорее уехать. Хотелось расслабиться и забыть обо всем, но это плохо удавалось: где-то во мне жило нехорошее предчувствие, что Леонтий Кузьмич все же припас для меня последний ход на нашей шахматной доске. Я передумал все, и единственного не мог предположить — что само разрешение, которого я так добивался, и будет последним ходом Леонтия Кузьмича.

А через две недели меня действительно вызвали на комиссию. Заседали человек десять, а может быть, и больше. Все скучали, позевывали и лишь заместитель начальника Московского ОБИРа, майор Золотухин, оглядел меня все с тем же видом вершителя человеческих судеб. Генерал Сорочкин, приоткрыв щелчки глаз, зачитал мое заявление о выезде и сказал, что есть предложение удовлетворить.

— Возражений нет? — лениво обвел он глазами присутствующих.

— Нет! — отрубил майор Золотухин.

Назавтра мне позвонила Кошелева, чтобы сообщить, какие

308

документы я должен представить для получения визы. И по тому, каким радостным, звонким голосом она сказала: "Виктор Борисович, возьмите, пожалуйста, карандаш и пишите", — я почувствовал, что не когда-либо, а именно сейчас последует последний ход Леонтия Кузьмича.

— Так вот, — говорила Кошелева, — паспорт, трудовую книжку, справку из ЖЭКа о сдаче квартиры, квитанцию об уплате госпошлины, ну... и, — голос Кошелевой неожиданно стал вдруг мягче и женственнее. — Ну, и, Виктор Борисович, квитанцию о внесении вами платы за образование в сумме 15 тысяч рублей. Закон есть закон. Если хотите, я вам расшифрую эту сумму. За Юридический институт — 4 800, за



Полиграфический- 3 600.

Лучшей западни невозможно было придумать — выдать мне визу и заставить заплатить выкуп, то есть сделать то, что, в моих устах, не имели права делать другие.

У меня не оставалось выхода, и в заявлении на имя министра внутренних дел Щелокова я писал, что, поскольку власти ставят выдачу мне выездной визы в Израиль в зависимость от уплаты мной выкупа, я решил отказаться от визы. Даже многие из друзей не могли понять, как я решился на этот безумный шаг.

Другие, напротив, говорили, что я проявил мужество. И лишь для самого меня все выглядело куда проще. Одну ценность я не мог принести в жертву другой. И сколь бы ни был трудным мой путь к свободе, обретенная ценой непопорядочности, она для меня переставала чего-нибудь стоить. К тому же в глубине души я был уверен, что Леонтий Кузьмич, уже признавший, что его ставка бита, отступит и на этот раз. Поэтому, наверное, из всех, кто затаив дыхание следил, что будет со мной и с моей злосчастной визой, я был наиболее спокоен. И когда спустя неделю меня снова вызвали на комиссию, чтобы освободить от налога за образование, я воспринял это почти как должное.

С Леонтием Кузьмичом я больше не виделся. Что же касается комиссии, то она была такой же скучной, как и в первый раз. Генерал Сорочкин, едва приоткрыв глаза, сообщил, что я обратился к министру внутренних дел Щелокову с просьбой освободить меня от платы за образование (о том, что я отказался от визы, он даже не упомянул).

— Сколько у вас, Перельман, трудовой стаж? Двадцать один год, мы слышали?

309

— Двадцать один год, — подтвердил я. — Но дело не только в этом...

— Есть предложение освободить, — сказал он. — Возражений нет?

— Нет! — снова ответил за всех майор Золотухин.

— А вам, Перельман, — вдруг повернулся ко мне Сорочкин, — я советую изменить свое отношение к вопросу выезда. Не то как бы не пришлось раскаиваться.

Но если бы я и захотел внять советам Сорочкина, то у меня для этого все равно не осталось бы времени. Позвонила Кошелева и на этот раз уже безразличным голосом сказала, чтобы я принес две фотографии на визу. Это была странная просьба — вместе с документами на выезд я сдал не две, а целых восемь фотографий. Куда исчезли мои фотографии, я

примерно представлял, но то, что их потребовалось столько, привело меня в веселое настроение. Когда-то в конце концов оно должно было ко мне вернуться.

А еще через два дня я взял билет на самолет Москва—Вена. И теперь, когда я в последний раз ехал в московском такси, понимая, что уже ничто не остановит моего отъезда, я впервые за долгое время ощутил нечто такое, чего раньше никогда не чувствовал. Да, я уезжаю потому, что не хочу больше жить в мире, где у меня не было и никогда не будет свободы. Человек не создан для тюрьмы. Он уходит из нее, чтобы больше никогда туда не вернуться. Все верно. Но верно и то, что завтра я навсегда расстанусь с миром, которому отдана лучшая часть жизни. И, возможно, поэтому мне не безразлично его будущее. Мне трудно в него поверить, как трудно поверить в бойкую необгонимую тройку, с которой сравнивал некогда Россию Гоголь. Тройка была прекрасна, но в бричке сидел Чичиков. Эта маленькая подробность, ядовито подмеченная Белинковым, почему-то никогда не упоминалась советскими авторами, хотя, быть может, именно в ней заключена трагедия России.

310

## ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Пишут люди по-разному. Я считаю великим даром писать легко, с первого взмаха пера. Мне этого дара не дано: я пишу долго, в муках, миллион раз переделывая написанное. А эта книга родилась стремительно, я писал ее запоем, иногда по двенадцать часов в сутки не отходя от машинки. Была эта моя работа — родом бреда, когда человек вроде бы выздоравливает, но не исключено, что в беспамятстве отдаст концы...

Во времена, когда вышло ее первое издание, книгу эту называли исповедью. Исповедь? Но перед кем? Перед Богом? Перед моими еврейскими братьями? Перед свободным миром, куда я отправлялся? Я был опьянен тем, что дал себе право не лицемерить. И писал о своей несправедливой жизни, о сорока трех годах служения лжи. Все вдруг оказалось призрачным, от всего я хотел откреститься, очиститься: от Сталина, от комсомольских мечтаний, от институтской демагогии, от газетной фальши. Кто же мне мог дать отпущение грехов? Единственный человек — я сам, автор рукописи, которая могла и не увидеть света. В любой момент мог раздаться стук в двери, и на всей этой истории была бы поставлена точка. Точка на всей моей жизни — какая уж жизнь у человека после сорока, угодившего лет на десять в Потьму? Точка

на моем опыте — нет, не комсомольского работника, не коммуниста и журналиста, а на моем чисто человеческом опыте жизни, о котором я и хотел рассказать миру.

Эту книгу вряд ли можно отнести к художественной литературе или даже к мемуарам. Это, конечно, не социология и не публицистика. Честно говоря, я и сам затрудняюсь определить ее жанр — и более того, даже назвать ее тему. Можно считать, что это — жизнь журналиста в закрытом обществе (что и решил я вынести в ее подзаголовок). Можно сказать, что она о рождении еврейского самосознания. Можно считать ее разоблачением тоталитарного общества. Но, если вдуматься, то все это, как и многое другое, присутствует лишь как фон, как аргументы к чему-то главному, ради чего написана книга. И если это исследование, то не общества, не системы, не идеологии, а личности автора. Это ответ, в общем, на очень простой вопрос: что происходит с человеком, когда он рождается, воспитывается, растет, работает, влюбляется, женится, мечтает в обществе, пронизанном ненавистью к человеку.

Когда утром 9 января 1973 года я поднимался в воздух

311

над аэропортом Шереметьево, страна была погружена во мглу. Застывшее над Россией черное небо казалось вечным: пройдут сотни, тысячи лет, а она останется все той же — закрытой, рабской страной среди нашей цивилизованной планеты. Это и был тот особый в своей беспросветности психологический климат, который вызвал к жизни эмиграцию. Но не об эмиграции хочу говорить (с эмиграцией все ясно), а поражает меня другое: что и сегодня, спустя пятнадцать лет, не безразличной мне остается покинутая мной Россия. Где меня травили и как еврея, и как журналиста, изгоняли с работ, заставляли лгать и раболепствовать, — вот эта самая, оставленная Богом Россия, и по сей день будоражит мое сознание и душу. Я задаю себе вопрос: отчего? И не нахожу ответа. По утрам я покупаю в киоске газету "Нью-Йорк таймс" и, листая ее, вижу, как лихорадит континент, на котором я живу. Но странное дело: меня не волнуют ни Аргентина, ни Гондурас, ни Гватемала... Меня волнует страна, которую я пятнадцать лет назад покинул, чтобы никогда туда не вернуться.

Кое о чем я, конечно, догадываюсь: мое волнение вызвано переменами, происходящими в России. То, о чем я в годы журналистской молодости мог только мечтать, сегодня становится явью. Что это — свобода? Демократия? Не знаю. Но похоже, что лед действительно тронулся, и, может быть, станем мы свидетелями половодья, столь же

великого, сколь и горемычного: слишком много людей сложили голову за эту российскую свободу, чтобы нам, родившимся на этой земле, говорить о ней холодными, бестрепетными словами.

"Ну а дальше что? Дальше-то что?" — воскликнет в недоумении читатель. Худо, когда целому народу неведом завтрашний день. И потому топчется он на распутье. И слышит знакомые пропагандные речи, что де нельзя нам отбрасывать прошлое, и Ленина, и завоевания революции. Как ни странно, но в пропагандных речах этих кроется важная истина, заключающая в себе, впрочем, смысл, обратный тому, что придают им советские пропагандисты: да, прошлое нельзя нам отбрасывать, ибо отбросив его, мы можем забыть горький опыт, через который мы все прошли. Собственно, этот опыт и есть единственный компас, оставшийся в руках общества, и следуя которому униженный, многострадальный народ России не останется в полном неведении. Худо-бедно, но опыт прошлого подскажет ему, куда нельзя идти.

312



**В**иктор Перельман — издатель и главный редактор журнала «Время и мы». Родился в 1929 году в Москве. Окончил Московский юридический институт и отделение журналистики Московского полиграфического института. Работал корреспондентом Московского радио, фельетонистом газеты «Труд», специальным корреспондентом и заведующим отделом «Литературной газеты». В 1973 году эмигрировал в Израиль, с 1973 по 1975 годы был обозревателем израильской газеты «Аль-Гамешмар». В 1975 году основал журнал «Время и мы», в 1981 году вместе с редакцией переехал в Соединенные Штаты Америки, где и живет в настоящее время. Автор книг «Пскинутая Россия» (удостоенной второй премии Иерусалимского университета) и «Тептр аосурда».